

АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


КѢЛЕЦКОЙ.
СѢДЛЕЦКОЙ.
ЛЮБЛИНСКОЙ.
РАДОМСКОЙ.
ВАРШАВСКОЙ.


СУВАЛКСКОЙ
ПЛОЦКОЙ
ПЕТРОКОВСКОЙ
ЛОМЖИНСКОЙ
КАЛИШСКОЙ



ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ЛЮДВИК ВАРЫНЬСКИЙ



АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**Повесть
о Людвике Варыньском**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1987

ББК 84Р7
Ж74

Александр Житинский известен читателю как автор поэтического сборника «Утренний снег», прозаических книг «Голоса», «От первого лица», посвященных нравственным проблемам.

Новая его повесть рассказывает о Людвике Варыньском — видном польском революционере, создателе первой в Польше партии рабочего класса «Пролетариат», действовавшей в содружестве с русской «Народной волей». Арестованный царскими жандармами, революционер был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где умер на тридцать третьем году жизни. Автор показывает своего героя через восприятие других исторических персонажей, раскрывая драматизм идейно-политической борьбы того времени, исследуя психологию взаимоотношений Варыньского с товарищами по борьбе. Писателя привлекает тема предназначенности человека своей идее и делу.

$Ж \frac{0506000000-253}{079(02)-87} 154-87$

Пролог.
ВАЛЕРЬЯН

Май 1884 года

Шлюпка болталась на волнах, хлюпала днищем, черные лопасти весел задирались в высоту при крене, едва чиркая по вздыбленной поверхности реки, а потом вдруг погружались глубоко, и тогда гребец, покраснев лицом, натужно выводил весло из воды. Оно выпархивало на воздух, обливаясь струями, блестевшими на солнце, и вновь взмахивало, точно крыло подбитой птицы, стремившейся оторваться от земли.

Никитке казалось, что шлюпка не движется, застыла посреди сердитой реки, взлохмаченной свежим ладожским ветром, однако крепостные стены, представлявшиеся с городской шлиссельбуржской пристани низкими, приземистыми, взрастали на глазах, а под ними, на плоском берегу, обозначилась человечья фигурка в голубом мундире, которая спешила куда-то, подгоняемая ветром. Крохотная эта фигурка, мелкое голубое пятнышко на фоне массивных стен, подчеркивала их огромность и непоколебимую прочность столь наглядно, что Никитке стало не по себе.

Артель строительных рабочих на трех шлюпках приближалась к древней крепости. На носу первой шлюпки, полуотвернувшись от гребцов и вглядываясь в неровную линию крепостных стен, сидел человек в инженерной шинели и фуражке, которую он надвинул глубоко на голову, чтобы не сдуло. Кончики ушей оттопырива-

лись фуражкой, выглядывая из-за поднятого воротника шинели, как розовые ангельские крылышки. Инженер часто шмыгал носом и сморкался. Никитке было жаль его. Сам он с Кузьмой Никаноровичем, каменных дел мастером, сидел на корме, запахнувшись в отцовский широкий кафтан и положив ноги на прочный ящик с инструментами. Кузьма покуривал, уперев взгляд в днище шлюпки, слюдяно блестевшее засохшей рыбьей чешуей.

Два дюжих бородатых гребца из артели боролись с быстрым течением и ветром, правя на Флажную башню, к Ладоге, но шлюпку сносило влево, к Круглой башне, что, собственно, и нужно было гребцам.

Обогнули сторожевой пост на юго-западной оконечности островка. Здесь ветер был не столь силен, зато грести пришлось против течения. Шлюпки совсем остановились. Обогнувший Круглую башню по берегу острова жандармский офицер в голубом мундире шел в том же направлении и едва не обгонял их.

— Какая честь! Сам комендант Покрошинский встречает... — обернулся инженер к артельному старосте Михееву, сидевшему позади него.

Староста хмыкнул неопределенно.

Первая шлюпка ткнулась в мокрые доски пристани. Инженер отодвинулся в сторону, а Михеев перескочил на пристань с концом в руке и ловко примотал его к низкому столбу, торчавшему из досок. Кузьма кинул старосте другой конец с кормы. Шлюпка была причалена. Только тут инженер позволил себе сойти на пристань, где уже ждал его полковник Покрошинский.

— Что ж так долго, Иван Степаныч? — с укоризной воскликнул полковник, на что инженер сухо и даже как-то брезгливо отвечал:

— Вам должно быть известно, что набрать сюда работников не так просто. Люди боятся.

— Вячеслав Константинович со дня на день нагрянут,— будто бы не слушая, продолжал Покрошинский, и тут Никита заметил, что полковник слегка «под мухой». Видимо, обнаружил это и инженер, потому что ответил еще более раздраженно:

— Я, кажется, не имею чести служить по департаменту Вячеслава Константиновича.

— Ах, Иван Степанович! — воскликнул полковник обиженно.— Уж государю-то все служим. Он повелел! — Покрошинский значительно указал в небо пальцем.

Артель споро, но без спешки, выгружала имущество на пристань. Михеев командовал незаметно, почти без слов. Двинулись по сходням на берег: впереди инженер с полковником, позади, гурьбою,— артель. Никита нес перекинутый через плечо на ремне инструментальный ящик.

Путь по каменистому берегу вдоль крепостной стены к воротам в башне был недолог, но тягостен. Стена нависала, давила всею тяжестью, от нее веяло холодом. Никитка зябко ежился, Кузьма Никанорович крупно шагал рядом, не поднимая головы.

Ветер доносил до артели начальственный разговор.

—...Чтобы даже мышка не проскочила, Иван Степанович! Сделайте уж на совесть. Иначе потом... Тут черт голову сломит, в этой крепости! — горячился полковник.

— Выполним по проекту-с,— отвечал инженер.

— Помилуйте, какому проекту! Инженерное ведомство сделало тяп-ляп, а тут столько дыр кругом. Окна, двери, потайные ходы. Они ж у меня расползутся!

Никитка с интересом прислушивался.

— Кто расползется, дядя Кузьма? — тихо спросил он.

— Каторжные, известно кто, — буркнул мастер.

У небольших полукруглых ворот в башне дежурил жандарм с саблей. Над воротами Никитка увидел герб

с орлом и надпись: «Государева». Жандарм вытянулся во фрунт. Покрошинский с инженером посторонились, пропуская артельщиков в ворота. Полковник шевелил губами, считая. Никитка заметил, что Кузьма Никанорович тайком осенил себя крестом, переступая за ворота.

— Тринадцать человек,— сказал Покрошинский.

Вышли в крепостной двор, где уже пробилась из земли редкая травка и распушились листочками чахлые сиреневые кусты, росшие в отдалении у прочного каменного дома с высоким крыльцом, по которому сновали те же голубые мундиры. Повсюду виднелись следы недавнего строительства и ремонта: свежие заплаты в крепостной стене, кучи щебня, пятна свежевзрытой земли. Кое-где были намечены на земле песчаные дорожки, огражденные низкими деревянными заборчиками, от которых веяло казенной унылостью. Пошли прямиком мимо церковки к длинному беленому зданию в один этаж — кордегардии, как объяснил полковник, и, пройдя его коридорами, попали во двор, где перед артельщиками предстало двухэтажное строение из красного кирпича с квадратными зарешеченными окнами. Новая эта постройка с грубыми швами кладки резала глаза среди начавших цвести по двору одуванчиков и просторного холодного неба, открывавшегося за крепостной стеною на все четыре стороны.

Никитка уже знал от Кузьмы Никаноровича, что надобно строить тюрьму. То есть не строить, а доделывать, конопатить щели и закладывать отверстия старинных крепостных построек, рвов и тайных ходов. Для этого дела и подрядился Михеев со своей артелью, а Никитка пристал последним — пошел на лето «в люди» и прибился к Кузьме Никаноровичу. Очень уж хотелось взглянуть вблизи на крепость. Никитка вырос в Шереметьевке — деревне на правом берегу Невы, у самого ее истока. Островок с впечатанным в просторы Ладоги контуром

крепостных стен и башен с детства манил его страшными тайнами и легендами — шепотом рассказывали их друг другу шереметьевские, косясь по сторонам,— хотя вот уже почти пятнадцать лет, с рождения Никиты, каторжная тюрьма на острове пустовала, крепость охранял небольшой гарнизон. Деревенские говорили, что сидели в Шлиссельбурге разбойники с незапамятных времен, еще с царя Петра, да вот Александр Николаевич всех освободил. Недаром — Освободитель.

Как вдруг года два назад зачастили на остров баржи с кирпичом, песком и щебнем, зашевелились над крепостью дымы костров, в тихую погоду доносились до Шереметьевки глухие удары и резкие скрипы лебедок. Деревенские гадали — что случилось? Потом молва донесла: строят новую тюрьму. Кому? Зачем? — об этом ни слова. Прошлым летом проплыл по Неве мимо Шереметьевки красивый пароходик с блестящей толпою на верхней палубе. По одежде видать — люди были знатные, дворцовые люди. Проплыл — и уплыл к вечеру на закат, пыхтя машиной.

Зимой Нева стала. По санному пути приезжали в Шереметьевку люди с острова — работники, урядники, низшие жандармские чины. Работники покупали у деревенских сало, квашеную капусту, картошку; рассказывали, что сидеть в тюрьме будут разбойники, убившие батюшку-царя. Самых главных убивцев повесили, остальных сюда привезут. Царь повелел: да будет так! Только вот опаздывают: еще летом должны были строительство завершить, однако перевалили на новый год. Государь гневается, а разбойники ждут-поджидают в Петропавловке. Разбойники уже пойманы все до единого.

Никитка слушал пьяные рассказы каменщиков, поглядывал за окно избы, где в туманной морозной дымке едва видна была смутная линия крепости и низкое неяркое солнце над нею.

Едва прошел по Неве, сшибаясь и крутясь, ладожский лед, как тот же пароходик доставил на остров новых жандармов в длинных шинелях с перевязями и болтающимися на боку саблями. Никитка понял, что скоро повезут каторжных. Но... вышло так, что вперед довелось попасть на остров ему.

Кузьму он повстречал в молочной лавке городка Шлиссельбурга, что на левом берегу Невы, перебравшись туда из Шереметьевки в поисках работы. Видно, приглянулся он мастеру; тот записал его в артель своим подмастерьем. Сказал коротко, что работать будут в крепости. «Не испугаешься?» — пытливо глянул. «А че пужаться?» — улыбнулся Никитка, хотя ощутил холодок под ложечкой. Уж больно гибельное место!

Артель разместилась на постой в Секретном доме, за стеною цитадели, расположенной в углу крепости, под Королевской и Светличной башнями. Там, в угрюмом строении, похожем на сарай, с глухим задним двориком, в сумрачных кельях сбили нары. Никитка с мастером заняли вторую келью, что примыкала к кухне, с единственным зарешеченным окном, выходившим в глухой двор, над которым слева высилась Светличная башня.

Инженер вернулся из комендатуры, собрал артельщиков у входа в сарай у новенькой полосатой будки, предназначенной для часового. И оттого, что инженер был в форменной шинели и стоял рядом с казенной будкой, а артельщики в кафтанах и зипунах нестройной толпою окружали его — обросшие бородами, с видом угрюмой настороженности,— Никитке представилось, что они и есть каторжные разбойники, губители царя-батюшки, прибывшие сюда отмерять тюремный срок. Скучный прямоугольный двор цитадели, покрытый осколками битого кирпича, кусками штукатурки и щебнем, сквозь которые не пробивалась трава, был облит ровным светом солнца, казавшимся почему-то безжизненным.

Никитка подумал, что жить здесь невесело и жутко — поделом разбойникам! — и принялся вслушиваться в слова инженера.

Тот снял фуражку и с непокрытой головой оказался совсем молоденьким, со слипшимися на лбу нежными волосками. Циркулярными словами, морщась от досады, будто участвует во всем этом против воли, Иван Степанович объявил правила внутреннего распорядка в крепости: «надлежит», «не дозволяется» и прочее — после чего удалился с Михеевым в келью старосты. Артельщики уселись на солнышке вдоль стены, закурили.

— Ну че, Кузьма, чай, узнал место? — неприязненно спросил чернобородый, что сидел в первой шлюпке на веслах.

— Узнал... — неохотно усмехнулся Кузьма Никанорович.

— Че тебя сызнова сюды потянуло? Я бы больше ни-ни... — покачал головой чернобородый.

Кузьма не ответил, прикрыл глаза, подставив солнцу лицо. Из сарая вышли староста и инженер, который поспешил к выходу из цитадели — скорей покинуть это проклятое место! Михеев же, развернув исписанные листки, стал наряжать на работу.

Кузьме с подмастерьем досталось закладывать двери и окна в Королевской и Светличной башнях. Кузьма изучил чертеж, поскреб небритую щеку.

— Там еще ход есть. Неотмеченный. Вот,— показал он.

— Откуда знаешь? — подозрительно спросил Михеев.

— Так он же здесь, почитай, десять годов оттрубил! — встрял чернобородый.— Злодеев стерег.

— Тебя не спрашивают,— повернулся к нему староста.

— Говорю, значит, знаю,— вздохнул Кузьма.— Ход закладывать или как?

— Делай как знаешь, Кузьма Никанорыч. На плане хода нет, с нас не спросят,— прищурился Михеев хитровато.

Кузьма кивнул, пошел в келью. Никитка поспешил следом.

В келье Кузьма велел Никитке разжечь керосиновую лампу, и они двинулись по переходам к Светличной башне. Кузьма осторожно ступал впереди, держа лампу высоко. Никитка крался за ним, ощущая быстрые пугливые толчки сердца.

Осклизлая лестница вела вниз. На сырой стене плясали тени, воздух был влажен и горек, дышать становилось все труднее. Кузьма повернул в короткий каменный коридор, закончившийся массивной дубовой дверью с квадратным окошком шириною в ладонь. Он нажал на нее плечом, и она нехотя поддалась, открыв перед ними низкую глухую камеру с заплесневелыми стенами, в которой, кроме грубого стола и топчана, ничего не было.

Кузьма стянул с головы шапку, перекрестился. Никитка последовал его примеру.

— Вот здесь, стало быть, он и жил,— сказал Кузьма.

— Кто? — вскинулся Никитка, мгновенно представив себя живущим в этом каменном мешке.

— Раб божий Валерьян. Тридцать лет здесь сидел, потом перевели наверх.

— Один? — еле слышно выдохнул Никитка.

Кузьма кивнул, подкрутил фитилек лампы. Она вспыхнула поярче, высветив в углу глубоко выцарапанного на стене орла с повернутой влево головою.

— Поляк он был, офицер. Восемь лет сидел до Шлиссельбурга, да в Шлиссельбурге, почитай, почти сорок. А, малец? Каково? — обернулся Кузьма к подмастерью.

— За что же его, дядя Кузьма?

Кузьма вздохнул, протиснулся из каменной каморки в коридор, тяжело потопал вверх по лестнице. Никитка на мгновенье остался один в наступающей на него темноте, похолодел, сжался и, точно выброшенный пружиной, тоже оказался на лестнице. Сердце ходило ходуном...

С той минуты узник Валерьян завладел Никиткой; его жизнь, угасшая в подвале Светличной башни, впитавшаяся по каплям в ее стены, вдруг снова вспыхнула, как язычок керосиновой лампы, в рассказах Кузьмы. Тот вспоминал охотно, но — всегда наедине с Никиткой: закладывал ли в два кирпича узкие окна-бойницы башни, смотревшие на Неву, замешивал ли раствор, мастерил ли опалубку — нет-нет да и вспомнит о прошлой своей жизни здесь, в крепости, нижним чином караульной команды, почти мальчишкой, чуть постарше Никитки. С артельными отмалчивался, особенно сторонился чернобородого землекопа: тот все старался поддеть Кузьму вольнонаемной службой в полицейском департаменте,— но наступал вечер, и Кузьма выговаривался на нарах, при свете керосиновой лампы. Тот поляк, видно, и в его душу крепко засел.

Кузьма рассказывал, а Никитка старался вообразить себе того человека, что чуть ли не полвека просидел в одиночном заключении. Сначала он представился ему богатырем громадного роста и силы — офицер! поляк! — Никитка про поляков знал, что они — «коварны», потому первое время в мыслях побаивался, как бы сторонился Валерьяна, пока не узнал, что тот — «старик». Кузьма так и сказал: «Чем душа у старика держалась?» — и сам себе ответил: «Богом...»

И Никитка понял: конечно, старик! Сорок с лишком лет просидеть в камере — поневоле стариком станешь! Как он раньше не догадался. Расспросивши Кузьму, уже совсем другую картину в мыслях нарисовал: седой

старец с длинной белой бородой и нечесаными волосами. Сутулый. Кашлял, как монах с Коневского скита, что однажды пришел на лодке с Валаама — потянуло помирать в родные края, на Рязанщину. Старец Валерьян здесь умер. Кузьма на четвертый день признался, что сам закопал его на берегу Ладоги.

— Знаешь, как он звал меня? Казик, Казимеж — по-ихнему. Чудной старик был. Под конец свихнулся. Доктор тюремный сказал, что сошел с ума. А я так думаю, что он с *нашего* ума сошел, Никитка,— рассуждал в темноте Кузьма.

— Как это? — млея от непонятного предчувствия, спросил Никитка.

— Ну, какой у всех у нас ум? Общий, покупной... Редко кому свой ум поиметь удастся. Много шишек набьешь. А старец божий в одиночку до своего ума дошел. Знаешь, до чего он додумался, в подвале сидючи? — таинственно спросил мастер, ворочаясь на нарах где-то далеко-далеко от Никитки.

— До чего?

— Что все люди — братья!

— Так это же... Иисус Христос еще... Батюшка нам сказывал,— смущенным шепотом отозвался малец.

— Э-э... брат, в том-то и дело,— Кузьма пояснять не стал, замолчал. Вскоре Никитка по ровному и мощному дыханию мастера понял, что тот спит.

Заскребся кто-то в тюремном углу, померкла в решетчатом окошке полоска белой ночи. Никитка лежал ни жив ни мертв, вглядываясь до рези в глазах в выкрашенную стенку, пока не появились на ней очертания белой фигуры с взлохмаченной бородой и длинными космами — проплыли к двери и растаяли.

Утром Кузьма показал Никитке тайный ход, не отмеченный на плане старосты. Сдвинул в сторону гранитную плиту — и открылся лаз шириною в четверть

сажени, выводящий, как сказал мастер, к самому берегу Ладоги.

— Для беглеца — милое дело! — ухмыльнулся Кузьма, но плиту на место поставил, закладывать лаз кирпичами не стал.

Никитке все казалось, что старец Валерьян ходит за ними по лестницам и переходам, таится в темных углах, бледной тенью исчезает в подвалах. Он был руководителем масонов, создателем еще какого-то тайного общества, сказал Кузьма, в тюрьму попал при первом Александре, который сокрушил Бонапарта. Слово «масон» пугало больше, чем «разбойник». Кузьма рассказывал, что старец на прогулках, когда Кузьме выпадало его сопровождать, разговаривал с ним о боге и еще о чем-то важном, чего молодой караульный не понимал. «Он по-нашему плохо говорил, языки путал. По-польски начнет, на французском закончит. Я этим языкам не обучен, но ухо различает. Польский шипит больше; поляки губами говорят, а французы — горлом»,— объяснял мастер.

— А бог у поляков — наш? — спросил Никитка.

— Тут не пойму. Зовут его вроде по-нашему. Но не наш, потому как католики они,— объяснил Кузьма.

Впрочем, он сказал, что старец в русской тюрьме православным стал, проповедовал добро и любовь, об этом и писал в своей тетрадке. Тетрадку эту Кузьма после смерти старца перенес в комендатуру, там она и сгинула.

— А по фамилии его как? — спросил Никитка.

— Фамилия его была Лукасиньский. Поляк он был,— со значением повторил каменщик.

В воскресенье пожаловал в крепость директор Департамента полиции Вячеслав Константинович Плеве. Никитка видел с крепостной стены его высокую статную фигуру — длинный вицмундир, руки за спиною,— вышагивавшую журавлем по двору в сопровождении Покро-

шинского и инженера с кислым бескровным лицом. Плеве был красив и ухожен, густые усы аккуратными валиками умещались под носом, загибая книзу остренькие кончики. Жандармы суетились, как мокрицы, попавшие на солнечный свет, когда выковырнешь из сырой земли валун. С замиранием сердца следил Никитка за начальником всех полицейских империи, любуясь его ростом и усами, а главное — непоколебимой холодноватой уверенностью, что была написана на его лице. Куда каторжным с таким тягаться! Кишка тонка.

Один раз Плеве поднял руку; его длинный палец, обернутый в белую перчатку, указал на неубранную кучу мусора неподалеку от церковной паперти — и тотчас.куча исчезла, как по мановению волшебной палочки, растащенная по горстке жандармскими мокрицами,— а рука Вячеслава Константиновича возвратилась на свое место, за поясницу.

Плеве осмотрел ворота, заделанные в стене, выходящей на Ладогу, засыпанное русло канала вдоль стен цитадели, поднялся на крепостную стену.

Он прошел мимо мастера и Никитки так близко, что до него можно было дотронуться,— не прошел, а проплыл, не повернув головы и не дрогнув ни одним мускулом на лице. Мастер и подмастерье сдернули шапки. Инженер, морщась, как от зубной боли, прошипел тихо:

— Все щели замазаны?

— Так точно, ваше выскородь... — доложил Кузьма.

«А как же лаз? — мелькнуло у Никитки.— По тому лазу разбойники вполне сбежать могут...»

Плеве постоял наверху, подставив лицо ладожскому ветру. Перед ним расстилался безбрежный простор великого озера.

— Говорят, отсюда еще никогда не бежали заключенные,— сказал он, не глядя на свиту.— Дай бог и дальше так.

— Рады стараться... — невпопад ответствовал полковник, и процессия исчезла в Королевской башне.

Кузьма долго смотрел вслед начальству, что-то обдумывая, потом толкнул Никитку в плечо.

— Пошли, малец.

Они прошли по стене до Светличной башни, спустились в нее и снова оказались перед гранитной плитой, за которой начинался лаз на волю. Кузьма снял плиту, постоял секунду, потом скомандовал:

— Давай кирпичи.

«Испугался мастер...» — подумал Никитка, спускаясь вниз за кирпичами.

Каменщик работал на совесть. Лаз был заложен двойной хитроумной кладкой внахлест, посажена на раствор и гранитная плита, скрывавшая начало лаза.

— Вот теперь мышка не проскочит, — сказал Кузьма.

Они снова поднялись на крепостную стену. Отсюда хорошо было видно, как отваливает от деревянной пристани пароходик с директором Департамента полиции, торчащим, словно жердь, на верхней палубе; как, вытянувшись в струнку, отдает ему честь полковник; как изгибается в пояснице инженер. Пароходик дал короткий гудок и взял курс на скрытый за болотным маревом город.

— Знаешь, что старец божий говорил? — вдруг спросил Кузьма.— «Насилие бессильно. Силою ничего нельзя сотворить»! Вот оно что!

— Как это? — не понял Никитка.

— Я по молодости тоже не понимал. Теперь понимаю,— вздохнул каменщик.— Силою ничего нельзя сотворить! Запомни, малец. Потому — пускай посидят, подумают. Им кажется — силою можно горы свернуть... Свернуть — оно, может, и можно. Сотворить силою нельзя...

Пароходик с черной полоской на трубе удалялся к медно-красному солнцу, клонившемуся на закат.

Отъезд был назначен на поздний вечер. После артельного ужина Никитка сложил инструменты, собрал вещи, перевязал сапоги веревкою. Мужики разбирали нары, выносили доски из келий. Стук молотков стоял в длинном коридоре старого Секретного дома.

Кузьма вышел на крыльцо, поманил Никитку, забравшегося в полосатую будку караульного. Они прошли через кордегардию, миновали новую тюрьму и оказались у братской могилы русских воинов, павших при взятии крепости в 1702 году. Могила была обсажена елками.

Кузьма вынул широкий нож и срезал две густые еловые лапы. Затем, засунув их под мышку, как банные веники, неторопливо зашагал к Государевой башне. Никитка шел рядом, понимая, что спрашивать о том, куда они идут,— не следует.

Жандарм за воротами башни открыл было рот, чтобы остановить мастера, осведомиться о цели, а то и попросту не пустить, но Кузьма миновал его с тем холодным равнодушием, с каким проходят мимо водосточной трубы, и жандармовы слова замешкались где-то на подходе. Миг был упущен. Жандарм успел только булькнуть вслед:

— Кто разре...

— Покрошинский,— густым голосом, не оборачиваясь, ответил Кузьма, а в Никитке все возликовало: не побоялись жандарма!

Кузьма пошел вправо по берегу. Они обогнули Королевскую башню, дошли до свежезаделанной двери в крепостной стене, ровно посредине между Королевской и Флажной. Здесь Кузьма остановился и передал еловые лапы Никитке. Затем мастер отсчитал от кирпичной заплаты десять шагов вдоль стены в сторону Флажной и десять шагов к озеру. Он остановился на берегу с торчащими из песка округлыми камнями,

прочертил носком сапога на песке крест, а затем, собрав несколько валунов, соорудил на этом месте небольшую пирамидку, к которой и прислонил лицом к озеру скрещенные еловые лапы.

Белая ночь набирала силу. Небо за крепостью еще слабо светилось закатными огнями, а где-то за озером, будто под водою, начинало пробуждаться солнце, слегка подсвечивая линию горизонта. Прямо над головою мастера и подмастерья, в бездне загадочно мерцавшего неба, стояли три легчайших золотых облачка, а вокруг острова в тишине спала ровная плоская вода, оживающая лишь у самой кромки прибоя мелкими, как кудряшки, волнами.

— Помяни, господи, раба твоего Валерьяна,— хрипло произнес Кузьма, сняв шапку.

Никитка понял, что они стоят у могилы старика, и впервые глубоко, до самого сердца, почувствовал одиночество человека, оторванного от родины, заточенного на чужбине в каменную клеть и лежащего теперь на этом пустом берегу, под пустым небом.

Кузьма между тем, опустив голову, шептал что-то, вроде как молился. Слов нельзя было разобрать. Закончив, он вздохнул, пояснил Никитке:

— Валерьянова молитва... Чем дольше живу, малец, тем она яснее...

Он взглянул вверх, на золотые перышки облаков, как бы примеряясь к расстоянию между землею и небом, и внезапно звучным, красивым голосом, воздевая руки, произнес:

— Есть что-то там, в небесах, что расстраивает все планы смертных!

— Что это? — вздрогнул Никитка.

— Так он повторял в начале и в конце молитвы. А ведь есть что-то там, Никитка, и вправду! — усмехнулся Кузьма, еще раз бросил взгляд на каменный холмик и устремился по берегу прочь от этого места.

И Никитка, спеша за ним и пытаясь не то чтобы понять, а хотя бы отдаленно обозреть слова Валерьяновой молитвы, почувствовал вдруг себя приверженным року, уже записавшему где-то в небесах историю его рождения, жизни и гибели.

...В шлюпке, стремящейся по течению к пристани городка Шлиссельбурга, он сидел на носу, уставясь в приближающийся берег. За его спиною, свирепо сопя, налегали на весла чернобородый землекоп и Кузьма. На корме пьяными слезами плакал молоденький инженер Иван Степанович, бормоча кому-то проклятия, а староста артели, глядя на него с жалостью и презрением, приговаривал:

— Кому сидеть в остроге, а кому и строить острог. Перемелется — мука будет...

Глава первая.
СТАСЬ

Июнь 1876 года

Какой восхитительный день выбрал господь, чтобы назначить мне судьбу!

Впрочем, будем скромнее, Станислав. Можно подумать, что у пана бога нет других дел, кроме как заботиться о твоей ничтожной персоне.

Как бы там ни было, денек выдался на славу. С утра еще веяло прохладой из сада, но скоро солнце начало припекать, воздух наполнился жужжаньем пчел, стрекотаньем кузнечиков, пеньем птах — всею звенящей музыкой молодого лета, еще не обремененного счастливой тяжестью плодов. Смутно грезят о них крохотные завязи, что остались на месте опавших бело-розовых лепестков яблонь и вишен.

Может, стать мне поэтом? У меня совсем недурной слог.

Главное, что на столе в моей комнатке на втором этаже нашего особняка лежал аттестат белоцерковской гимназии. Трудненько он мне достался! Когда Людвик уехал в Петербург, мне совсем осточертело в Белой Церкви, в этом жалком пансионе пани Рогальской, и я сдуру устроил демонстрацию. Стал отвечать уроки по-польски! Сделал вид, что забыл русский язык. «Господин Варыньский, прекратите издеваться!» — орал инспектор Токарский. «Пшепрашам пана»,— отвечал я и продолжал дальше. Гимназисты корчились от хохота. Все поляки, все пони-

мают... Короче, исключили на год. Другой бы легче отделался. Взять хотя бы Людвика. От него привыкли ждать выходок, это было как бы в порядке вещей. Но когда тихий позволит себе взбунтоваться — тут уж берегись! Ему закатают по первое число.

Целый учебный год я болтался без дела в Кривце; вернее, помогал немного отцу вести дела поместья, а пани Филипине — воспитывать младших сестер и Казика; ждал редких писем от Людвика. Отец за исключение не слишком пенял; похоже, был даже доволен в душе, что я наконец позволил себе самостоятельный поступок, хотя и глупый. Матушка так вовсе из меня героя сделала. Вспомнила даже, как она когда-то на приеме у киевского генерал-губернатора устроила нечто подобное — году этак в шестьдесят четвертом, когда повстанцы еще бродили по лесам на Украине и в Литве. Скандал был жуткий! Отцу это стоило карьеры, спасибо графу Браницкому, взявшему его управляющим.

И вот аттестат на столе. Не успел я насладиться свободой и помечтать о студенческой жизни в Петербурге, куда мы конечно же отправимся, как только у Людвика кончится срок административной высылки, как пришла сестра Хеленка, которую мы зовем на украинский манер — Галей. Она была в шляпке с плоскими полями, подвязанной розовой ленточкой, и в длинном платье с оборочками. Прелестное дитя, имеющее твердое намерение обратиться в девушку.

— Как вы накурили здесь, Стасю,— сморщила она миленькое личико.

Я поспешно выбросил папиросу в окно. Нигде нет покою! Пани Филипина воспитала младших сестер в почтении к нам с Людвиком. Они нас называют на «вы», как родителей.

— Чего тебе нужно? — не слишком вежливо спросил я.

— Отец просит вас пожаловать к нему в кабинет,—

сделав книксен, ответила Галя без тени улыбки, а я чуть не расхохотался ее серьезности. По-моему, она обиделась.

Я скатился по перилам вниз. Упал, не доехав, больно ударил коленку. Почему я не такой ловкий, как Людвик? Но даже это не испортило мне настроения.

Отец встретил меня за конторкой, где просматривал какие-то счета. Был он в своем повседневном костюме, в котором обычно выезжал на дрожках в имение. Ликование мое поутихло. Боюсь я отца. Мне кажется, что он относится ко мне не так, как к Людвику. Братом он гордится, это ясно. Братом и я горжусь. Во мне же нет ничего такого: ростом не вышел, способностей особых не обнаруживаю, хил и тщедушен. Лицо до сих пор в прыщах, скорей бы они прошли, матерь божья! Во взгляде отца я всегда это вижу: и хилость свою, и прыщи.

— Станислав, я говорил с пани Бжезиньской. Как ты смотришь на то, чтобы продолжить образование в Вене с ее сыном Эдмундом? — сказал отец как-то будничто, на мгновенье отрываясь от бумаг.

Я растерянно уставился на него. Никак не думал, что отец способен решать мою судьбу вот так, походя! Он снова уткнулся в счета. Я видел лишь его круглую макушку с серебряным ежиком волос. Мне стало необыкновенно досадно.

— Я не слышу ответа,— сказал он, не поднимая головы.

— Как вам будет угодно,— еле слышно сказал я.

— Мямля! — отрезал отец, вскидывая на меня круглые стекла очков.— Почему ты не протестуешь? Почему так покорен? Зачем ты не просишься в Петербург?

— Я хотел бы в Петербург,— сказал я безнадежно.

— Ага! В Петербург! — радостно воскликнул он.— Чтобы потом тебя тоже привезли сюда жандармы, как твоего старшего брата?

— Зачем же так...— пожал я плечами.

— Затем, что москали потеряли голову, а вы туда же! — отец сел на своего любимого конька.— Затем, что нужно помнить о том, что вы — поляки, а отчизна — в рабстве!..

Я все это знал наизусть. Сейчас он скажет о Костюшко.

— ...Вы забыли заветы Костюшко, нигилизм вас привлекает!

— Я не хочу в Петербург,— выдавил я из себя.

— У тебя никогда не будет своего мнения! — отрезал он.

Откуда же ему взяться, когда все орут? Ах, Станислав, есть в тебе нечто такое, что не только позволяет орать на тебя, но и делает это приятным! На этот раз еще повезло. Отец быстро укротил свой пыл и, пытаясь придать голосу задушевность, начал расписывать красоты Вены. Подслащивал мне пилюлю. Будто я не знаю, что Вена — провинция Европы. Кто живет в Вене? Штраус — король вальсов! Этим все сказано...

— ...У вас с Эдмундом есть время, чтобы подготовиться, подучить язык... Поедете в августе,— закончил отец и демонстративно развернул гроссбух, давая понять, что мне можно удалиться.

Я попятился спиною к двери, мелко кланяясь и прижимая руки к груди.

— Не паясничай! — прикрикнул он.

А что остается делать? За меня все решили. Вена, немецкий язык... Ненавижу! Будто мне мало польского и русского! Непонятно было только — как согласился на Вену Эдмунд Бжезиньский?

Эдмунд был нашим однокашником по белоцерковской гимназии, всего двумя годами старше Людвика. Первый ученик в классе, спокойный, выдержанный... Не то что брат! Любил поважничать, показать, что он знает что-то такое, о чем тебе знать не положено. Он организовал кру-

жок. Разумеется, тайный. Эдмунд, Людвик, Трушка и еще двое старшеклассников. Меня не приняли, сказали — мал. А я моложе Людвика всего на десять месяцев. Я плакал тайком. Они тайком читали книжки, а я тайком плакал.

Матушка Пелагия родила меня сразу вслед за Людвиком, да, видно, силы не рассчитала. Все здоровье в Людвика ушло, на меня ничего не осталось. Я в детстве много болел. Да и в мальчишечьих драках мне доставалось. Людвик меня всегда защищал, поэтому относился как к ребенку. А я почти такой же, как он, по возрасту! Мне через три недели исполнится девятнадцать, и я опять его догоню. Два месяца нам будет по девятнадцать лет, а в сентябре Людвику исполнится двадцать.

Но я уже буду в Вене, если верить отцу. Попробуй ему не верить.

Так вот, Эдмунд с Людвиком читали патриотические книжки, благо у Трушковских богатая библиотека. Окончив гимназию, Эдмунд попробовал учиться в Одессе на юриста. Но потом все же перебрался в Петербург, куда последовал, получив аттестат, и Людвик. Оба оказались в Технологическом институте. Людвика, как и отца, тянуло к точным наукам, а я их ненавижу. Отец когда-то закончил математико-физическое отделение университета. На что оно ему теперь? Чтобы знать строение кристаллов сахара? В Кривце сахарный заводик, а сахар — главный продукт, дающий доход в казну графа Владислава Браницкого.

Людвик проучился в институте чуть больше месяца, и его выгнали. Сразу ввязался в какие-то студенческие протесты. Всю зиму пробавлялся репетиторством и еще какими-то, опять-таки тайными, занятиями. Как раз в то время я тоже бездельничал в Кривце. На следующий год Людвик поступил опять, но уже в ноябре был отчислен окончательно. Он мне объяснил — за что, но я мало понял. Вроде бы их курс отказался от репетиций — так называ-

лись повторные экзамены через каждые шесть недель, которые надлежало сдавать. Устроили сходку, написали петицию... Как водится, зачинщиков выгнали. На этот раз по приказу петербургского обер-полицмейстера Трепова Людвика проводили в Кривец — по месту проживания родителей — под полицейский надзор.

Это было зрелище, когда под рождество прошлого года Людек появился в полицейской кибитке в сопровождении двух жандармов и станового! Людвик пытался сделать удрученное лицо, но у него ничего не выходило — вид был торжествующий. Еще бы! Толпа ребятишек сопровождала кибитку до самого дома. Селяне высыпали на улицу. Не часто увидишь, как молодого паныча, самого сына управляющего имением, привозят жандармы!

Эдмунд вернулся к матери в Белую Церковь через две недели. Без жандармов, но тоже отчисленный. Оказывается, он в числе прочих пробовал протестовать против исключения Людвика, но удалось добиться только собственного исключения.

Я наших родителей прекрасно понимаю, когда они хотят спровадить нас в Вену. В Петербурге — нигилисты, в Варшаве — постыдное для каждого поляка унижение русификаторской политикой, в Лондоне — просто дорого... Остаются Вена, Лейпциг... Выбирай, Станислав! Впрочем, отец уже выбрал.

Интересно, как ему удастся уговорить Людвика?

Так или иначе, надо было сообщить брату о грозящей опасности, а заодно расспросить про Эдмунда.

Я вышел на крыльцо. Солнце ударило в глаза. Над селом поднималось желто-серое марево, обещавшее жаркий день.

— Людек! — крикнул я в пространство.

— Они уси на речке...— отозвался из дому ленивый голос кухарки Гапы.

Я обежал дом и через сад спустился тропинкой к лу-

говой пойме, зеленым ковром расстилавшейся внизу — с речкой Росавой, перекинутой через ковер, точно нитка жемчуга. Не стать мне поэтом! Буду вскрывать трупы австрияков в анатомичке. Бр-р!

Издали я увидел на лугу всю честную компанию. Девицы-сестрицы с разноцветными сачками гонялись за бабочками, собирали коллекцию по заданию Филипины. Помогал им Казик — он носил картонную коробку с булавками. Сама пани Филипина и Людвик сидели на широком льняном покрывале, накинутом на траву, и наблюдали с пригорка за детьми. В руках у Людвика была раскрытая книга.

Я непроизвольно замедлил шаг. Последнее время я не любил разговаривать с пани Филипиной и Людвиком, когда они вместе. По отдельности — пожалуйста! Я их очень люблю и уважаю. Но когда они вместе, мне становится как-то не по себе.

Дело даже не в слухах, которые муссируются кривцовским «высшим светом» — двумя приказчиками, учителем воскресной школы, инженером на сахарном заводе и, разумеется, их женами. Слухи очень просты и гадки: домашняя учительница управляющего пани Филипина Пласковицкая якобы «совращает» молодого паныча. У них тайный роман, а учительница мало того, что не ровня,— она почти на десять лет старше! Слухи, кажется, докатились до матушки Пелагии, во всяком случае, она стала отпускать пани Филипине за обедом колкости и строго спрашивать за обучение девочек, чего раньше не бывало.

Я слухам не верил, но в то же время меня не покидало ощущение, что пани Филипину и Людвика действительно объединяет какая-то тайна. Они часто уединялись, писали какие-то письма — двоюродный брат Стефан отвозил их потом в Киев. В общих разговорах я замечал обмен взглядами и кивками, недоговоренности — короче,

их связывала какая-то нить, которую я чувствовал почти физически. Они же по привычке считали меня маленьким несмышленышем, будто я ничего не вижу! Это было особенно обидно, вот почему я не любил подходить к ним, когда они вместе.

На этот раз выхода не было. Меня распирала новость.

Я принял хмурый, скучающий вид. Мне казалось, что подойти к ним с угрюмым лицом — проще. Однако ничего не получилось. Увидев меня, Людвик, как всегда, просиял, будто мы не виделись с ним целый год, тогда как расстались после завтрака. У него удивительная способность радоваться близким людям! Он весь расцветает, поэтому нужно быть бесчувственным бревном, чтобы сохранить на лице угрюмость. Я тоже расплылся.

— Стасю, давай сюда! Мы сгораем от любопытства! Зачем вызывал тебя отец? — набросился с расспросами Людвик.

Я присел на краешек покрывала, помолчал для важности. Пани Филипина смотрела на меня со своею всегдашней мягкой улыбкой. Мне кажется, что она все про меня знает.

— Он предложил мне ехать учиться в Вену,— сказал я небрежно.

— С Эдмундом?! — воскликнул Людвик.

— Ах, ты знаешь про Эдмунда? — обернулся я к нему.

— Знаю...— Людвик помрачнел.

— Я не хочу в Вену. Я хочу с тобой в Петербург,— сказал я.

Людвик бросил быстрый взгляд на пани Филипину. Та опустила глаза, отчего я опять с досадой вспомнил о тайне.

— Еще неизвестно — поеду ли я туда,— уклончиво проговорил брат, захлопывая, наконец, книгу и отбрасывая ее на покрывало. Я увидел на обложке: «Н. Миртов.

Исторические письма».— Может, я тоже в Вену махну! — добавил он беспечно.

— Ты?! В Вену?! — я был ошеломлен.— Да я тебя уважать перестану!

Людвик расхохотался и внезапно бросился на меня, как тигр из засады. Он обхватил меня, и мы с ним покатились по траве с пригорка. Я отчаянно отбивался, но куда там! Он сильнее и выше меня. Я сопротивлялся изо всех сил, а он баловался со мною вполсилы, игрался, как кошка с мышкой. Пани Филипина все так же понимающе улыбалась.

— Пусти, Людка! Я тебе серьезно говорю! Моя участь решается! — кричал я.

Людвик отпустил меня, сделал важное лицо. На этом лице ни к селу ни к городу торчала редкая козлиная бородка, которую братец отпустил в Петербурге и сейчас никак не хотел расставаться с нею, хотя она ему была — как телеге пятое колесо!

— Ну, если участь твоя решается, то вот тебе совет: в Вене женись, брат мой! Выбери австриячку с приданым и не забывай о трех «ка»: кирхе, кухен, киндер!..

— Людек...— укоризненно остановила его пани Филипина. Она заметила, что я начинаю обижаться: нижняя губа сама собою задрожала и оттопырилась.

Людвик посмотрел оценивающе, подергал свою дурацкую бороденку, потом сказал примиряюще:

— Прости, я не хотел тебя обидеть. Но все же я не пойму, почему ты против Вены?

— Да мне все равно, как ты не понимаешь! Я хочу с тобой, а не с Эдмундом, неужели нельзя догадаться! — произнес я, мучительно краснея и досадуя на брата, что он заставляет меня еще раз говорить то, о чем все знали и так: я был всю жизнь пристяжным к нему, довеском, преданным вассалом — с самого рождения. Тут уж

ничего не поделать. Мне это даже нравилось, во всяком случае, вошло в привычку. Я еле пережил тот год, что он провел отдельно от меня, в Петербурге.

— Вот как...— Людвик задумался; они с пани Филипиной опять значительно переглянулись. Мне показалось, что Людвик спрашивает что-то взглядом у учительницы.

— Расскажи, Людвик,— кивнула она.

Он снова уселся на покрывало. Я же расстегнул рубашку и откинулся спиною на мягкую траву рядом с ними. Я люблю лежать на траве. Надо мною было синее небо, а в нем — редкие белые облачка, первые вестники грозовых туч, что собирались далеко у горизонта.

Людвик начал говорить. Как я и предполагал, вскоре ему стало невозможно сидеть — он вскочил на ноги и, стоя надо мной, принялся размахивать руками и кричать, будто выступал перед тысячной толпою. Пани Филипина тихонько посмеивалась; она смотрела на Людвика, как на любимого сына.

Я понял, что все сплетни про их «роман» — ложь. На любовников так не смотрят.

Я глядел вверх, сощурившись от яркого солнечного света. Голова Людвика с короткими торчащими вихрами на фоне облаков находилась высоко-высоко надо мною, а то, что он говорил, было так же недостижимо и манящие, как облака в синем небе.

Людвик открыл тайну. В ней не оказалось никаких амуров. Ничего личного... Хотя, это как сказать. Может быть, в ней все было личным.

Сначала я хотел обидеться: почему он не сказал раньше? Но я подавил обиду. В конце концов, это была не только его тайна. Кроме того, как объяснил брат, он намеренно берег меня от всех этих дел. Ну что ж, спасибо и на этом...

Итак, главное: в Петербурге Людвик стал социалистом! А наша милая и тихая учительница пани Филипина, оказывается, уже давно была социалисткой!

Но обо всем по порядку.

В Петербурге полно поляков-студентов. Это я знал и раньше. Едут туда отовсюду, в том числе и из Варшавы — слишком уж унизительно учиться в Королевстве нынче. В Питере, по крайней мере, из поляка не стараются сделать русского. Знал я и о том, что польские студенты в столице объединяются в кружки — опять-таки тайные... «Два поляка встретятся за чашкой кофе — вот тебе и тайный кружок...» — ворчал отец. Я с ним согласен. Направление этих кружков, я догадывался, было патриотическое. О чем же могут толковать поляки на чужбине, как не об освобождении своей родины? О чем они могут еще грезить? Однако Людвик сказал, что «патриоты» нынче пошли не те...

— Что ты имеешь в виду? — спросил я, глядя, как за головою брата прячется круглое кудрявое облачко — только что было, и нет. Сейчас выглянет с другой стороны, из-за правого уха.

— «Позитивизм» — слыхал такое слово?

— Не...— ответил я, стараясь не двигаться и тем не нарушить условия наблюдения за облачком.

— Тогда слушай,— брат шагнул в сторону и выпустил облачко на волю.

Людвик принялся излагать какие-то философские теории. Мне стало скучно. Пани Филипина это заметила и в двух словах объяснила мне — кто такие позитивисты. Это те, кто хочет позитивных изменений в обществе. Они додумались, что отцы и деды наши зря хватались за оружие при первом удобном случае. Ничего они не добились, кроме виселиц и Сибири, а Польша как была разделена на три части, так и осталась. Позитивисты хотят добиться независимости по-другому: с русскими не драться и

даже не спорить, прилежно учиться, лояльно себя вести, продвигаться по службе, занимать высокие должности в Королевстве...

— Тьфу, как глупо и противно! — не выдержал я.

— Не скажите, Станислав,— заметила пани Филипина.— Не так уж это глупо, хотя и противно, я с вами согласна. Развитие культуры, науки, ремесел в Королевстве, благодаря господам позитивистам...

— Буржуа, иными словами,— вставил Людвик.

— ...может привести к тому, что Польша получит независимость от России. Сначала экономическую, а потом и государственную.

— Хорошо, я понял,— кивнул я, чуть-чуть сдвигая голову вправо, чтобы снова загнать облачко за Людвика.— Но ты же не стал позитивистом. Зачем ты мне о них рассказываешь?

— Для того, чтобы ты понял — какие настроения среди польской молодежи нынче.

— Но что мне до настроений польской молодежи?

— А ты сам — кто?! Разве не польская молодежь?! — заорал Людвик, подскакивая ко мне и наклоняясь.

Опять орут. Так всегда. А я хотел только уточнить: зачем мне все это?

Людвик встряхнул меня — видимо, чтобы вытряхнуть из меня дурацкие вопросы. Я снова улегся на траву. Больше ни о чем не буду спрашивать! Не все ли равно: позитивизм, социализм, нигилизм, анархизм?.. Облака на небе красивые. Они стали плотнее, бока округлились, подошвы отливают уже грозовой синевою. Голова Людвика с буйными перышками его русых волос тоже стала как облако. Или разморило меня на солнце... Я прикрыл глаза и сам не заметил, как задремал. Сквозь сон успел еще услышать что-то про кружок в Петербурге, куда входил Людвик... какие-то незнакомые фамилии, кроме Эдмунда Бжезиньского: Венцковский, Кобыляньский, Гласко, Вы-

слоух, Мондшайн... Проснулся оттого, что Людвик тряс меня за плечи:

— Просыпайся, негодник! А еще обижаешься! Тебе в люльке соску сосать, а не социализмом заниматься!

— Очень нужно,— буркнул я.

Небо уже потемнело, ветер гладил траву поймы, по воде пробегали серебряные пятна ряби. Низко летали стрижи.

Пани Филипина кликнула детей. Мы потянулись лугом к задней ограде сада, куда в это время вышла кухарка Гапа. Она махала нам рукою, крича:

— Панычи, паненки! Зараз бежите до дому! Обид на столе!

Я шел за Людвиком и канючил:

— Людек, прости... Сам не заметил, как уснул... О чем ты рассказывал?

— Молчи, соня! — насмешливо отвечал он.

У самой калитки, пропустив вперед пани Филипину и девочек, он повернулся ко мне. Его лицо было серьезно и бледно. В этот миг блеснула молния над Росавой, треск грома расколол небо так, что я вздрогнул. Людвик схватил меня за руку.

— Не бойся, Стасю... Никому ни слова о том, что я тебе сказал. Я не вернусь в Питер. Я поеду в Варшаву.

— Зачем?

— Я устрою там социальную революцию!

— Ты?! — я чуть не упал.

Я очень уважал Людвика. Можно сказать, я боготворил его. Но во всем нужно знать меру. Не свихнулся ли он? С какой стати недоучившийся студент, которому нет двадцати, собирается свершить в Королевстве социальную революцию? А у поляков он спросил?

Заметив на моем лице все эти вопросы, Людвик холодно вскинул голову:

— Ты мне не веришь?

— Почему же...— неубедительно протянул я.

Мы молча пошли через сад, мимо беленых стволов, которые ярко светились в опустившейся предгрозовой темноте. Внезапно зашумело над нами, на землю с небес низвергнулся дождь. Мы юркнули под яблоню. Здесь было еще сухо и тепло, тогда как дождь уже принес в сад прохладу.

— Значит, ты все-таки примкнул к русским?..— спросил я осторожно, припомнив разговоры отца о русских нигилистах, которые смущают умы поляков вредными идеями. Эти разговоры особенно участились после того лета, когда русские студенты «ходили в народ».

Людвик помолчал. Высунул из-под густой листвы руку, подставил ладонь каплям.

— Откуда у тебя это? — задумчиво спросил он и вдруг резко повернулся ко мне и закричал: — Ну, скажи — в тебе откуда — это?! Ну, отец — я понимаю! Ну, матушка... Но нам-то зачем?! Мы здесь родились и выросли, среди украинцев и русских, мы в гимназии с ними бок о бок... Скажи: на каком языке мы лучше говорим — на польском или на русском? Только честно!

— Не знаю,— пожал я плечами.

— А я знаю! Увы, на русском, брат мой! Ибо мы и сейчас на нем разговариваем, а это означает, что нам так привычнее! Так какого же черта ты так говоришь! «Примкнул к русским»! Да я от них никогда и не отмыкал! И ты тоже.

Я растерянно улыбнулся. Мне в голову не приходило, что мы с Людвиком разговариваем сейчас на русском. Это само собою получалось: когда по-польски, когда по-русски... Людвик выбрал убедительный аргумент.

— Я хочу, чтобы поляки узнали о социализме,— сказал он и, заметив, что дождь не собирается утихомириваться и уже пробивает листву яблони, бросился бегом к

дому. Я побежал следом, скользя по мгновенно намокшей глинистой дорожке.

— Людвик, я тоже хочу в Варшаву! — кричал я сквозь шум дождя и раскаты грома в небесах.

Он не слышал меня.

Обед прошел под грохот воды, хлещущей из водосточных труб за прикрытыми окнами. Оттого, вероятно, все были возбуждены более обычного. Отец налил нам с Людвиком по рюмке вишневки, взял свою двумя пальцами за ножку.

— Мы со Станиславом приняли решение,— объявил он.— Наш сын и брат едет продолжать образование в Вену...

Сестры притихли, уважительно поглядывая на меня.

— ...Я желаю ему удачи в делах. Пусть помнит всегда о чести семьи Варыньских. Да свершится воля господня!

При последних словах отец покосился на Людвика. Брат усмехнулся: он понял — кому предназначены слова о чести семьи.

Матушка подлила масла в огонь.

— Вот и дождались, что Станислав обогнал Людвика. Кто бы мог подумать! — покачала она головой.

Людвик вспыхнул, дернулся. При его самолюбии такие слова — хуже проклятия! Я бы на его месте даже не заметил.

— Каждый выбирает поприще согласно своему убеждению,— дрожащим голосом проговорил он.— Бывает и так, что поприще это не всем заметно...

— Не понимаю, что ты хочешь сказать...— вздохнула матушка.

Гапа уже наливала борщ — густой, свекольного цвета, с одуряющим запахом, валившим из кастрюли вместе с паром. Отец потянулся за красным стручком перца, принялся полоскать его в борще.

Некоторое время за столом царила тишина. Я улыбался про себя, хотя хранил на лице серьезную мину. Сказать бы им сейчас, что Людвик собирается в Варшаву бунтовать бедняков против господ! То-то было бы шуму!

— Я должна объявить вам, господа,— начала вдруг пани Филипина, обводя нас своим всегдашним приветливым взором,— что я тоже уезжаю. Прошу пана Северина о расчете.

Девочки перестали жевать, уставились на учительницу. У Ядзи начали набухать на глазах слезы. Я, признаться, был тоже ошарашен. Людвик отнесся к заявлению пани Филипины спокойно. Как видно, он уже знал. Зато матушка оживилась. Она всплеснула руками и воскликнула с притворным испугом:

— Но как же так? Куда вы от нас, пани Филипина?

— Я еду в Варшаву. Пришел вызов из Варшавского учебного округа. Я подавала туда письменное прошение. Теперь меня вызывают на экзамен,— спокойно объяснила пани Филипина.

— Какой же?

— Я хочу стать народной учительницей.

— Вот как!..— воскликнула матушка на этот раз с искренним чувством удивления.

Я видел, что удовлетворение от того, что учительница уедет и кончатся эти слухи, боролось в матушке Пелагии с обидой: неужели учительнице так плохо в доме, что она решила променять его на место в сельской школе? Словно предупреждая ее расспросы, пани Филипина сказала:

— Не подумайте, бога ради, что я чем-нибудь недовольна. Мне было очень хорошо в вашей семье. Я с большим сожалением ее покидаю. Но так надо. Я всегда мечтала о том, чтобы учить крестьянских детей. Кроме того, де-

ти подготовлены в разные классы гимназии, им полезнее будет продолжить образование там...

— И все же — очень жаль! — заметил отец.

Ядзя наконец разревелась. Пани Филипина вывела ее из-за стола и что-то тихо принялась объяснять в уголке. Ядвига утерла слезы, потом несмело улыбнулась... Пани Филипина вернула ее к столу.

Обед продолжался. Я рассеянно поглощал молодую картошку с укропом и слушал, как матушка рассказывала о своем детстве — как она была воспитанницей в семье графа Дариуша Понятовского и что ей понятны все сложности жизни в чужой семье... Опять намек пани Филипине. Отец, похоже, был искренно огорчен сообщением пани. Он вообще относился к ней сердечно: ему нравились ее скромность, твердость и набожность. Знал бы он, что под набожностью скрывается социалистка! Впрочем, мне кажется, что у пани Филипины вера в бога уживалась с социалистическими убеждениями.

Но больше меня занимали собственные мысли. Я понял, что мы расходимся надолго — Людвик и я — впервые в жизни. И еще я понял, что Людвик с пани Филипиной договорились насчет Варшавы. Пускай они поедут туда не вместе, но там они встретятся. Это уж точно. Я смотрел на всю нашу большую семью — на отца, крепкого еще, но уже с первыми неприметными черточками старости; на матушку, расплывшуюся за последние три года; на сестер, которые вот-вот одна за другой станут невестами... «А ведь этот семейный обед — последний!» — догадался я. Когда еще доведется собраться всем вместе в родительском доме! Мне стало грустно. Любая перемена вызывает во мне грусть, потому что я никогда не видел перемен к лучшему. Так уж устроена моя душа. Тут я антипод Людвику. Он бесстрашно оставляет прошлое и спешит навстречу будущему, ибо верит, что оно способно стать лучше.

Вечером брат пришел ко мне, чтобы продолжить разговор о нашем «поприще», как назвал он за обедом будущность. Я кое-что узнал о социализме. Удивило меня, что в Варшаве о нем, похоже, не знают. То есть знают, но не спешат исповедовать.

— Там всего-то один социалист! — смеясь, сказал Людвик.— Зовут его Казимеж Гильдт. Мне Избицкий про него рассказывал.

Владислав Избицкий был киевлянин, приятель пани Филипины. Я раньше подозревал, что это ее жених, но потом отбросил это предположение. Оказалось теперь, что он тоже из компании социалистов. Один я в стороне... А с этим Гильдтом, как выяснилось, самым непосредственным образом связана наша поездка в Вену. Людвик сказал, что мы с Эдмундом поедем через Львов, чтобы там передать какому-то Болеславу Лимановскому перевод на польский язык брошюры Лассаля «Программа работников». Перевел ее тот самый Гильдт. Может быть, старик Лимановский, сказал Людвик, поможет напечатать брошюрку во Львове. Социалистам нужны книги на польском языке.

Он так уверенно говорил, называл имена и фамилии, что я почувствовал себя совсем далеко от него, хотя и обрадовался, что могу чем-то помочь Людвику.

Уже давно стемнело. Мы сидели при свече в моей комнатке. Из окна тянуло ночной прохладой, влажностью намокшего сада. Век бы жил на этой благодатной земле! Так нет — надо ехать к австриякам!

— Людвику, милый, зачем тебе это? — спросил я.

Он понял — о чем я говорю.

— Не знаю. В Питере я вдруг понял, что все устроено несправедливо. Как же мне жить дальше, зная это? Я должен сделать так, чтобы исчезли бедные и богатые!

— Но бедные и богатые всегда были и будут...

— Были, но — не будут! — твердо заявил он.

— Одному тебе не справиться,— покачал я головой в темноте.

Он сжал мои щеки ладонями. Я почувствовал, как они горячи.

— Посмотрим, Стасю, посмотрим...— жарко прошептал он.

Он ушел, поцеловав меня в темя, как маленького. Я остался лежать на кровати. Пахло воском сгоревшей свечи, крахмальной наволочкой, звездным небом в раскрытом окне...

Почему он решил, что должен? Как такие мысли приходят в голову обыкновенному маленькому человеку? Что это — самомнение, тщеславие, ребячливость? Я не знал. У меня не было таких мыслей, потому было горько на душе. Я хотел просто стать врачом, а Людвик мечтал перевернуть историю Отчизны. Еще в детстве он странно любил Домбровского. Его влекло к героям. Что ж, я буду помогать ему даже на расстоянии, чем смогу, если нет у меня собственного огня, если дано мне быть лишь пристяжным к коренному, довеском, покорным вассалом при моем брате.

Постскриптум

Он умрет через двенадцать лет на чужбине от внезапной болезни. Его молодая жена-швейцарка останется с маленьким сыном и племянником Тадеушем, семи лет, который воспитывался в семье Станислава.

Он не станет ни врачом, ни революционером — ему дано будет лишь ненадолго заменить отца сыну своего старшего брата.

Глава вторая.

КАЗИМЕЖ

Сентябрь 1877 года

На мосту ветер едва не сорвал шляпу. Гильдт обеими руками ухватился за ее широкие волнистые поля; при этом так неловко дернулся, что рукав сюртука зацепил дужку очков и они повисли на одном ухе, качаясь и тоже грозя сорваться. Вероятно, у него был столь комичный вид со вскинутыми к шляпе руками и болтающейся металлической оправой, что молоденькая барышня в вуальке и длинной серой юбке прыснула, проходя мимо. Казимеж растерянно улыбнулся. Окончательно обезоружил его мальчишка-рассыльный, возникший неизвестно откуда с насмешливой услужливостью:

— Не поправить ли очки пану?

О, эти варшавские рассыльные! Никуда от них не деться. И все же он с радостью, уже не впервые за сегодняшний день, отметил: он дома, в родной Варшаве! Конечно, в Одессе было совсем неплохо — работа помощником присяжного поверенного в адвокатской конторе Генрыка Чапецкого его устраивала; было кое-что и для души: беседы с Длуским, посещение сходок «Южнороссийского союза рабочих», переводы, переводы... Правда, не было Мани — любимой, взбалмошной, решительной и дерзкой, несмотря на свою миниатюрность, за что Гильдт звал ее про себя «синичкой». Упаси бог, чтобы Маня узнала об этом прозвище! Она приезжала всего один раз, визит носил чисто деловой характер. Маня просила свести ее с землевольцами, привезла письмо от Дыньки, где тот сообщал, что после естественного факультета поступил на медицинский, а заодно тоже переводит кое-что «полезное для дела». Маня пояснила: переводит брошюрку, предназначенную для пропаганды среди рабочих.

Почти два года он отсутствовал. Краткие наезды не в счет, они только дразнили воображение. Маня на глазах становилась все взрослее и притягательнее для него. Нет, она не была красавицей, он, слава богу, это понимал, но какое это имеет значение! Гильдт любил Маню Ге давно и пылко, хотя она уже не раз давала понять, что о любви между ними не может быть и речи, они останутся товарищами, связанными общей заботой о социальном благе. Гильдт желал социального блага, но еще больше, видит бог, он желал Маню, хотя и корил себя за это. Вот и у русских он насмотрелся и наслышался о замечательных примерах дружбы между мужчиной и женщиной, связанных общим делом пропаганды в народе. По нескольку месяцев жили вдвоем в одной избе, изображая мужа и жену для конспирации, но в близкие отношения не вступали! А если один из них при этом любил другого? Должно быть, мучительно было...

Маня привезла в Одессу еще одну новость: в Варшаве появился некий молодой человек из-под Киева, недоучившийся студент, который сразу же по приезде устроился слесарем на завод Лильпопа и Рау, где стал вести пропаганду среди рабочих. Зовут молодого человека Людвик Варыньский.

Фамилия была Гильдту понаслышке знакома. Казик Длуский знал об этом молодом человеке от Марьи Янковской — богатой молодой дамы, жены киевского миллионера Владислава Янковского, в семье которого Казик какое-то время занимался репетиторством с двумя сыновьями пани Янковской. Эта пани, между прочим, не прочь заняться социализмом, невзирая на свое общественное положение. Она даже завязала связи с Интернационалом, будучи за границей. Так вот, пани рассказывала Казику, что Варыньский в Петербурге примкнул к социалистам, хотя прежде принадлежал к «патриотам»; стал членом кружка Венцковского, потом был выслан и занимается

самообразованием в местечке Кривец. Пани Янковская посылала ему через Избицкого книги из своей библиотеки: Маркса, Бакунина, Лассаля...

— Не тот ли это Варыньский из Кривца, что повез мой перевод Лассаля во Львов? — спросил Гильдт, вспомнив о том, что Длуский однажды, приехав из Киева, рассказал ему об этом.

— Нет, речь шла о его младшем брате.

Теперь Казимеж Гильдт направлялся в Александровский парк, чтобы познакомиться наконец с Людвиком Варыньским, о котором в Варшаве ходили разговоры.

Собственно, предстояло нечто вроде сходки. Гильдт давно не видел старых друзей: Дыньку, Менделя, братьев Плавиньских. Должна прийти и Маня, как же без нее! Но самое главное — новые лица: Людвик Варыньский и Болеслав Мондшайн из Петербурга. Последний еще год назад перевелся в Варшавский университет из петербургской Медико-хирургической академии исключительно для того, чтобы вести пропаганду. Маня говорила еще о какой-то народной учительнице, что наезжает в Варшаву из деревни Яниславице под Скерневицами.

Вчера, приехав, Казимеж послал Дыньке записку и скоро получил ответ: «Приходи завтра в Александровский парк, к пристани лодок. Увидишь всех. Шимон». Место встречи удивило Гильдта. Почему не в Саксонском саду? Или не в Лазенках? Александровский парк был местом гуляний простого ремесленного люда. Здесь лет шесть назад насадили на песчаном берегу Вислы деревья и кусты, сделали некое подобие аллей, хотя парк все равно кажется неухоженным, диким. Никаких увеселений, кроме катанья на лодках и трех пивных, где проводят выходной день работники ближайших фабрик.

Уже спускаясь с моста, Казимеж бросил взгляд влево, в сторону парка. Ему показалось, что на берегу возле лодочной пристани он заметил огненно-рыжую голову

Дикштейна. Наверное, показалось. Дынька был вторым человеком в Варшаве после Мани, которого Гильдт любил нежной любовью. Увы, в этот список не входили родители. Отец встретил его сурово: кандидат прав мог бы зарабатывать побольше, не говоря о том, что собственный юрист в семье — большая удача. Однако сын не хочет заниматься домовладельческими делами отца, он хочет бунтовать рабочих. Что ж, его дело! Но пусть не рассчитывает на помощь.

Казимеж на помощь и не рассчитывал. Много ли ему нужно? Его нищенский наряд, который он носил даже не из бедности, а по причине полного отсутствия интереса к одежде, еще на университетской скамье был предметом шуток.

Вот и сейчас на нем, кроме широкополой шляпы, был длинный, заштопанный в нескольких местах сюртук, горло обматывало шелковое черное кашне, обожженное с одного края — след несчастного случая с курением, произошедшего в Одессе, узкие брюки в полоску заканчивались бахромой на обеих штанинах, ботинки же были непонятного рыжего цвета, но отнюдь не из-за соответствующей выделки, а просто из небрежения к чистке. Вид неряшливый, что и говорить, но стоило взглянуть в глаза под стеклами очков... Почему Маня Ге не замечает его глаз, в которых, кроме мудрости и печали, светятся любовь и надежда?..

Он неожиданно закашлялся, оперся на перила моста. На глазах выступили слезы. Проклятый кашель мучил его еще в Одессе, неужели и в Варшаве от него не избавиться? Что же там за рыжее пятнышко на берегу? Нет, это не Шимон... С такого расстояния его не увидеть.

Казимеж спустился к берегу и пошел по песчаной полоске к видневшейся в полуверсте пристани. Слева, за Вислой, освещенные нежаркими лучами солнца, торчали костелы Старого Мяста, а дальше, за железнодорожным

мостом, виднелись мрачные стены Александровской цитадели. Где-то там, за этими стенами, находится знаменитый Десятый павильон — политическая тюрьма. Не нас ли он ждет, нечаянно подумал Гильдт. Правительство уже показало свое отношение к мирной пропаганде социализма в России, арестовав несколько сот человек, «ходивших в народ». Говорят, готовится крупный процесс... Надо полагать, что и в Королевстве спуску социалистам не дадут. Правда, власти убеждены, что Польша слишком заражена «патриотизмом», чтобы в ней поселился социализм. Кстати, в этом же убеждены и «патриоты», сотрудничающие в варшавских газетах. Свентоховский предает русский нигилизм анафеме и говорит, что ему нет места в польских сердцах. И он почти прав, увы! Те несколько человек, что соберутся сейчас у пристани в Александровском парке,— практически все варшавские социалисты. Однако нет худа без добра, подумал он. По крайней мере, о нас еще не знают жандармы, есть в запасе некоторое время, пока они будут благодушничать, видя главную опасность в «патриотизме» поляков.

Уже подходя к пристани, Гильдт убедился, что рыжее пятно, которое он принял за шевелюру Дыньки, на самом деле оказалось Маниным платьем. Он никогда на ней такого не видел — с широкой, в складках, юбкой, с многочисленными рюшечками и воланами на груди. В этом платье она показалась ему еще прекрасней. Она сидела на старой поваленной липе, вросшей в песок берега, а рядом с нею — братья Плавиньские, Юзеф и Казимеж, оба с густыми черными бородами, чрезвычайно похожие друг на друга. Маня, как видно, не замечала бредущего по берегу Гильдта, ее внимание было устремлено на реку. Вот она помахала кому-то рукой... Гильдт повернул голову: Вислу пересекал ялик перевозчика, на котором — теперь уже сомнений не было — он увидел рыжую голову Дикштейна. Рядом в элегантном котелке, с тростью в ру-

ках сидел Станислав Мендельсон, тоже студент Варшавского университета.

Лодка причалила раньше, чем Гильдт подошел к друзьям. Он увидел, как они обмениваются приветствиями. Наконец Дикштейн заметил Гильдта и первый бросился к нему, оставляя на влажном речном песке глубокие следы.

Он порывисто обнял Гильдта, тот был растроган. Дынька, верная душа, предмет вечных насмешек университетских остряков, которые не прощали ему ничего — ни рыжей шевелюры, ни пристрастия к польским народным песням. А все от зависти! Дынька был вундеркинд, только это помогло ему поступить в гимназию и в университет, поскольку его бедная семья помочь ему ничем не могла. Вдобавок к способностям и трудолюбию этот мальчик имел нежное и доброе сердце. Гильдт не сомневался, что именно благодаря отзывчивому сердцу он внял проповеди социализма и стал первым в кругу сторонников Гильдта еще до отъезда его в Россию.

Мендельсона Гильдт знал дольше, чем Дыньку, видел еще мальчиком в синагоге, где Гильдт-старший, богатый домовладелец, и отец Мендельсона, крупный торговец, имели места рядом друг с другом. Несмотря на это, со Станиславом отношения были далеко не столь сердечны: Гильдт недолюбливал его язвительную насмешливость, Дынька же был от нее в восторге и многократно убеждал Казимежа, что тот несправедлив к Меню, как называли его в университете.

Вот и сейчас, здороваясь с Гильдтом, Мендельсон не просто приподнял котелок, а снял его и положил на локоть, изобразив на лице почтительную мину. Гильдту почудилась насмешка.

Он понимал, что в Варшаве дело идет к созданию кружка, практически он уже создан. Может быть, возникнет и не один кружок, лиха беда начало, как говорят рус-

ские. Но пока не будем мечтать о многом, достаточно одного кружка социалистов. Кто будет его возглавлять? Этот вопрос мучил Гильдта, когда он ехал из Одессы в Варшаву. Дело тут не в форме, а именно в содержании — кто будет лидировать среди этих молодых студентов, почти мальчиков? Казимеж отчетливо понимал, что эта роль ему не под силу, несмотря на старшинство, опытность и знакомство с западноевропейскими и русскими социальными идеями. Он — книжник, непрактичный теоретик, а здесь нужен решительный и смелый организатор. Дикштейн еще меньше подходил для этой роли, благодаря своей застенчивости и заиканию, которое иногда совершенно лишало Дыньку способности говорить. Юзеф Плавиньский?.. По своему уму, развитию и темпераменту он вполне мог бы занять место лидера, но Юзеф только что отошел от «патриотического» кружка Прушиньского. Еще год назад, как рассказывал тот же Казик Длуский, Юзеф был ярым защитником националистических идей.

Оставался Мендельсон. Что ж, придется отринуть личные симпатии и антипатии. У Станислава хваткий ум, несомненные способности полемиста, склонность к лидерству и, что немаловажно, необычайная солидность для его неполных двадцати лет: грузноватая фигура, мясистое лицо с усами... Отчасти напоминает, правда, городового, но это уж — результат личной фантазии, сознайся, Казимеж!..

После первых бурных приветствий и обмена незначащими новостями наступила, как водится, минута неловкого затишья. Выручил Болеслав Мондшайн, подоспевший к пристани с противоположной стороны, нежели Гильдт; он объяснил, что заплутался в саду — Варшаву знает плохо. Мондшайн обменялся со всеми сдержанным рукопожатием.

Гильдт впервые видел Болеслава. Был тот крепок на вид, с большой головою, смуглокож, с черной бородкой.

Чуть суженные глаза делали его похожим на татарина. Гильдт отметил сдержанность и немногословие Мендпайна, а также возраст — он был, вероятно, почти ему ровесник, то есть постарше остальных студентов. Вот и разрешение вопроса, подумал Гильдт, уже заставляя себя симпатизировать пришедшему товарищу и отмечать все его положительные черточки вплоть до отказа от курения, когда Станислав предложил тонкие сигары фабрики Полячкевича. Гильдт невольно ужаснулся: каждая сигарка стоила полтинник — этой суммы кандидату прав хватало на два дня жизни, впрочем, предельно скромной.

— Ну, а где же господа пролетарии? — вопросил Мендельсон, закуривая и вынимая из жилетного кармана часы.

И словно в ответ на его вопрос из прибрежных кустов вынырнули три фигуры: две мужских, одетые под стать ремесленникам, и одна женская — в элегантном шерстяном платье и темной соломенной шляпке. Женщина была на вид старше молодых людей, которых она держала под руки.

— Людвик, сюда! — закричала Маня.

— Пани Филипина! — зардевшись, позвал Дыпька, как ни странно, не заикнувшись, как обычно, на слове «пани».

Они подошли улыбаясь. Тот, что был слева от пани, нес в свободной руке наполненную чем-то сумку. У него было грубоватое скуластое лицо и маленькие колючие глаза. Второй был высокого роста, русоволосый, с молодой бородкой, еще торчащей клочьями, и впалой грудью. Его серые красивые глаза смотрели спокойно и доброжелательно. Двигался он свободно, чуть-чуть размашисто, но при том артистично.

— Пани Филипина Пласковицкая! Пан Людвик Кобыляньский! Пан Людвик Варыньский! — представил их Гильдту Мендельсон. Казимеж подумал, что все правиль-

но — Станислав берет в свои руки бразды правления сходкой.

Рукопожатие Кобыляньского было жестким и сильным, Варыньского — расслабленным. Гильдт попытался поцеловать руку пани Филипине, но она мягко воспротивилась.

— Пшепрашам пана, мы ведь не на светском приеме?..

Гильдт смутился. Варыньский между тем осмотрелся, прищурив глаза, по чему Гильдт определил, что он близорук, и предложил:

— Займемся делом, проше паньства. У нас мало времени.

— Что вы предлагаете? — спросил Мендельсон, вскинув голову.

— Сейчас увидите,— Варыньский неожиданно широко улыбнулся и принял таинственный вид. «Да он совсем мальчишка!» — подумал Гильдт с досадою и радостью одновременно.

Варыньский кивнул головою в сторону леска, и вся компания во главе с обоими Людвиками и пани Филипиной покинула берег возле пристани и углубилась в парк — впрочем, совсем недалеко,— под сень деревьев, где тут и там, прямо на траве, расположились группки отдыхающих ремесленников и рабочих с нехитрой закуской и бутылками пива. Варыньский выбрал свободное местечко, откуда хорошо был виден берег, и указал второму Людвику:

— Здесь.

Тот молча раскрыл сумку, в которой оказались пачка газет, бутерброды и бутылки сельтерской. Пани Филипина помогла Кобыляньскому расстелить газеты на изрядно примятой гуляющими траве.

— Прошу вас, господа,— указала она рукою на газеты.

Студенты нерешительно мялись возле бутербродов. Тогда Варыньский первым присел на траву и взялся за

бутылку сельтерской. Гильдт последовал его примеру. Женщины опустились на траву, подстелив под платья газеты, то же сделали Мендельсон и Мондшайн. Остальные, похоже, не дорожили костюмами.

Через несколько секунд компания не отличалась по виду от обычного пикника, каких в Александровском парке в этот дневной воскресный час было множество.

Но если бы кто-нибудь прислушался к негромкому разговору за сельтерской с бутербродами, то был бы, вероятно, удивлен не на шутку. Здесь разговаривали не о расценках и плате за жилье, не о качествах пива, не о новых модных мужских костюмах в магазине Станислава Бялохубки, а совсем о других вещах, которые показались бы обывателю скорее скучными, чем опасными.

Поначалу разговор плавал от темы к теме, как бы нащупывая нить, ибо слишком много было вопросов, а доверия друг к другу — еще мало. Оно устанавливалось ощупью — улыбками, взглядами, шутками... Гильдт был доволен. Он чувствовал себя патриархом, творцом этого возникающего сообщества, о котором мечтал еще лет восемь назад, когда, будучи гимназистом, пытался на свой страх и риск пропагандировать среди рабочих. Ничего у него не вышло, как и позже в университете, где к его речам прислушивались, но все же считали чудаком «не от мира сего». Нет, не творцом — пожалуй, тут он хватил через край, но пророком — уж точно. Рождение польского социализма он предрекал еще три года назад, когда русские народники пошли по деревням и весям; ради ускорения этого рождения он и поехал в Одессу, к русским.

— Пан Гильдт приехал из России? — спросил Варыньский.— Может быть, пан расскажет нам о русских делах?

— Но вы сами, если не ошибаюсь, из России? — спросил в свою очередь Казимеж.

— Почти два года прошло, как я покинул Петербург,

а события сейчас развиваются необыкновенно быстро,— возразил Варыньский.

— Так ли важно нам знать о русских событиях? — заметил Мендельсон.— Я полагаю, что мы должны избрать собственный путь.

— Всенепременно! — воскликнул Варыньский, всем телом оборачиваясь к Мендельсону.— И все же согласитесь, государственная власть у нас одна, а русские товарищи, насколько я знаю, все больше и больше думают о политической борьбе!

Гильдт поежился при этих словах. Да, он почувствовал эту тенденцию еще в Одессе, когда познакомился с Валерьяном Осинским. Вот кто мог бы возглавить Варшавскую организацию! Отчаянно смелый, дерзкий, красивый, черт побери! Но он полностью в русских делах. «Пока вы в Варшаве создадите первый кружок и будете конспектировать Лассаля, мы в России возьмем государственную власть!» Гильдт спросил его — как? На это Валерьян расхохотался и сделал вид, будто стреляет из пистолета. Неужто русские пойдут по пути вооруженной борьбы? Но это же нонсенс! Представить себе горстку социалистов, пусть и вооруженных, против русской армии и полиции?! Нет, путь к социализму лежит через долгую пропаганду в народе, Лавров прав.

Поэтому, рассказывая о встречах в Одессе, Гильдт не упомянул об Осинском и его последователях, зато рассказал о сходках «Южнороссийского союза рабочих» и о процессе над его членами. Он видел, как нетерпеливо зашевелился Мендельсон на своей газете. Сидевшая рядом с ним Маня кинула на Станислава обеспокоенный взгляд. Варыньский же, напротив, жадно внимал рассказу, кивая утвердительно, будто одобрял организацию русских товарищей.

— Нам надо тоже поднимать рабочих! — воскликнул он, едва Гильдт закончил.

— Позвольте не согласиться с паном! — подхватил тонким голосом Мендельсон.— У нас университетские студенты еще не все понимают преимущества социализма. Далеко не все! Не лучше ли идти к ним?

— Социализм — для народа,— возразил Варыньский.

— А студенты — не народ? — язвительно заметил Мендельсон.— Я не возражаю против участия рабочих, но потом! Пока же они — пассивная воспринимающая наше слово масса!

Кобыляньский недобро ухмыльнулся, бросив быстрый неприязненный взгляд на Мендельсона.

В мгновенье ока заговорили все разом, кроме, пожалуй, пани Филипины и Мондшайна. Маня кричала что-то несусветное, покраснела, ее медно-красные волосы растрепались. Гильдт любовался ею тайком, как вдруг заметил обмен взглядами между нею и Мендельсоном: восторженно-призывный у Мани в ответ на удачную реплику Мендельсона, и горделиво-холодный — у него. Взгляд хозяина. Гильдта словно холодом окатило.

Он попытался вернуться к стержню спора, но не получилось. Варыньский, Кобыляньский и братья Плавиньские, что было неожиданно для Гильдта, склонялись к тому, что следует не только пропагандировать среди рабочих, но и создавать из них социалистические кружки; Мендельсон отстаивал чисто интеллигентскую организацию с предпочтением теоретической научной работы; Дикштейн, как всегда, занимал половинчатую позицию, не желая обижать никого из друзей, Гильдт тоже попытался примирить стороны, отдавая предпочтение Мендельсону.

— Что дала ваша пропаганда среди рабочих на заводе? — спросил он Варыньского.

Тот замолк, опустив голову.

— Ничего не дала,— признался он.— В одиночку их не убедишь. Вот,— он кивнул в сторону Кобыляньского,—

Людвик и его брат Казик меня поддерживают. Но это не моя заслуга, а их старшего брата Эразма — Мондшайн его знает, мы вместе ходили в кружок Венцковского в Петербурге...

— И неудивительно, что рабочие не идут за господином Варыньским,— произнес вдруг по-русски Мендельсон.

Он выговорил фразу правильно, но с польским акцептом, и все сразу поняли — что он хотел этим сказать. В польской речи Варыньского, точно так же как в русской речи Мендельсона, ощущался легкий акцент. Рабочие просто-напросто видели в Варыньском чужака, «москаля». Вот вам и причина!

Варыньский тоже понял это, побледнел. Наступило общее молчание.

— Легче исправить неправильное произношение, чем мировоззрение,— сказал он тихо.

— Браво,— одобрил Гильдт.

— Панове, о чем вы спорите? — вступила пани Филипина.— Каждый должен делать то, что ему лучше удается. Тот, кто может убедить рабочих, пусть идет к ним. Другой пусть работает со студентами. Мне же больше нравится учить крестьянских детей и вести пропаганду на селе. Важно, чтобы споры не подорвали нашего единства. Мы, поляки, ужасно самолюбивы,— при этом пани Филипина бросила быстрый взгляд на Варыньского,— это стоило нам несчастий в прошлом. Давайте друг другу помогать и не считать себя единственно правым...

— Пани Филипина, как это верно! Я п-преклоняюсь перед вами! — порывисто воскликнул Дикштейн, сильно заикаясь.

Он прижал обе руки к сердцу, его голубые глаза широко распахнулись, рыжие волосы встали дыбом, как у клоуна... Это было так смешно, что все разразились хохотом. Дынька сник и чуть не заплакал. Варыньский обнял его за плечи.

— Не горюй,— сказал он по-русски и тут же подчеркнуто галантно продолжал по-польски: — Проше паньства до Вислы!

— Что такое? Зачем? — не понял Мендельсон, но Варыньский уже стягивал через голову рубашку мастерового, собираясь купаться.

Через минуту он и Кобыляньский мчались к воде. За ними последовали братья Плавиньские. С криком и гиканьем бородатые братья вбежали в воду, поднимая брызги, и разом рухнули в волны Вислы. Мендельсон не спеша снял котелок, разделся и с достоинством вошел в холодную воду. Дикштейн, Мондшайн и женщины остались на берегу.

Гильдт смотрел на резвящихся в воде молодых товарищей и думал, что ему уже не стряхнуть с души усталость, не забыться в игре, не вернуть мальчишество — точит проклятая болезнь...

Ватага купальщиков высыпала на берег, отряхиваясь. Разногласия были забыты, по рукам пошло широкое пушистое полотенце, предусмотрительно оказавшееся в сумке Кобыляньского.

Он вытерся первым, подбежал к своей одежде, сложенной под кустом, принялся натягивать брюки. И тут из кармана выпал револьвер. Это был пятиствольный увесистый «бульдог», названный так, вероятно, благодаря своему тупому рыльцу. Револьвер упал на песок; почему-то все это заметили, оборотившись к Кобыляньскому и притихнув. Кобыляньский поднял револьвер, подбросил его на ладони, ухмыльнулся.

— Испугались? — спросил он с вызовом.

— Зачем у вас... это? — спросил побелевшими губами Дикштейн.

— Пригодится, пан студент,— осклабился Кобыляньский.— Чует мое сердце, что одними разговорами дело не обойдется. Придется малость и пострелять.

Дискуссия продолжалась, но уже не так живо, как прежде. Увесистый «бульдог» давил неразрешенным вопросом: зачем? Неужто они затевают кровавое дело? Не может быть! Имеется в виду исключительно мирная пропаганда. Правда, за нее русские народники вот уже три года сидят в тюрьме без суда. Но кровь еще не пролилась...

Сравнительно скоро, но без воодушевления, решили частный вопрос: выступить на собрании студентов университета с предложением издать труды Маркса, употребив для этого фонд в четыреста рублей, собранный пожертвованиями.

Варыньский, казалось, потерял интерес к беседе. Он сидел в стороне, поигрывая травинкой. Как вдруг вскочил на ноги, обратившись к собранию с возбужденной речью:

— Я вижу, вы не хотите решить главный вопрос о пропаганде среди рабочих! Тогда я буду один. Мы должны создать рабочую организацию!

— Ого, куда вы хватили...— протянул Мондшайн.— Сразу — организацию...

— Какую же? — вкрадчиво спросил Мендельсон.

— Еще не знаю. Но я думаю об этом! Думаю! — Варыньский стукнул себя костяшками пальцев по лбу, поморщился — получилось больно.

— Рабочие еще не созрели. Они не знают основ, а уже хватаются за оружие,— кивнул в сторону Кобыляньского Мендельсон.

Кобыляньский неожиданно расхохотался.

— Я слесарь, понятно? Мне дали починить револьвер. Он неисправен, вот и все! Я вас пугал!

— Правдоподобно пугали, надо заметить,— наклонил голову Мондшайн.

— Значит, будем ждать, когда рабочие сами к нам придут? — не унимался Варыньский.

«А он мог бы стать лидером...— подумал Гильдт.— Железная хватка. Но слишком прямолинеен и... очень уж похож на русских народников».

— Я решила овладевать ремеслами,— подала голос Маня Ге.

— Я поступлю в обучение к портному, если хотите,— пожал плечами Мендельсон.

— А я? — растерянно произнес Дынька.

Все опять рассмеялись.

Юзеф Плавиньский шагнул к Варыньскому, протянул ему руку.

— Я согласен помогать вам. Говорите, что делать.

Вот и первые плоды, подумал Гильдт. А ведь Юзеф — не какой-нибудь простак, образованием он явно выше Варыньского. Другим же мешает подчиниться самолюбие, особенно Мендельсону. Гильдт сам бы повторил жест Плавиньского, но знал, что среди рабочих вести пропаганду не умеет, нет у него дара убедительности, столь присущего молодому человеку, приехавшему из Малороссии.

Расходились поодиночке и парами, когда длинные тени деревьев улеглись в аллеях Александровского парка. Братья Плавиньские, обменявшись адресами с Варыньским, ушли первыми, Мондшайн вызвался проводить пани Филипину до гостиницы «Августовской». Гильдт предложил Мане прогуляться.

— Нет, возьмем дрожки,— сказала она решительно.

Гильдт замялся. У него не было денег.

— Я заплачу,— сказала она.

Он понял, что Маня стесняется идти с ним по городу. Ему сделалось горько от этой мысли, но выхода не было — надо терпеть. Он не мог сердиться на Маню.

В одноконных дешевых дрожках с открытым верхом Маня увлеченно рассказывала о переплетной мастерской, посредством которой надеялась хоть как-то высвободить-

ся из-под опеки родителей. Гильдт слушал ее, стараясь сосредоточиться, но не мог: медно-красные волосы Мани касались его щеки с каждым порывом ветра; рыжее платье горело костром — Гильдт почти терял сознание. Это сильнее всего на свете, думал он, сильнее идей, сильнее социальной революции — но почему, почему, бог мой?..

Постскриптум

Ему не суждено будет испытать счастье с Маней Ге, хотя она и примет его фамилию в январе следующего года, сочетавшись с Гильдтом фиктивным браком.

Он нарушит условия этого брака, обеспамятев от любви, а Маня предаст огласке его поступок. Перед ссылкой в Сибирь она с разрешения властей станет женою Мондшайна и вместе с ним пойдет по этапу.

Умрет Маня Гильдт-Мондшайн в Енисейске в 1882 году.

Сам же Гильдт умрет от чахотки в Швейцарии в 1879 году и будет похоронен на кладбище Каруж.

Глава третья.
ЮЗЕФ

Апрель 1878 года

«Полгода не вел дневник. Странно даже: произошло столько важнейших событий, а я не раскрывал тетрадку. Занятостью трудно объяснить; скорее, к этому привело нежелание видеть старые записи, свидетельствующие о мучительных поисках истины. Теперь я определился, и определился прочно, хотя выбор мой, кажется, не сулит легкой жизни...

Да, я патриот, я больше жизни люблю Польшу и ее свободу, но надо смотреть правде в глаза. Польши более

не существует — и не только потому, что она потеряла государственную самостоятельность. Ее не существует, потому что одни поляки угнетают других, выжимают из них последние соки, обманывают, притесняют и калечат.

Социализм для нас было запретное слово. Нам, раздавленным многолетним чужеземным игом, казалось кощунственным стравливать поляков с поляками. Пускай русские социалисты бунтуют крестьян против своих же помещиков, пускай немецкие социал-демократы нападают на своих буржуа — мы же должны сплачиваться вокруг национальной идеи. Слишком много бед принесла нам рознь. Хотелось собрать по крохам все силы, сжать их в кулак, чтобы противостоять национальному угнетению. Вопрос решался только так: либо патриотизм, либо социализм. И мы продолжали сеять зерна примирения между поляками, пока жизнь не открыла нам глаза.

Два года назад я стал часто бывать в рабочих семьях по делам «Общества национального просвещения», организованного Прушиньским. Я просвещал, но и меня просвещали. Трудно представить, с какой нищетой я столкнулся! Каждый вечер я ходил на Прагу с чемоданчиком книжек и каждый вечер ловил себя на том, что иду, в сущности, с пустыми руками к голодным. Оттого еще пуще себя подхлестывал в борьбе за идею. А она уже подтачивалась, когда я пересекал Вислу и углублялся в бедные темные кварталы. Она шаталась и скрипела, когда я спускался в подвалы, где жили по восемь человек в одной комнате. Как мне было говорить о национальном самосознании? О патриотизме? О боге... Но я говорил.

Однажды видел душераздирающую сцену. Пришел домой к слесарю Генрыку Седлецкому. Пятеро детей, мать. Все за столом. Дети веселые, едят мясо. Это так необычно было в доме, где всегда пахло дешевой похлебкой да кислой капустой, что я возликовал внутренне. Поверил, что нужда ушла из этой семьи. Не приметил поначалу, что

жена Седлецкого как-то по-особому неподвижна, да у старшей дочери Франи глаза на мокром месте. Я поздоровался, пожелал приятного аппетита, потом поинтересовался, не праздник ли какой семейный? Пани Седлецкая кивнула: «Праздник, пан Плавиньский. Пособие на фабрике получила. Сорок восемь рублей. За мужа. Его вчера машиной убило».

А детки едят. И слышат, вроде, и даже понимают некоторые, но есть так хотят, что не доходит до их сознания — последний пир у них, великая тризна, а завтра пойдут по миру...

Слесарь тот работал на мостостроительном заводе Островского и Карского, польских промышленников, братьев по крови, как я предпочитал их называть. Потом уже, гораздо позже, понял я: братство по крови возможно только, если кровь пролита за одно дело. Фабрикант Островский и слесарь Седлецкий не были братьями и никогда не будут. Но тогда я еще за эту идею держался: мечталось, что и в своем доме порядок наведем, когда отъединимся от России, Пруссии и Австро-Венгрии. И что удивительно — чем больше жизнь тыкала меня носом в социальные неустройства, тем больше я цеплялся за патриотическую идею. Будто назло. Так продолжалось год.

Была годовщина смерти Мицкевича. Собрались мы в «Доме под звонницей», на Краковском Предместье. Бурное собрание, на котором присутствуют наши «русские» коллеги — Длуский и Родзевич из Одессы. Задают нам прямой вопрос: долго ли вы, господа, намерены не замечать того, что творится в России, в Германии, во всем цивилизованном мире? Долго ли вы намерены носиться с великопольской идеей, не желая видеть, что она мертва? Долго ли еще стучаться в ваши головы идее социального переустройства?

Казимеж Длуский умно говорил. Силы в его речах меньше, чем у Варыньского, но в уме ему не откажешь.

И тут я сорвался. Совершенно неожиданно для себя выскочил на середину и, глядя в ослепительно белый воротничок сорочки Длуского, крикнул: «Каждый поляк-социалист — это изменник!» Пелена застила мне глаза, я упал в обморок, как институтка. Вспоминаю иронически-соболезнующую улыбку Длуского, когда меня привели в чувство. «Пан Плавиньский имеет еще что-нибудь сообщить по затронутому вопросу?» Но я уже ничего не хотел сообщить. Мне было непереносимо стыдно.

Эта истерика была последнею моею попыткой защитить для себя рухнувшую идею. Знал уже, и прекрасно знал, что она несостоятельна — с той минуты, как увидел детские ручонки, рвущие кусок вареного мяса,— а все же самолюбие не давало признать своего поражения. На следующее утро, проснувшись совершенно разбитым, подумал о самоубийстве. В старую идею я уже не верил, то есть не то что перестал быть патриотом отечества, но увидел настоятельную необходимость социальной борьбы, однако новую эту идею публично предал анафеме. Как теперь быть?

Спас меня Варыньский. Я вдруг увидел простой и ясный выход: надо идти к рабочим, но уже с другой идеей. Не с проповедью христианского всепрощения и национального единства, а с экономическим учением Маркса, с революционным учением Бакунина, с пропагандой Лаврова. Последнего я, правда, еще не читал, но пани Пласковицкая ему отдает первенство перед Бакуниным.

После той сходки в Александровском парке я воспрянул духом, стал готовиться к работе, но, увы, не все так просто.

До рождества Христова у нас царило относительное затишье. Мы изредка встречались на квартире Мендельсона, обменивались мнениями относительно прочитанного, хвастались успехами в переводах. Много переводил Гильдт; Шимон почти не отставал от него, да и мне уда-

лось кое-что сделать. Вслед за Гильдтом приехал из Одессы Длуский, но Казь, как известно, больше говорит. От наших сборищ никому не было ни жарко ни холодно. Рабочую массу мы не задевали, и все потому, что с нами не было Варыньского. Еще в октябре он уехал в Пулавы и там поступил в сельскохозяйственный институт, чтобы избежать призыва на военную службу. Пулавы — свет недальний, и все же Варыньский нужен был каждодневно, а не наездами, как он делал. Он и там не сидел сложа руки, сколотил кружок студентов, но сам же отзывался о нем с убийственной определенностью: «Кружок умственно ленивых провинциалов».

Пани Пласковицкая появлялась в Варшаве еще реже, первый раз после лета я увидел ее на рождественские каникулы. Была она замкнута и, похоже, подавлена чем-то.

Варыньский на рождество уехал к родителям на Украину. Уже в январе он был во Львове, и тут начались бурные события.

Как-то ко мне зашел Казь Длуский и говорит: «А знаешь ли ты, что наш шляхетный пролетарий (так он зовет Варыньского) приехал во Львов не один, а с дамой?» Длуский, надо сказать, отличается склонностью к пикантным слухам, иной раз и соврет для красного словца. Я не считаю себя вправе обсуждать чужую личную жизнь, потому ответил Длускому, что не хочу об этом слышать. «Нет, ты неправильно меня понял,— тонко улыбнулся он.— Людвик и дама путешествуют вместе для конспирации. И отдельный номер в гостинице они тоже взяли для конспирации. Им нужно, чтобы про них думали, что они муж и жена. Но это исключительно для конспирации!» — И Казь язвительно рассмеялся.

«Откуда ты знаешь это?» — хмуро спросил я его.

«Известно от Лимановского. Они заходили к нему в гости, старик до сих пор потрясен вольностью нравов

нынешней молодежи. А еще социалисты! — так он кричит теперь на каждом углу. Кстати, эта дама — Марья Янковская».

«Ну и что?»

«А то, что она много старше, а главное — в некотором роде замужем, как писал Гоголь. У нее двое сыновей».

Я пожал плечами, показывая, что мне нет до этого дела.

Позже, конечно, выяснилось, что Длуский, как всегда, увидел амуры там, где их нет. Варыньский и пани Янковская действительно приезжали во Львов по подложному паспорту как муж и жена Яблоновские, но вовсе не для того, чтобы уединиться от посторонних глаз. Иначе зачем бы они нанесли визит Лимановскому? Варыньский договаривался со стариком относительно печатания во Львове переводимых нами брошюр. Лимановский, кажется, сослался на плохое качество переводов: мол, присланную два года назад брошюру Лассаля «Программа работников» ему пришлось переводить заново. (Гильдт был очень уязвлен этим сообщением.) В результате договорились, что Лимановский, кроме Лассаля, дает марксов «Капитал» и «Жизнь Ярослава Домбровского», написанную Рожаловским, а от себя прибавляет биографию Валерия Врублевского. Под конец разговора Варыньский не удержался и все-таки повздорил со стариком на национальной почве. Лимановский большой националист, даром что взывает к социализму.

Пока Варыньский вел переговоры в Галиции, здесь у нас свершился странный обряд бракосочетания Гильдта с Маней Ге. То, что Гильдт безумно в нее влюблен — ни для кого не секрет. Но также хорошо известно, что Маня его не любит. Кажется, она влюблена в Мендельсона, но не буду повторять слухов. Всякому разумному человеку ясно, что фиктивный брак в такой ситуации чреват сложностями. Они и случились.

Едва отгремела брачная церемония, устроенная для родителей Мани, которые не подозревали об истинных намерениях дочери, желавшей всего-навсего уйти из дома под благовидным предлогом, как Гильдт уехал в Лейпциг. Там ныне стажируется Станислав Варыньский, младший брат Людвика. Он помог Гильдту отпечатать наши переводы, которые забраковал Лимановский. С этими брошюрками в двух мешках Гильдт направился во Львов. Было это уже в феврале. Там же оказался Мендельсон, который жаждал, судя по всему, совершить какую-нибудь заметную акцию. Случай был подходящий: целый транспорт необходимейшей для пропаганды литературы! Два мешка из Лейпцига и три коробки материалов Лимановского, обещанных Варыньскому.

Наши друзья благополучно довезли их до Вроцлава. Но как перевезти их в Королевство?

В дело вступает Варыньский. Он успел уже возвратиться из отпуска и снова приступил к занятиям в Пулавах. Но, видя такое дело, Варыньский срывается с места и оказывается во Вроцлаве. Не знаю, что он там сделал — и как, учитывая, что Людвик не знает немецкого языка! — но через две недели все брошюры были в Варшаве. Их рвали из рук в руки, имя Людвика было на устах у всех!

Думаю, что этот неуспех Мендельсона, обернувшийся успехом Варыньского, окончательно ответил на вопрос — кто истинный руководитель и вдохновитель Варшавской организации социалистов.

Варыньский порвал с сельскохозяйственным институтом и осел в Варшаве под именем слесаря Яна Буха. Особенной необходимости, честно говоря, переходить на нелегальное положение не было, но я уже немного разгадал Варыньского. Он азартен, ему нужна конспирация, она его вдохновляет, как актера вдохновляет неповторимый запах кулис. Варыньский совместно с Людвиком

Кобыляньским и Яном Томашевским (тоже рабочим) снял квартиру на Маршалковской и завел небольшую слесарную мастерскую во дворе того же дома.

Уже в середине марта он пригласил меня на сходку рабочих. Она происходила в той же квартире. Помнится, я оробел, увидев десятка полтора фабричных людей. Вероятно, дала себя знать инстинктивная классовая боязнь народа, присущая почти всем интеллигентам, как бы они ни клялись в любви к нему. Я заметил, что Варыньский начисто лишен этого страха, потому рабочие видят в нем «своего». Но почему, почему так? Не потому же, что он умеет держать в руках напильник? Казь Длуский практиковался в кузнице, чтобы стать ближе к народу, научился подковывать лошадей, но к рабочим не приблизился ни на вершок! Дело не в этом.

Надо любить их и сострадать, только и всего.

Боже, научи меня любви к простому народу, я так желаю, чтобы избранная мною дорога был искренна!

На сходке Людвик предложил организовать общую кассу для помощи рабочим, участвующим в забастовках. «Касса сопротивления» — так он ее назвал. Действенно и энергично. Он мне потом сказал, что нечто похожее увидел во время поездки в Пруссию у немецких рабочих. Принцип прост до предела: рабочие избирают кассира и вносят по пятаку в месяц, накапливая стачечный фонд. Имея его, рабочим легче решиться на забастовку. Кассиры исполняют функции старосты кружка, оповещая о сходках. На моих глазах первым кассиром избрали брата Людвика Кобыляньского — Казимежа. Я тоже положил свой пятак в жестяную коробку из-под монпансье.

А дальше произошло настоящее чудо! За каких-нибудь две-три недели Варыньский сумел организовать не менее десятка рабочих «касс сопротивления»! Удивительно удачно все сошлось и совпало: доставка Варыньским транспорта литературы, его переезд в Варшаву и даже

известие из Петербурга об оправдании присяжными Веры Засулич! В воздухе повеяло весной. Каштаны на Краковском Предместье опушились первыми проклюнувшимися из почек листками. Мы поверили в возможность перемен.

Студенты, которые еще осенью и зимой проводили вечера в бесплодных дискуссиях о преимуществах социализма и прибавочной стоимости в прокуренных комнатах, теперь деловито снуют по Варшаве с чемоданчиками брошюрок. Мы словно спустились с небес на землю. Теперь в тех же прокуренных комнатах мы говорим о конкретном: о штрафах, расценках, продолжительности рабочего дня. Мы разбираем реальные случаи с живыми Япами и Тадеушами. Это политэкономия в действии! «Кассы сопротивления» сами собой превращаются в пропагандистские кружки.

Я не понимаю, как Варыньский успевает всюду. Но он — душа и заводила всех кружков.

Прошлым летом я побывал в китайском цирке, который приехал в Варшаву и раскинул свой шатер на Мокотове, за Иерусалимскими бараками. Там был восхитительный жонглер. Он укреплял вертикально двенадцать бамбуковых палочек и на конце каждой из них раскручивал фарфоровое блюдце. Когда он разгонял последнее, первое уже начинало угрожающе вихляться, намереваясь упасть. Он бросался к нему и сообщал блюдечку новую порцию вращения, потом переходил к следующему и так далее... Казалось невозможным успеть ко всем сразу, но он не уронил ни единого!

Людвик напоминает мне того китайского жонглера. Он вдыхает энергию в кружок-кассу и спешит к следующей, а мы по мере сил поддерживаем коловращение кружка. Когда же энергия наша иссякает, как по мановению волшебной палочки появляется Варыньский и придает нам новые силы. Вопрос: где он берет их сам?

И чем быстрее крутятся наши тарелочки, тем уверен-

нее смотрит в будущее Людвик. Он действительно верит, что через два года рабочие совершат социальную революцию. Год он дает на знакомство рабочих с социализмом под нашим руководством. Еще год — на стачечную борьбу, которая завершится всеобщей забастовкой трудящихся и переходом власти в их руки.

Убедительно? Несомненно! Во всяком случае, я не вижу принципиальных препятствий к осуществлению его программы.

Оправдательный приговор по делу Засулич окрылил Варыньского. «Общественная совесть пробудилась! Посмотри: был жестокий приговор по делу «ста девяноста трех», в январе Засулич стреляла в Трепова, а уже в марте она оправдана! Мы катимся к революции. Достаточно малейшей искры, чтобы все взлетело на воздух!»

Он не устает говорить это или подобное по утрам, когда я захожу к нему в мастерскую, а он в рабочем фартуке и кожаной фуражке стоит с напильником над зажатой в тисках железкой и, кроша на пол железные опилки, энергично рассуждает о революции. До полудня он работает в мастерской, а потом до полуночи меряет варшавские улицы своими широкими шагами.

Нам недостает людей. Счет рабочих в «кассах» перевалил уже за сотню, а студенческий кружок насчитывает единицы. Да и эти силы тают. Сначала мы лишились Гильдта и Мендельсона, теперь уехал Дикштейн, под угрозой Длуский.

Дикштейн перебрался в Галицию, как только начались аресты «патриотов». Жандармы наконец добрались до организации Шиманьского. Я говорил Адаму год назад, что его игры не кончатся добром. У него пылкое воображение, которое заставило его создать на бумаге план могущественной организации, насчитывающей сотни людей и обладающей сложной структурой. Реально в его кружок входили несколько человек — все они сейчас аре-

стованы. Жандармы поверили записям Шиманьского, они в самом деле вообразили, что такая организация существует, и принялись ее искать! Мы серьезно опасаемся, как бы не добрались до нас, ибо многие из нашего кружка прежде примыкали к «патриотам», да и дискуссий с ними в университете вели порядочно. Дикштейна напугало анонимное письмо, полученное в начале апреля: «Если нас возьмут, социалисты последуют за нами». Бедный Дынька ходил по друзьям и говорил: «Я ужасно боюсь! Если меня возьмут, я всех выдам из страха...» Я очень опасался, как бы Варыньский не обрушил на него свой гнев — в гневе он страшен, я один раз имел несчастье наблюдать! Однако Людвик отнесся к страхам Шимона вполне благодушно, посоветовал только поскорее уехать из Варшавы, пока пройдет волна арестов. Дынь последовал его совету и уехал в Краков. Я спросил Людвика, почему он так снисходителен? Уверен, что, будь я на месте Дыня, он устроил бы мне выволочку или вообще перестал бы доверять. «Видишь ли, Юзеф, Дынька наивен и искренен. Он никогда не выдаст, я уверен, но боязнь измены — страшнее ее. Если его арестуют, он может покончить с собой, боясь выдать товарищей. Любой же из нас либо выдаст, либо нет, но рук на себя не наложит».

Как бы там ни было, работников не хватает. Я решил остаться — будь что будет, хотя арестованные Ян Поплавский, Юзеф Богуцкий и сам Адам Шиманьский слишком хорошо знают историю моего «предательства», как они называли мой отход к социализму. Что ж, если им захочется отомстить, они сумеют это сделать! Положимся на волю божью!

Варыньский оптимистичен, он не верит, что правительство решится на новые аресты социалистов. «Патриоты» — это понятно. Польские восстания слишком хорошо помнятся. Но социалисты с их мирной пропагандой?» — «А Засулич?» — спросил я. «Ну, это единичный случай

личной мести революционерки за надругательство над заключенным».— «Мне что-то не верится, что ты долго останешься в рамках мирной пропаганды»,— напрямик заявил я ему. Он рассмеялся, очень довольный, и по своей привычке стиснул меня в железных объятьях. На вид он не производит могучего впечатления, но хватка у него крепкая. «Жилистый», как говорят русские.

Наши планы и мечты не знают границ. Близится лето. Людвик ждет помощи из Империи. Он убежден, что каждый поляк-социалист, где бы он ни находился, должен быть сейчас в Варшаве. «Здесь решается судьба Польши, а может быть, всей Российской империи!» Он называет фамилии видных молодых социалистов из Петербурга, Москвы, Киева: Уэмбло, Венцковский, Гласко, Дзянковский, сестры Гружевские... Очень сожалеет, что в марте, после покушения Осинского на прокурора Котляревского в Киеве, движение лишилось Владислава Избицкого.

Иной раз он меня совершенно ошарашивает своею дерзостью. «Я назначу тебя министром юстиции в народной Польше!» — заявляет вдруг вчера за верстаком. «А сам ты будешь кем? Диктатором?» — спросил я не без ехидства. «Почему диктатором? — он задумался.— Председателем революционного правительства рабочих!» Дух захватывает от его проектов.

А пока я заканчиваю и спешу на Иерусалимские аллеи, где ждет Болеслав Мондшайн, чтобы обменяться литературой. Кстати, Болеслав — будущий министр народного здравоохранения».

Постскриптум

Плавиньский будет арестован в июле того же года, выпущен под залог в одну тысячу рублей и вновь арестован уже в октябре. В тюрьме он заболеет туберкулезом, из-

за чего ссылка в Восточную Сибирь будет заменена ему высылкой в Кавказский край.

По пути туда он умрет в Новоминске в июле 1880 года.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

Следя за судьбою Варыньского глазами его современников — друзей, попутчиков, недругов, мы сделаем первую остановку, чтобы уточнить объективные и субъективные причины выбора, который сделал Людвик в восемнадцать лет; рассмотреть способы, которыми он намеревался достигнуть поставленной цели на первом этапе пути; определить круг идей, волновавших Варыньского.

Предоставим слово польскому историку Ежи Таргальскому.

«...Большое влияние имели в семье настроения патриотической повстанческой конспирации. Отец Людвика троекратно (в 1865, 1866 и 1867 годах) был арестован за участие в делах Киевского (Польского) комитета помощи повстанцам, в котором выполнял функции кассира. Комитет устанавливал связь с заключенными повстанцами, помогал им в побегах, затруднял властям установление степени вины, что спасало их от кары.

Гимназическую науку в Белой Церкви Людвик Варыньский начал в 1865 или в 1866 годах, то есть именно в те годы, когда отец его подвергался арестам за участие в январском восстании. Белая Церковь насчитывала несколько тысяч жителей, в том числе несколько сотен поляков. Однако среди гимназистов поляки составляли огромное большинство, ибо тогдашняя система просвещения не допускала до гимназии детей украинских крестьян. Основателем гимназии и ее попечителем был граф Владислав Браницкий, который после январского восстания разрешил школьным властям прибегнуть в Белой Церкви, как и повсеместно, к политике русификации.

Царская гимназия была не только антинародна и антидемократична. Ее программы и методы обучения не удовлетворяли потребностей польской молодежи. Потому под покровом официальной системы обучения зародилась сеть законспирированных самообразовательных кружков. В белоцерковской гимназии, в 1867 году, по инициативе студента Киевского университета Ярошевича была заложена тайная ученическая организация патриотического самообразовательного характера. Руководителем ее стал Эдмунд Бжезиньский — товарищ Людвика Варыньского. Среди членов этой организации значился и Людвик Варыньский, продолжавший семейные традиции борьбы с царизмом.

...Восьмого июля 1874 года Людвик Варыньский получил свидетельство об окончании белоцерковской гимназии и встал перед выбором дальнейшей дороги жизни. Поскольку он имел большие способности к техническим наукам, то в августе выехал в Петербург, где было сосредоточено наибольшее количество высших учебных заведений в России.

С 1870 года в высших учебных заведениях России учились тысячи поляков. Причин тому было много. Русификация Варшавского университета и понижение уровня обучения в нем отпугивали польскую молодежь, потому совсем неудивителен был наплыв поляков в высшие школы России — не только из Литвы и Украины, но и из Королевства Польского. В Петербурге и Москве власти не проводили среди польских студентов специальной политики русификации; отношение к полякам у русского студенчества было приязненное.

Петербург и Москва, Киев и Одесса становились местами интенсивной духовной жизни. Сочинения революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Белинского заостряли внимание молодежи на общественно-политических проблемах. В переводах на

русский язык появлялись книги западноевропейских мыслителей, среди них работы Маркса и Энгельса.

В такую атмосферу попал Людвик Варыньский, прибывший осенью 1874 года в Петербург. Поначалу он подал документы в Институт инженеров путей сообщения, но потом изменил намерения и поступил в Технологический. Институт этот отличался, по воспоминаниям современников, ультрадемократическими порядками и настроениями студенчества. Процент польских учащихся был велик — около одной четверти общего состава.

В институте, кроме лекций, большое значение придавалось практическим занятиям на заводах и фабриках. Там Людвик Варыньский знакомился не только с машинами, но и с рабочими, условиями их труда и первыми попытками борьбы за свои права. В 1874—1876 годах в Петербурге произошло более двадцати забастовок и выступлений трудящихся...

Польская молодежь в Петербурге начиная с половины XIX века объединялась в культурные и самообразовательные организации, а в 1869 году начала действовать тайная патриотическая организация, в которую вступили Людвик Варыньский и Эдмунд Бжезиньский. Однако самообразовательно-патриотическая деятельность уже не устраивала польских студентов, которые начинают сближаться с русскими коллегами и вместе с ними заниматься изучением русской революционной литературы и переводами западноевропейских авторов. Уже в апреле 1872 года вышел русский перевод первого тома «Капитала» К. Маркса. В польскую студенческую организацию Петербурга начинают проникать ростки социалистической идеологии. По предложению Бжезиньского члены польского студенческого кружка постановили систематически знакомиться с «нелегальной русской литературой». В конце 1874 года группа польских студентов организует, независимо от патриотического кружка, собственный кру-

жок социалистов. Среди его членов: Александр Венцковский, Болеслав Выслоух, Людвик Варыньский, Эдмунд Бжезиньский, Эразм Кобыляньский — все из Технологического института; Ян Гласко и Болеслав Мондшайн — из Медико-хирургической академии. В то же время первые польские социалистические кружки появляются среди студентов Москвы, Киева и Одессы.

1874—1875 годы стали переломными в жизни Людвика Варыньского. Из патриотически настроенного гимназиста-конспиратора он превратился в революционного студента-социалиста... Перед польскими социалистами, обучавшимися в России, стояла альтернатива: либо непосредственно участвовать в русском революционном движении, либо возвратиться на родину, чтобы начать собственное движение на польской земле. Обе эти возможности были реализованы среди первых польских сторонников социализма. Сторонники участия в русском движении (Игнаций Гриневицкий, Леон Дмоховский, Александр Лукашевич, Антон Падлевский и другие) считали, что поскольку лишь борьба в центре России может привести к падению царизма, то не стоит тратить силы на работу в провинции, среди многочисленных народностей, населяющих империю. Наоборот, кружок, к которому принадлежал Варыньский, считал, что по окончании учения в Петербурге надлежит перенести пламень бунта среди трудящихся масс в сердце Польши — Варшаву.

1876 год, который Людвик Варыньский провел в селе Кривец на Киевщине, позволил ему углубить знания основ социализма, изучить, обдумать и обосновать для себя новую общественную идею. В те же годы домашней учительницей в семье Варыньских, воспитывавшей его младших сестер и брата Казимежа, была Филипина Пласковицкая, происходившая родом из Киева, где жили ее родители. Пласковицкая, последовательная сторонница Лаврова, явилась для Людвика Варыньского не только

наставницей, но и связной с киевским кружком социалистов-поляков...

Главнейшим общественным процессом на польских землях во второй половине прошлого столетия было образование рабочего класса и усиление его общественно-политической роли. Социализм как идея освобождения рабочих проникал в Польшу с двух сторон — из России и из Западной Европы... Идеи Первого Интернационала распространяли среди польского пролетариата польские рабочие, возвращавшиеся из эмиграции, куда они попадали ради заработка, и немецкие ремесленники, приезжавшие в Королевство с той же целью.

...Переехав в Варшаву, Людвик Варыньский до октября 1877 года работал слесарем на фабрике сельскохозяйственных машин Эванса, Лильпопа и Рау. Работа на фабрике не была для Варыньского лишь поводом для завязывания контактов с рабочими. Она стала и источником заработка, ибо в 1877 году его отец обанкротился, семья переехала в деревню Вишенки под Бердичевом и больше не могла материально помогать старшему сыну.

Осенью 1877 года группа социалистов в Варшаве значительно расширилась. Из Одессы прибыли Казимеж Длуский и Казимеж Гильдт, активное участие в делах варшавского кружка стала принимать Филипина Пласковицкая; в кружок вступили новые члены — Максимилиан Гейльперн, Елена Кон, Марья Ге, Вацлав Свенцицкий и другие, так что в октябре кружок насчитывал уже более двадцати человек.

По прибытии в Варшаву Людвика Варыньского из Пулав произошло сближение между кружком интеллигентов и рабочими. На состоявшихся собраниях было решено приступить к созданию «касс сопротивления» — зачатка профессиональных союзов...»

Глава четвертая.
БЕСЯ

Октябрь 1878 года

...Жизнь неожиданно получила освещение, как если бы над нею зажгли газовый фонарь, озаривший не только день сегодняшний, но и часть будущего, в котором чудился ему некий домик с красной кирпичной трубою, а над крыльцом вывеска, вроде как у трактира: «Тайная организация социально-революционных сил». Но почему вывеска, ежели организация — «тайная»? Так воображение нарисовало, а воображению не прикажешь. Во всяком случае, весною этого года произошел перелом, превративший студента технического училища Юзефа Томаша Уэмбло в таинственного Бесядовского — здесь и бесы мерещатся, и беседы...

Тот щербатый землеволец из Ярославля, принявший у него транспорт литературы, который он с огромным трудом доставил из Москвы — прежде всего по причине тяжести,— был, вероятно, осведомитель. Улыбнулся уж больно нехорошо: «Поляк-с? Выходит, в первопрестольной русаков не осталось на такие дела? Шучу, конечно!..» В Москве успели предупредить, чтобы в свои меблирашки не являлся, там уже побывали жандармы. Пришлось с вокзала на вокзал — и в Париж! Не совсем прямо, через Кострому и Могилев, но результатом все-таки был Париж, а в Париже — Петр Лаврович!

Выходит, нет худа без добра. Лавров в сознании уже давно был в красном углу, в идейном иконостасе, так что забывалось временами, что он жив и здоров; но когда распахнулась дверь квартирки на улице Сен-Жак и на пороге предстал белобородый человек с близорукими глазами под толстыми стеклами очков, Уэмбло понял, что жизнь подарила ему редкую возможность перерождения.

Так он стал Бесядовским — по прозванию, а по роду занятий — членом лавровского кружка «социалистов-пропагандистов».

Петр Лаврович, даром что всю жизнь ругался с Бакуниным, упрекая его в спешке и неосновательности намерений, задумал сам опутать Европу сетью конспиративных обществ для подготовления социальной революции. Нечто от Михаила Александровича тут чудилось — русская размашистость и забвение чувства реальности, но зато основательности было не занимать. Петр Лаврович написал «План тайной организации социально-революционных сил»; он вообще любил планы, правила и проекты, которые составлял с математической точностью, оставшейся ему в наследство от преподавания в Артиллерийской академии. «План» был логичен и именно потому обречен на неуспех в том бурном коловращении идей и людей, что называлось политической жизнью Европы, тем более — в таинственном, чуть ли не мистическом революционном действе, что совершалось в России. Но на бумаге линии сходились в узлы, покрывая Европу сетью революционных обществ, организаций и кружков, входивших друг с другом в федеративную связь. Беся как увидел мысленным взором Европу, пойманную в революционную сеть Петра Лавровича, так и решил посвятить жизнь связыванию ячеек.

С этой целью, назвавшись уже эмиссаром кружка Лаврова, Бесядовский в апреле вернулся в Россию, чтобы приобщить к сети тайных сил петербургские кружки.

Он встретился с Александром Венцковским — деятелем видным, известным в русских и в польских кругах. Беся знал о выдающихся способностях этого человека, а также о том, что редко какое дело он доводит до конца — увлекается новым, а старое забывает. Так было с газетой «Начало», которая так «началом» и осталась. Венцковского в революционной среде звали «Пан».

— Поезжайте в Варшаву, Бесядовский,— сказал Пан.— Здесь вы ничего не найдете для Петра Лавровича. Здесь все сами с усами. А там сейчас может быть интересно.

Беся пожал плечами и поехал. Пан назвал несколько фамилий, которые имеют вес в Варшаве: Мондшайн, Варыньский, Мендельсон, Пласковицкая.

— Первые двое — воспитанники моего кружка,— не преминул отметить Пан.— Если явится нужда во мне, я тоже приеду.

По натуре Беся был меланхоличен и несколько мечтателен, не любил шумных сборищ и компаний и во всяком деле искал высший смысл более, чем конкретную цель. Высшим смыслом лавровского плана для него представлялась тайная сеть кружков, неуловимый и загадочный орден единомышленников, связанный паролями и явками, железной дисциплиной и подчинением разуму духовного отца, неторопливо тянувшего свой невод с революционным уловом из моря истории. В душе, конечно, Беся был поэтом. Сам улов мало его интересовал, но волны моря, но длина невода, но прочность ячей...

Он обещал Лаврову писать письма с пути, но, попавши в Варшаву, был незамедлительно втянут в круговорот событий, так что поначалу забыл о письмах. Кроме того, необходимо было разобраться в обстановке и лишь потом представить Петру Лавровичу обстоятельный доклад. У Беси был адрес Мондшайна, тот познакомил его с братьями Плавиньскими, а от них Беся узнал о существовании мастерской Яна Буха, где собираются сходки. Людвик Варыньский, скрывавшийся под именем Буха, заочно стал ему симпатичен, благодаря нелегальности, но случилось так, что до знакомства с ним Бесядовский встретился с учительницей Пласковицкой, которую привел к нему в гостиницу «Краковская» Юзеф Плавиньский.

Разговаривали в ресторане гостиницы, где Бесядовский внес свою фамилию в книгу с добавлением «агент акционерного общества «Гакель и Сын», что вынуждало соответствовать этому самозваному титулу. Бесядовский увидел женщину лет тридцати, державшуюся подчеркнуто скромно. Гладкое лицо, гладкая прическа, все слишком гладкое... Беся отметил про себя прозрачные, почти без цвета, глаза, в которых, тем не менее, горел огонек самоотречения, что делало пани Пласковицкую похожей па монахиню-послушницу.

Бесядовский заказал кофе с пляцками. Беседа неспешно потекла.

— Я слышала, что пан приехал из Парижа? — начала Пласковицкая.

— Через Петербург,— кивнул Беся.

— А правда ли, что пан был знаком в Париже с Петром Лавровичем?

— Правда.

— Завидую вашему счастью. За встречу с Петром Лавровичем многое бы отдала,— вздохнула Пласковицкая.

Беся пожал плечами, мысленно занося собеседницу в разряд восторженных провинциалок, старых дев, ищущих в социально-революционных делах забвения от неудач в личной жизни.

— Я понял, что вы приехали, чтобы помочь в работе? — спросил Плавиньский.

— Не без того,— Беся растянул губы в улыбке,— но главная цель не в этом, хотя я отдаю должное вашей организации. У меня свои планы, определенные Петром Лавровичем. Мне поручено предложить вашему кружку вступить в федеративные отношения с организацией социально-революционных сил...

Пани Филипина и Плавиньский обеспокоенно переглянулись.

— Что же это за организация? — помолчав, несмело спросила пани Филипина.

Бесядовский опустил веки, выдержал томительную паузу, внутренне радуясь тонкости и загадочности своего облика, потом сказал:

— Это пока секрет. Вы согласны вступить в нее?

— Как же мы будем вступать, не зная — куда? — растерялся Плавиньский.

— Если предложение исходит от господина Лаврова, то мы безусловно согласны,— ответила пани Филипина.

— Да, это его идея,— наклонил голову Беся.

— Кстати, если вы имеете с ним связь, то не могли бы достать для перевода на польский полный текст «Исторических писем»? Мы имеем только тот, что издан в России. Наверняка там есть цензурные сокращения,— сказал Плавиньский.

— Я попробую.

— Ну, что ж. Теперь о Варыньском,— сказала пани Филипина, будто решаясь на что-то трудное, требующее серьезности и внимания.

Беся заметил, что такой поворот был неожидан для Плавиньского. Он слушал пани Филипину с тревогой, на лице его был написан протест, однако по мере того, как учительница развивала свою мысль, Плавиньский внутренне капитулировал перед ее доводами, а под конец начал кивать. Бесядовский с интересом поглядывал на учительницу.

Он сразу понял, что Варыньский для нее — личность исключительная, стоящая особняком от других товарищей, именно потому она заговорила о нем отдельно, волнуясь и тщательно подбирая слова. Бесядовский отхлебывал холодный уже кофе, одну за другой рассматривая возможные причины такого пристрастного отношения пани Филипины к Варыньскому. Не исключены любовные отношения, тем более что она упомянула о давнем

знакомстве с Людвиком. Два года жила в семье Варыньских, воспитывала младших сестер. Но вряд ли это главное, если даже есть... Пожалуй, был исключен и чисто идейный интерес, пани Филипина не производила впечатления фанатички. Но что же тогда? Когда же он понял по ее внезапной обмолвке, то чуть не рассмеялся в лицо: пани Филипина верила в историческое предназначение этого молодого человека, работающего под именем Яна Буха в фальшивой слесарной мастерской! Она так и сказала: «ввиду того, что Людвик исторически предназначен к выполнению своей миссии, нужно ему помочь». Бесю будто пчела ужалила: а он не предназначен?! А Петр Лаврович, если на то пошло?! Да кто такой этот Варыньский, чтобы о нем так говорить? Что он сделал? Сколько ему лет, в конце концов?! Ах, ему скоро исполнится двадцать два... Пшепрашам...

Бесядовский откинулся на спинку стула, лицо его приняло непроницаемое выражение. Пусть говорит. Он уже обдумывал язвительные фразы, какими сообщит Петру Лавровичу об этом юном неофите социализма из Варшавы.

Но дальше пани Пласковицкая заговорила вполне разумно. Беся, воспитанный долгими дискуссиями на улице Сен-Жак, сразу уловил главное. «Кассы сопротивления» себя изжили, это ясно. Стачек что-то не наблюдается, а растущий стачечный фонд вызывает у рабочих подозрения: не злоупотребляют ли социалисты их денежками? Препятствие чисто психологическое, его можно обойти. Но как быть с тем, что «кассы» стихийно превратились в пропагандистские кружки социалистов? Ничего дурного в этом нет, кроме того, что доступ в «кассы» открыт всем, а значит, кружок не застрахован от доносителей. Беся мгновенно понял опасность, сказал:

— «Кассы» надо распускать.

— Но что взамен? Варыньский настолько окрылен

успехом «касс», что убедить его будет трудно. Он сам понимает опасность провала, но он скорее пойдет на него, чем своими руками разрушит складывающуюся организацию,— сказала Пласковицкая.— Ему же нельзя проваливаться сейчас...

И она опять повторила, что он предназначен для большого дела, терять его никак невозможно.

Беся поморщился.

— А вас можно терять? — недовольно спросил он.

— Меня — можно,— с готовностью согласилась Пласковицкая.

Бог мой, как прекрасно, должно быть, когда в тебя верит женщина! Да еще так верит,— подумал Бесядовский. Скорее всего, этот Варыньский в самом деле — славный парень. Конечно, никакой он не гений, гении на дороге не валяются, но с такой верой в тебя можно стать и гением, черт возьми!.. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что степень нашей талантливости определяется не только и, может быть, не столько внутренними причинами, но больше — внешними, среди которых на первом месте — вера в тебя. Вера в тебя со стороны женщины. Так точнее.

Бесядовский ощутил досаду: у него не было знакомой особы, слепо верящей в его предназначение.

— Надо создавать конспиративные кружки. Я готов написать устав...— сказал он без воодушевления.

«Я напишу устав и программу, а лавры достанутся ему. Он из породы счастливчиков, как видно. Должно быть, красавец...» — размышлял Беся, глядя на то, как пани Пласковицкая подносит ко рту чашечку кофе.

Вечером того же дня он написал первое письмо Лаврову, в котором рассказал о причинах своего появления в Варшаве, однако не касался положения дел. Попросил лишь прислать экземпляр «Исторических писем» с прибавлениями. В конце долго зашифровывал адрес Монд-

шайна, который давал для переписки, пользуясь условленным с Лавровым шифром, где ключом служила страница тех же «Исторических писем» в санкт-петербургском издании 1870 года, причем номер страницы соответствовал дате отправления письма.

Вопреки ожиданиям, в Варыньском он не нашел ничего от «сверхличности» — ни высокомерия, ни капризов, ни избалованности. Напротив, молодой человек был доброжелателен и скромен, а чуть позже Беся заметил, что он к тому же доверчив и простодушен.

Впрочем, дальше пошли сплошные препирательства между ними, которые ни разу, однако, не переросли в личную обиду. Бесядовскому казалось, что Варыньский тоже принял его с симпатией — необъяснимой, как и в его случае, но тем более прочной. Кроме того, за развитием их отношений неусыпно следила пани Пласковицкая. Приехав из деревни, она сняла комнатку в центре Варшавы и теперь с утра до ночи отдавалась работе. Почти во всех спорах она поддерживала Бесю, Варыньский изумленно разводил своими длинными руками: «Филю, вдвоем на одного, да?! Что ж ты раньше молчала! Я полагал, что мы заодно, а теперь ты за Юзефа!» — И смешно обижался, пряча свои добрые глаза, опушенные светлыми ресницами.

Насчет учительницы Беся не обманывался: она, конечно, поступала так, любя Варыньского больше всех других и по-прежнему ставя его на исторический пьедестал. «Ему надо выработаться в революционера. Он еще очень молод. К тридцати годам он будет вождь европейского пролетариата»,— сказала она Бесядовскому. Странно, но Беся почти поверил и разозлился на себя за это. Валяясь на кровати в гостинице, обдумал все и пришел к выводу, что Варыньский действует личным обаянием. Он обволакивает собою, он обворожителен, как сказали бы дамочки. Кстати, когда они прогуливались по Саксонскому саду,

барышни явно отдавали Варыньскому предпочтение, постреливая черными глазками из-под шляпок с вуалями.

Варыньский глазки игнорировал. Судя по его занятости революционными делами, предмета сердечных воздыханий у него в настоящее время не имелось.

А в Варшаву валом валили студенты из России — поляки и русские, женщины и мужчины,— прослышав об организации, которая в короткое время втянула в свои ряды до трех сотен рабочих. Приехал наконец Венцковский, сразу же включился в споры о программе. То и дело возникали знакомые и незнакомые фамилии: Гласко, Данилович, Коля Акимов, Дробыш-Дробышевский. И всем находилось дело, и все удивительным образом попадали в орбиту Варыньского, обращались вокруг него — кто вдали, кто поближе. Беся был исключением. Он не обращался вокруг Людвика, подобно Луне вокруг Земли. Он составлял с ним пару, служил своего рода противовесом.

На собраниях рабочих Бесядовский любовался им. Людвик начинал говорить, вроде бы, негромко и нескладно, как бы размышляя вслух, но незаметно мысль его отрывалась от земли, расправляя крылья, голос обретал звонкость и то едва уловимое дрожание, что выдает искренность чувств. У слушателей дыхание замирало. Это было, как наваждение. Каждый раз после речи Варыньского Бесядовский ловил себя на мысли, что сейчас Людвик может приказать слушателям что угодно — и они пойдут, исполнят, умрут за него, если надо.

«Моцарт революции»,— нашел он однажды определение. Логика заставляла додумать до конца: «Если он Моцарт, то кто же я? Сальери... Что ж, это справедливо».

И он отыгрывался по пути домой, длинными вечерними улицами, когда они брели из Мокотова, с Повонзковской заставы или с Таргувека. Варыньский хмурился, пытался сопротивляться, потом неохотно соглашался. Он

был нетерпелив, первый успех вскружил голову, и теперь он все чаще вспоминал ушедшего недавно в мир иной Михаила Александровича Бакунина с его теорией «вспышек». Луна вставала над Старым Мястом, призрачный свет газовых фонарей на Краковском Предместье пронизывал ночную зелень каштанов... Беся приходил в гостиницу, садился за бюро и начинал свой отчет Лаврову.

«Слишком пылкие руководители (он усмехался, вспоминая порывистые жесты Людвика на сходке), раз согласившиеся бросить прежний путь, начали напирать на то, что кассы и общества сопротивления не дадут никаких результатов в продолжение многих лет, тогда как избиение фабрикантов, ломка машин, убийство шпионов и т. д. могут очень скоро улучшить положение масс. С другой стороны, многие из рабочих стали поддаваться энергическим словам вожаков и на минуту соглашались с ними. Конечно, пришлось говорить с весьма многими для того, чтобы выяснить подлежащий путь, то есть путь пропаганды социально-революционных идей и организации сил, не тратя их в бесплодном вызывании вспышек. Было время, когда вожаки, люди очень симпатичные и энергические (это было после одной из моих речей на собрании рабочих, в которой я старался выяснить, что задачей масс не может быть протест для протеста, что их задачей может быть только социальный переворот, который немыслим при отсутствии организованной, ясно сознающей свою программу партии), упрекали меня, что я охлаждаю рабочих, что я запугиваю их громадностью задачи и т. д. Они даже раз сказали мне, что будут стараться подорвать мое влияние, если я буду следовать далее своим путем. Однако я продолжал действовать по-своему...»

Он писал «вожаки», чтобы Лавров не подумал, что его эмиссар не может справиться с анархически настроенным мальчишкой. И все же опыт и логика брали свое. В программу после бессонной ночи на Маршалковской, в при-



сутствии Венцковского и Пласковицкой, удалось внести пункт о национальном вопросе. Варыньский возражал бешено. «Зачем нам это заигрывание с «патриотами»?! — кричал он.— Социализм и «патриотизм» непримиримы! Нельзя повторять ошибки отцов!» И так далее. Сдался лишь после того, как Пласковицкая привела ему в пример высказывание женщины-работницы из ее кружка (пани Филиппина организовала женский социалистический кружок): «А как же наши малые хлопчики при социализме будут называться? Поляки? Если поляки, то мы с вами, а если просто паны социалисты, то — нет!» — «Поляки! Поляки! — кричал Людвик.— Кто же еще?!» — «А раз так, мы должны сказать рабочим, что мы не только за социализм, но и за Польшу!» — «Еще Польска не згинела, короче говоря!» — рассмеялся Варыньский и махнул рукою.

Бесядовский вздохнул облегченно: важный пункт попал в программу, и попал вроде как не под его нажимом.

Лето было жарким, под стать тому, четыре года назад, когда народники повалили в деревни, разошлись по России, чтобы уже осенью собраться в Доме предварительного заключения в Петербурге, на Шпалерной улице, и ждать три года суда. В воздухе запахло арестами, но улицам Варшавы громыхали черные арестантские повозки с решетками на окнах. Бесядовский понимал, что еще немного — и произойдет провал, массовость организации увеличивала его вероятность с каждым днем.

Варыньский слушать не хотел о предательстве. «Рабочий предать не может. Скорее предаст хлюпик-студент, устрашенный родителями. Но ничего! У нас в ответ тоже найдется устрашение!» Беся скептически поджимал губы: он знал, что среди рабочих найдешь кого угодно — и пьяниц, и воришек, и предателей. Так и случилось: предал Скавроньский, потом Михальский с ламповой фабрики Подгурского. По счастью, дело обошлось обыском на Маршалковской, в квартире Буха, Кобыляньского и Тома-

шевского. Бесядовский узнал подробности через несколько дней от Варыньского, пришедшего к нему в гостиницу переночевать. Он уложил Людвика на диване, а сам со свечой устроился за бюро, чтобы написать Петру Лавровичу о важнейшей новости.

— Передай привет господину Лаврову от бездомного и нелегального Варыньского,— пробормотал Людвик, засыпая.

«Произошел первый обыск у польских социалистов,— начал Бесядовский, чувствуя себя летописцем и залетая мысленно далеко вперед, когда какой-нибудь историк найдет это письмо, роясь в архиве, и по нему станет судить об эпохе и, в частности, о делах этого красавца, что спит на диване.— Дома никого жандармы не застали и начали шарить без хозяев квартиры. Но вот один из трех живших на этой квартире является, его пытаются привести наверх (на квартиру), но собравшаяся на лестнице толпа, состоявшая из соседей и посторонних лиц, была настолько значительна, что движение вверх было затруднительно, а так как явившийся стал уверять, что он только по ошибке попал в этот дом, то решились позвать дворника для справки, который в то время отлучился. Около него поставили городового и жандарма. Но когда жандарм был кем-то позван и остался один городовой, тогда наш вынул револьвер и, показав его городовому со словами «Ни шагу, если дорога тебе жизнь», бросился через забор. Пытались было догнать его, но через час он был уже в наших объятиях, а теперь вне опасности...»

Убежавший был Людвик Кобыляньский. Варыньский уже отправил его в провинцию с подложными документами, а другому соседу, Яну Томашевскому, добыл рекомендательное письмо от Амалии Циндлер, и назавтра тот должен уехать.

Варыньский сказал, что в квартире ничего подозрительного не хранили за исключением двух-трех брошюрок,

кинжала и патронов для револьвера, благодаря которому удалось убежать Кобыляньскому.

— Вполне достаточно, чтобы засадить вас всех в Десятый павильон,— сказал Беся.

Патроны и кинжал насторожили его. Далеко это от мирной пропаганды. Как написать об этом Петру Лавровичу? Когда он осторожно спросил Варыньского, что он думает о терроре, Людвик спокойно ответил:

— Шпионов надо убивать.

— Ты сам взялся бы за это?

Варыньский подумал, сощурил глаза, кинул на Бесю злой взгляд.

— Взялся.

В тот же вечер на сходке близ Банковой площади он поставил вопрос о терроре как средстве защиты. И опять было шумно, особенно запомнился рабочий Вацлав Серошевский — небольшого роста, с умными, жесткими глазами. «Своими руками удушу предателя!» — сказал он с такой силой, что Беся вполне поверил: этот сделает. Плясковицкая и Плавиньский заняли позицию двойственную: христианское «не убий!» боролось с преданностью делу; один Бесядовский выступал против.

— Террором мы даем страшный козырь правительству, которое причислит нас к уголовным преступникам, к обыкновенным убийцам и бандитам! От провалов это не застрахует, а сроки наказания увеличит вдесятеро! И не на высылку пойдем, а на каторгу! — убеждал Беся.

— Что ты предлагаешь? — спросил Варыньский.

— Конспирация, железная дисциплина, постоянная осмотрительность при приеме членов в организацию. Только это может исключить провалы.

— А предатели Скавроньский и Михальский пусть гуляют?

Беся лишь пожал плечами.

Спор окончился ничем: никакой резолюции о терроре

принято не было. Вопрос как бы оставили на личное усмотрение всякого члена организации, столкнувшегося с предательством. Бесядовский посчитал это своей победой. Возвращаясь домой в скрипучем, едва передвигающемся по пыльной улице омнибусе, запряженном четверкой лошадей, подумал вдруг: а если бы Варыньский бросил ему обвинение в трусости?! Кровь хлынула к лицу. Пожалуй, это был бы разрыв...

А через несколько дней газеты принесли известие о таинственном и страшном убийстве шефа жандармов Мезенцова. Его закололи кинжалом средь бела дня в центре столицы. Убийца скрылся. Варыньский при встрече ткнул пальцем в газетный заголовок.

— Видишь? А ты говоришь. Борьба у нас не на жизнь, а на смерть.

Но к этому времени и без Мезенцова хватало хлопот. Уже через несколько дней после обыска на Маршалковской посыпались аресты. Жандармы водили с собою по улицам предателя Михальского, тот узнавал лиц, виденных им на сходках. На вокзале попался железнодорожный рабочий Серошевский. В тот же день, прямо в поезде, взяли Яна Томашевского и Казимира Плавиньского, который провожал его. А еще через несколько дней Ян Томашевский дал подробные показания обо всем, что знал.

Бесядовский отметился на выезд из «Краковской», а в трактире «Олимп», известном своими сомнительными посетителями, приобрел за десять рублей паспорт на имя Павловского. С этим паспортом он поселился на Длугой улице, сняв маленькую квартиру. Через легальных товарищей послал известие о переезде Варыньскому.

Людвик явился тем же вечером. Впервые Беся увидел его в таком состоянии. Варыньский был убит горем, вял, на лице застыла равнодушная унылая маска.

— Что случилось? — спросил Бесядовский, открыв дверь.

— Филюню арестовали.

— Это плохо. Но не будем паниковать. Пани Пласковицкую не в чем обвинить, кроме как в посещении сходок.

— А если они докопаются до ее кружка? Это я виноват, зачем не отправил ее в деревню! Успела бы уехать к учебному году, ни за что бы не нашли! — восклицал Людвик.

— Ты сам как? — спросил Беся, заметив, что у Варыньского изменился цвет волос. Они стали темнее, с зеленоватым отливом.

— Перекрасился, видишь? — с тоской сказал он.— Есть хочу. Ни гроша не осталось.

Беся налил ему простокваши, отрезал половину булки. Людвик жадно отхлебнул, смутился, а потом стал есть уже неторопливо, обмакивая булку в простоквашу.

Утром в Париж, к Петру Лавровичу, полетела очередная подробная реляция о варшавских делах.

«Вот уже пятая неделя на исходе, как начались у нас аресты,— писал Беся, все более входя в эпический стиль летописца.— Сколько было произведено обысков — право, трудно сосчитать... Во время первого обыска нашли документы Буха (документы фальшивые), и вот давай обыскивать Бухов, которых много в Варшаве. Воображаю себе удивление 70-летнего столяра Буха, услыхавшего приглашение следовать в жандармское отделение. Обыскивали даже целые фабрики, но искали людей. Из арестованных и оставленных в крепости, которых не меньше 40, очень много рабочих. Молодежи только несколько человек. Однако нитей они еще не нашли, и потому-то аресты до сих пор продолжаются. Плеве, прокурор, ведущий дело, высказал свое мнение, что, очевидно, существует сообщество, которого только низшие агенты попались в руки власти, но он надеется раскрыть все. Добрый час, господин Плеве! Старайся...»

О Вячеславе Плеве, молодом товарище прокурора,

тоже сообщил Варыньский. У одного из арестованных студентов, Рожаньского, оказались родственники в канцелярии прокуратуры, они-то и передали, что между Плеве и его начальником, прокурором Варшавской судебной палаты Трахимовским возникли разногласия: как подавать дело о варшавских социалистах? Трахимовский считал его не слишком заслуживающим внимания, того же мнения был и сам генерал-губернатор Коцебу. У обоих сложившееся убеждение, что социализма в Польше нет и быть не может, а то, что есть,— ограниченные единичные акции «русских» поляков, прибывших на каникулы в Варшаву из центров Империи.

Плеве с такой трактовкой не соглашался. Из канцелярии передали его фразу: «Полагаю, что социализм в местном крае может быть водворен не менее удобно, чем в других частях Империи». Нюх у молодого прокурора был отменный, к тому же надо принять во внимание его желание выслужиться перед столицей, ни в коем случае не показывать дело пустяковым. Скорее, надобно раздуть его!

Тем более сейчас, после убийства Мезенцова, государь не одобрит умаления роли социалистов. Значит, будут лютовать, подумал Бесядовский. Надо беречь Варыньского...

Странно, он незаметно для себя подумал так, как подумала бы на его месте Пласковицкая. То ли привык уже к мысли, что этот молодой человек ценен для истории, то ли на самом деле так...

«Наше положение не очень-то завидное,— продолжал он в письме.— Несколько человек принуждены скрываться, а между тем паспортов нет, писали в Киев, в Питер, но особенно в Питере такой переполох, что просто беда! Ни бланков, ни печатей нет. Чувствуется также сильный недостаток квартир для собраний. Вследствие этого готовых людей нельзя организовать в кружки, согласно ново-

му уставу. Негде также поговорить с новичками, которых немало. Финансы наши тоже не особенно блистательны, а между тем нужно поддерживать заключенных и семьи их, которые бедствуют, потеряв рабочую силу — отца или мужа. Одним словом, мы теперь переживаем очень трудную минуту. Однако презираем все эти трудности, всегда вокруг решительность и стойкость многих. Правда, не раз уныние и тоска находила почти на всех, но достаточно было нескольких слов, чтобы воскресить падающую решительность, чтобы озлобление заменило тоску. Здешняя молодежь представляет из себя страшную сволочь. Даже те, на которых можно было рассчитывать, отшатнулись после первого же ареста. Но зато рабочие с избытком вознаграждают пошлость молодежи своим поведением. Люди семейные, немолодые, гораздо лучше молодого поколения...»

Разгром движения продолжался с неукоснительной последовательностью, присущей хорошо отлаженному механизму. Бесю спасало именно то, что он был эмиссаром, человеком со стороны, которого почти никто не знал. «Своих» брали в Варшаве, хватали и далеко от нее, когда они пытались бежать в Россию, чтобы отсидеться там. Маню Ге арестовали под Тулой, в имении родителей. Колю Акимова взяли в Керчи. В Севастополе, в военном госпитале, был арестован Мондшайн, призванный на службу как медик в связи с Балканской кампанией.

Единственным верным путем уйти от арестов была Галиция, где социалисты находились на легальном положении.

Беся стал уговаривать Варыньского уехать туда. Людвик и слушать не хотел.

— Это, по-твоему, честно? Подняли рабочих — и в кусты! Им-то не убежать, они связаны работой, семьей! Детишек у каждого по три-четыре души! Ты понимаешь, что говоришь! — горячился Людвик.

— Рабочим столько не дадут, сколько тебе. В худшем случае им грозит штраф или отсидка здесь. А тебя закатают на каторгу в Сибирь! — доказывал Бесядовский.

Не помогали и уговоры из Десятого павильона, в записках пани Филипины, доставляемых ее сестрой Зофьей, приехавшей из Киева, чтобы помогать заключенным. Варыньский без жилья и паспорта продолжал обитать в Варшаве и посещать кружки, которые собирались, несмотря ни на что. Наконец Юзеф Плавиньский, арестованный вслед за братом и выпущенный под залог, принес хитрость, придуманную Пласковицкой: заинтересуйте Людвика делом в Галиции!

И Беся придумал типографское дело, и нашел адрес наборщика Антония Маньковского, и снабдил Людвика деньгами, и отдал свой паспорт на имя Павловского, и сам проводил на поезд в Краков, до самого последнего момента не веря в благополучный исход операции. Перед самым отъездом Людвика прокатилась волна новых арестов. Из Десятого павильона шли тревожные вести; Вячеслав Плеве вынуждал то одного, то другого делать «чистосердечные» признания. Организация таяла на глазах.

Уже садясь в поезд, Людвик кинул на Бесю хмурый взгляд.

— Думаешь, я не понимаю, чего ты так старался спровадить меня в Галицию? Понимаю, брат...

— Прекрати, пожалуйста! Я сам туда скоро приеду! — Юзеф изобразил возмущение.

— Мы с этим Плеве еще повстречаемся...— пригрозил Людвик.

— Не советую,— заметил Беся.— Как ты понимаешь, встреча эта может произойти только в одном случае.

— В каком же? — поинтересовался Варыньский.

— Если на тебе будет куртка арестанта.

— Не только.— Варыньский угрюмо усмехнулся.— Пуля моя может его встретить.

— Ну-ну...

Они молча обнялись. Паровоз с длинной трубой дал свисток и повез Людвика в Галицию.

Без него сразу сделалось скучно. Через две недели приехала молодая, красивая и богатая дама из Киева, настойчиво искала Людвика, натолкнулась на Бесядовского. Представила ее Зофья Пласковицкая. Дама оказалась Марьей Янковской. «Так вот где ключик от сердца Варыньского»,— подумал он, глядя на невысокую, живую и пикантную женщину, одетую по последней парижской моде. Кстати, она и направлялась в Париж, так что не грех было передать с нею письмо, тем более что она пользовалась полным доверием варшавских товарищей.

«Насколько дело наше продвинулось вперед и в каком положении находится теперь, Вы узнаете от нашего уполномоченного, то есть уполномоченной,— писал Беся в конце октября.— Эта барыня принадлежала к польскому киевскому кружку, проездом была в Варшаве, но мы не считали нужным скрывать от нее что-либо, так что она знает решительно о всех наших делах, конечно, насколько было возможно познакомиться в несколько дней. Она Вам расскажет план нашей организации, передаст программу и попросит войти в федеративные отношения. Она тоже попросит Вас от нашего имени написать устав федерации наших кружков.

Из России я имею очень мало известий, но вполне согласен с Вашей характеристикой тамошнего движения. А между тем, те же силы, обращенные в другую сторону — в сторону пропаганды, могли бы сделать много для социальной, а не для политической революции...»

Тут Беся вспомнил плотно сжатые губы Варыньского и его взгляд, когда он произнес фразу о пуле, предназначенной прокурору.

Пани Янковская положила письмо в ридикюль, предварительно написав на нем чье-то имя и побрызгав духами.

— Зачем это? — удивился Бесядовский.

— Пусть жандармы думают, что письмо — любовное! — сказала она, улыбнувшись.

Беся позавидовал Варыньскому. Какая женщина!

Его уже тянуло к Людвику, он свыкся с ним, а более — с его делом и предназначенностью. Это удивляло его самого, но поделать с собою ничего не мог. Страшно подумать — с Варыньским было интереснее, чем с Лавровым!

Пожалуй, он поторопился определить себе дело на всю свою будущность. Внезапно возник иной путь, освещенный не так ярко, но зато манящий и неведомый, который был почему-то увлекательнее наставлений и правил Петра Лавровича.

Постскриптум

Он долго еще останется в социалистическом движении Польши, меняя пути и переходя от одного увлечения к другому. Узембло окончит свой путь в 1918 году, так, по сути, и не найдя его, оставаясь все время чуть сбоку от событий, не более, но и не менее чем летописцем рядом с практическими деятелями истории.

Глава пятая.

ЭДМУНД

Февраль 1879 года

Угораздило его собраться к Людвику так поздно! Он както упустил из виду, что к шести часам уже стемнеет, а Краков — это не Вена, здесь фонари горят только на центральных улицах. Слава богу, луна сегодня вполне заменяет фонарь, иначе была бы темень непролазная!

Легкий морозец обтянул гладкий булыжник мостовой тонкой ледяной корочкой. Блестит чрезвычайно красиво, но скользко, черт побери! А он прихватил из Вены зонтик. Теперь им, по крайней мере, можно воспользоваться как тростью...

Бжезиньский замер на перекрестке, поблескивающем глазурью льда, и вгляделся в черные провалы улиц, уходившие в ночь. В перспективе одной из них возвышался острым шпилем костел, как зуб фантастического дракона, поджидающего жертву. Значит, надо туда, в его пасть. Людвик упоминал в письме об этом костеле.

На улице не было ни души. Постукивая металлическим наконечником зонта по ледяному булыжнику, Эдмунд побрел к дракону, стараясь держаться середины улицы. Редко в каком окне теплился огонек.

Он должен быть тверд, и только. В конце концов все, что от него зависело, он делал. Несколько транспортов литературы прошло через его руки, раза два пришлось помогать сбежавшим из Варшавы социалистам, но он же врач, черт возьми, а не анархист. Точнее, учится на врача. Прошли те времена, когда они с Людеком мечтали о социальных революциях, прятали под матрацами брошюрки. Все это чепуха и ребячество! В жизни надо заниматься созидательным делом. Лечить, а не калечить. Он вспомнил недавнее ужасное сообщение газет о покушении на студента Гориновича. Двое неизвестных нигилистов пытались его убить, но не убили, а изувечили, облив лицо серной кислотой. Конечно, он далек от мысли, что Людвик занимается подобными делами, но все же... Их юношеские мечтания за студенческим чаем о благе народа, о социальной справедливости, похоже, не имеют ничего общего с тем, что происходит теперь. В самом деле, какое отношение к положению рабочих имеет выстрел Засулич? А убийство Мезенцова? А покушение на Гейкинга в Киеве? А дело Котляревского? А этот несчастный Горино-

вич, наконец? Почему благо народа нужно строить на крови? Эдмунд не понимал этого. Социалисты утверждают, что их террористические акции — лишь ответ на репрессии правительства. Правительство, мол, первое начало... Но позвольте, Веру Засулич даже не сослали! Она оправдана! Разве это не указывало на желание правительства договориться с социалистами мирным путем? В ответ на это они убили Мезенцова...

Бжезиньский не хотел иметь отношения к насилию и шел сообщить об этом другу юности. Он готовился к разговору давно, еще с осени, когда узнал, что Варыньский перебрался в Галицию, но не оставил своей деятельности. Подлила масла в огонь, как ни странно, пани Хелена Варыньская, которую он увидел перед Новым годом, как всегда, навестив матушку в Белой Церкви. Матушка предупредила о его приезде семью Варыньских, и те делегировали в Белую Церковь Галю, то бишь Хеленку. Эдмунд не узнал ее — красавица, невеста! Давно ли бегала с куклою за пани Филипиной? Кстати, пани Пласковицкая, как говорил Людвик, тоже участвует в варшавских делах. Этого уж Эдмунд решительно не понимал!

Галя привезла ему два письма к Людвику — от матери и от нее самой. В семье с осени знали, что Людвик перешел на нелегальное положение. Оповестили об этом киевские жандармы, явившиеся в дом Варыньских с обыском: нет ли там старшего сына? Полковник Новицкий, начальник Киевского жандармского управления, долго беседовал с паном Северином, соболезнуя о предосудительном поприще, избранном Людвиком. В частности, обвинил его не только в злоумышлениях против власти, но и в обыкновенной лени, тунеядстве и желании жить за чужой счет. «Ваш сын, господин Варыньский, организовал в Варшаве рабочие кассы, якобы для революционных нужд. Нигилисты же пользовались деньгами работников для своих личных надобностей. Ваш сын уже несколько

месяцев не работает, скрывается, следовательно, существует за чужой счет! Не так ли?»

Вот это «за чужой счет» больше всего покоробило Варыньских. Понятие о чести в этой семье велико. Сопротивление власти они бы простили, сами фрондировали двадцать лет назад, но прихлебательство?!

Галя, когда рассказывала эти новости Эдмунду, возмущенно придыхала, блестела глазками, румянец покрыл щечки — в общем, она целиком разделяла родительский гнев. Эдмунд был не настолько восприимчив к обвинениям, он знал, что Людвик не сидит без дела, а его положение — весьма опасно. И все же сознайся, Эдмунд, где-то в глубине души ты тоже осудил друга. Почему одним нужно в поте лица зарабатывать хлеб насущный, строить, пахать, управлять делами, лечить людей, в конце концов, а другие могут позволить себе лишь ругать существующие порядки и на этом основании требовать, чтобы их кормили?

Нет, он решительно скажет Людвику, что им не по пути!

В конце концов, имеет он право на элементарную безопасность? Его уже арестовывали, благодаря связям с социалистами, несмотря на то, что социалистическое учение не преследуется в Австро-Венгрии. Учение не преследуется, но попытки ниспровержения власти — преследуются, как и в любом государстве. Людвику же социализм только как наука неинтересен. Он нужен ему как руководство к действию. Ежели социализм есть справедливый уклад общественной жизни, то надобно его водворить повсеместно!

Но кто же вам позволит, пан Варыньский?..

Дойдя до дубовых, обитых железом дверей костела, Бжезиньский повернул в еще более темный переулок. Кажется, ему удалось настроить себя воинственно. Собственно, он не ругаться приехал. Он просто привез другу

письма от семьи, которая не видела старшего сына уже больше года и неизвестно — когда увидит.

Заодно он намекнет Людвику, что не обязан заниматься делами, которые его не интересуют и, кроме всего прочего, небезопасны.

А вдруг Людвик посчитает это предательством?

На миг мелькнула не мысль даже, а предположение мысли о мщении. И обожженное, с вытекшими глазами, лицо Гориновича... Бжезиньский поспешно отогнал от себя страхи.

На счастье, в этот миг он добрел до главной приметы: железных ворот с грубыми крашеными фигурами русалок на створках. Груди русалок рельефно выделялись в лунном свете, отбрасывая глубокие тени. Бжезиньский постучал зонтом по туловищу русалки.

Ждать пришлось долго. Наконец скрипнули ворота, в щель высунулось лицо — не поймешь, женское или мужское? — обмотанное шерстяным шарфом. Лицо промолвило хрипло:

— Что угодно пану?

— Здесь живет пан Павловский?

— Здесь, здесь..— ворота приоткрылись шире, пропуская его в тесный дворик.

— Пожалуйте сюда, пан. На самый верх, в мансарду,— привратник указал на лестницу.

Бжезиньский поднялся по скрипучим ступеням па самый верх, к двери мансарды; в щели под нею пробивался свет. Бжезиньский обрадовался: дома... Он уже уверенно забарабанил костяшками пальцев в хлипкую филенку двери.

Тут же свет под дверью исчез. Наступила полная тишина.

Эдмунд постучал еще раз. Никто не открывал.

— Людвик, это я, Эдмунд! — догадался позвать он, прильнув губами к щели.

За дверью послышался шорох, потом вновь зажглась внизу полоска света. Дверь распахнулась. На пороге стоял Людвик со свечою в руках.

— Эдек! Заходи, дружище!

Не успел Эдмунд переступить порог, как Людвиг сграбастал его в объятья, не поставив даже свечи. Так со свечою в руке и обнимал! Эдмунд осторожно стиснул друга, боясь, чтобы воск не капнул па пальто.

Они зашли в комнатку, точнее, каморку со скошенным потолком. Людвик зажег еще свечей, обернулся к нему.

— Дай па тебя посмотреть! Ого, да ты прямо действительный статский советник! Котелок! Перчатки! Зонт! — смеялся Людвик, с нескрываемой радостью оглядывая друга.

— Перестань, Людек,— смутился Эдмунд, стягивая тонкие перчатки и бросая их в котелок.

Контраст, должно быть, разительный, подумал он. На Варыньском была шерстяная свободная фуфайка с протертыми локтями. На ногах — серые валенки с обрезанными голенищами.

— Это я так, по-домашнему. Выходной сюртук и у меня есть,— сказал Людвик, заметив его взгляд.

Людвик выглядел гораздо взрослее, чем год назад, когда они виделись последний раз во Львове, на процессе Котурницкого, куда Эдмунда привезли свидетелем. Спасибо, па скамью подсудимых не попал! Тогда Людвик был полон сил, энергии и здоровья. Да и одет был великолепно. Ходил вместе с какой-то богатой дамой. Теперь же вид совсем не тот: двухдневная щетина, щеки ввалились, давно не стрижен. Но зато в глазах появилось что-то новое — печаль, горечь... Или это просто усталость?

— А я думал — полиция,— продолжал Людвик.— Разве я не писал, что нужно стучаться условным стуком? Вот так,— он пробарабанил по столешнице: тук-тук... тук... тук... тук...

— Нет, не писал,— покачал головой Эдмунд.

— Когда-нибудь поплачусь за это,— Людвик заметно огорчился.— Забываю, понимаешь, о конспирации. Могу запросто погореть. Себя не жалко, работы жаль. Ты Сашу Михайлова помнишь? — неожиданно спросил он.

— Технолога? Который с нами учился?

— Ну да. Его вместе с нами выперли. Говорят, он сейчас в Петербурге видная фигура.

— Я что-то не слышал...— осторожно проговорил Эдмунд.

— Ты и не мог слышать. Он известен в наших кругах. А обывателям неизвестен... Пока,— подчеркнул Людвик последнее слово.

— И что же Михайлов?

— Гений конспирации! Уздембло говорил, а ему рассказывал Кравчинский, когда приезжал в декабре в Варшаву по пути в Лондон. Тот самый, что исполнил приговор над Мезенцовым.

— Который убил Мезенцова?! — ахнул Эдмунд.— И ты об этом так спокойно говоришь?

— Не убил, а исполнил приговор партии,— спокойно парировал Людвик.— Если организация прикажет, любой член ее должен это проделать.

— И ты? — в упор спросил Бжезиньский.

— А чем я хуже других?

— Не верю, нет,— твердо покачал головой Эдмунд.— Чтобы ты — и убил!

— Конечно, это трудно, я не спорю...— Варыньский возвысил голос.— Но я переломлю себя, я забуду о себе! Наше дело — жестокое дело! — видно, что ему неприятны были собственные доводы; он отвернулся к окошку в наклонной стене-потолке и говорил резко, подрубая фразы взмахами зажатого кулака: — Либо мы их, либо они — нас. Третьего не дано!

Эдмунд уже хотел было мягким замечанием или во-

просом увести разговор в сторону и направить его к тому, о чем он так мучительно думал, собираясь к Людвику, как тот отвернулся от окна и порывисто выхватил из-под доски, отставшей от стены, какие-то бумаги.

— Спрятал, когда ты постучал,— неожиданно улыбнулся он.— Вот, смотри! Они нас тоже не жалуют. Не думай, что в жандармских управлениях овечки сидят. В Варшаве всех пересажали, Филюня уже почти полгода в тюрьме, больная, а с нею — больше сотни человек!

Эдмунд взял листки. Его внимание первым делом привлекла небольшого формата самодельная тетрадка, на титульном листе которой чернилами была выполнена располагавшаяся полукругом надпись: «Голос узника», а чуть ниже и мельче: «Орган заключенных польских социалистов». Местом издания значился «Десятый павильон Варшавской цитадели», а адрес редакции вызвал невольную улыбку на лице Бжезиньского: «Камера Понтека и Мацека».

Он понял, что перед ним — журнал узников цитадели, рукописное издание, каким-то чудом собранное, переписанное, сброшюрованное в камерах Десятого павильона и попавшее на волю. Бжезиньский перелистал журнальчик. Там были стихи, статьи на политические темы, хроника следствия: кто и что сказал на допросах, о чем спрашивали майор Черкасов, товарищ прокурора Плеве, и тому подобное.

Но самое главное не в этом. На обложке, под полукруглой надписью «Голос узника», не очень умело нарисованы две фигуры: крестьянин с косой и рабочий в фуражке, целящийся в кого-то из револьвера. Значит, это всерьез... Стрельба — это всерьез. А он-то думал, что все эти брошюрки, проплывавшие через его руки в Варшаву, служат целям мирной пропаганды!

— Видал, какие молодцы! — воодушевленно сказал Варыньский.

Он принялся хозяйничать — рыскал по полкам шкафчика в поисках чашек, вынул из пакета несколько засохших рогаликов с маком, из-под подушки достал чайник, озабоченно дотронулся до него большой ладонью: не холодный ли? Принялся разливать чай.

— Угостить особенно нечем,— предупредил он.

Тут Эдмунд вспомнил о письмах матери и сестры Людвика. Пора или не пора? Вроде бы Людвик подобрел, улыбается, помешивает ложечкой чай. Совсем как тогда, четыре года назад в Петербурге, в кухмистерской на Загородном проспекте... Прекрасное было время! Мечты, идеи о благе народа и никакой тебе стрельбы!

— Я был на рождество дома...— начал он как бы невзначай.

— Вот как? Моих видел? — Людек отложил ложечку, повернулся к нему.

— Да. Есть письма,— кивнул Эдмунд, доставая из внутреннего кармана пакет.

Людвик молниеносно схватил пакет, от волнения не смог сразу надорвать, вертел его в руках, пока в отчаянье не схватил нож со стола и не вспорол бок конверта. На стол выпали два письма. Он развернул первое, принялся жадно читать...

Эдмунд в свою очередь, чтобы не мешать Людвику, раскрыл сложенный лист бумаги из варшавской пачки. Это было письмо Пласковицкой Людвику, датированное началом октября. Мельчайший почерк, убористая тюремная вязь...

— Ты позволишь прочесть? — спросил он.

Людвик кивнул.

Эдмунд начал читать, чувствуя, что непроизвольно внимание его раздваивается. Он почти физически чувствовал перемену настроения Варыньского, когда тот читал письмо.

Эдмунд опустил глаза на свой листок.

«Милый Людвик! Утешаюсь тем, что ты еще в Варшаве, хотя следовало бы огорчиться этому факту, равно как и тому, что ты никак не хочешь искать покоя, гарантируемого австрийской конституцией своим подданным.

Думаю, однако, что если бы я оказалась в твоем положении, то поступила бы точно так же...»

Варыньский задышал чаще, прерывистее, вдруг издал глухой стон. Эдмунд скосил на него глаза. Людвик сидел за столом, держа листок обеими руками. Глаза его блестели, жадно поглощая строчки письма, длинные волосы сбились на лоб.

Эдмунд поежился, но продолжал читать письмо Филюни.

«...Ты хочешь, чтобы я рассказала о своем здоровье? Скажу правду, Людвик, что Десятый павильон принес ему огромный вред, но лечение могло бы поправить дело. Более же всего меня печалит мысль, что я, будучи нелегальной, не смогу получить место народной учительницы в крае. Чтобы получить такое место, нужна другая фамилия, которую мне захотела бы уступить какая-нибудь смертельно больная женщина, например. Только и всего, правда? Как бы там ни было, а случай всегда благосклонен к тем, кто умеет ухватить его за фалды. Если эта мысль не покажется вам дикой, обсудите ее, может, что-нибудь придумаете...

Товарищи здесь говорят, что ты так скомпрометирован перед властями, что не посмеешь высунуть носа из заграницы по крайней мере год. Но я другого мнения. Было бы плохо, если бы ты пренебрегал опасностью ради простого ухарства или потому, что нет тебе в жизни покоя. Но я знаю причины, управляющие твоими намерениями. Помнишь, ты не раз говорил, что счастливейшим для тебя мгновением было бы мгновенье революционного взрыва. Исходя из твоего характера я все же представ-

ляю тебя работающим в России, а не в Австрии, где пропаганда находится в зачаточном состоянии, а агитацией и не пахнет...»

Варыньский вдруг резко ударил кулаком по столу, вскочил. Эдмунд вздрогнул, выронил письмо Филиппины. На Людвика страшно было смотреть: он метался в тесной мансарде, как зверь в клетке, мыча что-то нечленораздельное и потрясая кулаками. Вдруг остановился, опустил руки, глянул на Эдмунда жалобно, будто прося защиты. Сказал тихо, кивнув на письма:

— Ты знаешь, что там написано?

— В общих чертах... Я не читал, но Галя говорила со мной...— Эдмунду было жаль его до слез.

— Ты с ними... согласен? — спросил Людвик, запнувшись, и в глазах его мелькнул страх, будто от приговора Эдмунда действительно зависело — правы или неправы его мать и сестра.

— Нет, ну что ты! — растроганно проговорил Бжезиньский, шагнув к другу и сжимая его руки у локтей.

Минутная слабость прошла. Перед Бжезиньским снова был прежний Людвик, каким он помнился ему по гимназии и студенческим дням: решительный, азартный и смелый. Он шагнул к столу, широким жестом отодвинул в сторону чашки, сахарницу, чайник, выложил чистый лист бумаги, припечатал к газете, накрывавшей стол, чернильницу и уселся прочно и непоколебимо.

— Ты прости, я должен ответить,— сказал он, не глядя на Эдмунда, находясь уже мысленно в своем письме, живя его чувствами и доводами.

«А как же я? — растерянно подумал Бжезиньский.— Когда мы поговорим о моих делах? Не зря я все же...»

Но Людвик уже писал — скрипя железным пером и яростно долбя им дно чернильницы.

Эдмунд потягивал чай и грыз рогалик, размышляя о

непонятной для него и странной зависимости от друга, которая ломала все его намерения, едва он оказывался с ним рядом. На расстоянии в несколько сот верст он еще мог бунтовать, но здесь, в этой мансарде, он жил и чувствовал заодно с Людвиком. Вот и сейчас он мысленно подбирал аргументы, возмущенный нападками родственников на друга. Какое они имеют право! Повертелись бы так. как он — без денег, без паспорта, без жилья!

Варыньский закончил, сунул письмо в конверт, запечатывать не стал. Он поднял голову, и Эдмунд поразился происшедшей с ним перемене. Вся страсть, казалось, выплеснулась на бумагу, лицо Людвика было ясным и спокойным.

— А теперь поговорим...

Они просидели до утра, вспоминая гимназических товарищей и учителей, институт, профессора физики Ленца, какую-то барышню по имени Катя, жившую где-то близ Вознесенского проспекта,— оба ухаживали за нею — и товарищей, польских и русских,— того же Михайлова, Яна Гласко, Игнация Гриневицкого. «Куда он делся?» — спросил Эдмунд. «Весь в русских делах,— ответил Людвик.— Помнишь, как он говорил позитивистам: «Когда вы пойдете до лясу, я буду с вами, а пока с русскими интереснее...» У русских товарищей большие перемены в движении. Пропаганда себя изживает, речь теперь о государственной власти идет...»

И Эдмунд уже послушно записывал адреса Мендельсона и Длуского в Женеве, которые приобрели типографию и в скором времени будут слать через него, Эдмунда, в Варшаву нелегальные издания. И шифр на отдельном листочке вложил за подкладку котелка, радуясь, что Людвик одарил его доверием и что он, пусть немного, но пригодится для дела социальной справедливости.

Они не заметили, как задремали, привалившись к валикам в разных концах потертого кожаного дивана. Раз-

будил их стук тележки молочника по булыжной мостовой. Эдмунд поднялся, хлебнул холодного чаю.

— Я пойду, пожалуй. Буду ждать вестей.

Людвик обнял его и дал незапечатанный конверт с письмом.

— Я хочу, чтобы ты прочел это, потом отправил моим...— он обнял Эдмунда и вдруг шепнул ему на ухо:— Я ведь знаю, зачем ты приезжал! Сознайся!

Эдмунд смущенно улыбнулся, пряча письмо.

Уже в поезде, запоздало ругая себя за мягкотелость, он развернул конверт. Почему-то волновался, как тогда Людвик. Глубоко вздохнул и начал читать, время от времени поднимая голову и смотря невидящим взглядом на ровные квадратики заснеженных полей, на подстриженные кусты у дорог, на высаженные по ниточке аллейки лип и тополей. «Зачем я здесь? Почему?» И снова погружался душою в исповедь друга.

«...Сначала, Галя, должен тебе сказать — где я и чем занимаюсь. Я в Кракове уже третий месяц, все это время запят агитацией, издательскими делами, транспортировкой литературы — словом, всеми делами, которые входят в область деятельности профессионального революционера. Работа эта не так легка, как может показаться. Это тяжелая работа. Не один, может быть, предпочел бы копать землю, чем вести такую жизнь, какую веду я. Но я не считаю, что занимаюсь самопожертвованием, нет. Просто кто-то должен этим заниматься, а поскольку охотников мало, то приходится заниматься мне.

Со дня ухода из института и до арестов, исключая три недели, что я провел за границей, улаживая книжные дела, я работал простым рабочим и жил на заработанные деньги. Мне хватало моего заработка — хотя и на убогую жизнь, но хватало, пока аресты не принудили меня оставить работу и скрыться от преследований, лишая меня заработка. От них-то и датируется моя *«жизнь за чужой*

счет». Несмотря на то что меня разыскивают и в Австрии, и в России, я ни на минуту не выезжал из края, ни на минуту не прекращал работать, правда, не молотом, а сердцем и головой. Думаю, что эта работа не менее серьезна, чем другие, и личность, занимающаяся ею, может без особых угрызений совести на какое-то время воспользоваться субсидиями. Мать может быть уверена, что это не жизнь сибарита, мягко говоря. Во-первых, сейчас нет работы, какая бывает зимой. Во-вторых, постоянные преследования вынуждают меня то и дело изменять фамилию, из-за чего я не могу работать ради куска хлеба.

На упреки, которыми меня осыпает мать, обычно не отвечают. Однако я решил забыть о них. Вскоре я смогу ей ответить, но сегодня не хочу, ибо нет сил писать то, что считаю необходимым. Самое лучшее доказательство — это письмо, где пишу то, чего никогда бы не написал...

Что же еще, дорогая Галя, сказать о себе? А то, что непрестанная борьба есть содержание моей сегодняшней жизни. Борьба с существующим порядком, с врагами и друзьями, наконец, с самим собой. Все, что у других вызывает умиротворение, для меня служит предметом борьбы, бичевания, страдания, мучения — себя и других. Я могу сравнить себя с человеком, которого разрывают на части. Как это на мне отразится — не знаю, я еще не чувствую себя уставшим, хотя бывают минуты, когда я думаю о смерти как о счастливом мгновении. И такие минуты бывают все чаще. Работа одна меня излечивает. Скажи маме, Галя, о чувствах человека, который ставит идею выше всего на свете, посвящает ей жизнь, а люди, от которых он вправе ждать понимания, упрекают его в желании жить за чужой счет! Я не требую абсолютной веры, но неужто всем своим поведением я не заслужил того, чтобы к чужим словам отнеслись более критически, чтобы меня попросили объясниться, прежде чем упрекать в подлости. Не знаю, как отнестись к этому. Чужие люди

зачастую не боятся доверить мне свою жизнь и судьбу, а родная мать видит во мне политического прихлебателя, который баламутит людей, чтобы выманить у них деньги, поскольку лень и бездарность не позволяют ему содержать себя! Что ж поделаешь, надо сносить самые горькие упреки и от своих, и от чужих, сохраняя хладнокровие и рассудок, ибо утрата их равнозначна утрате жизни, а последняя мне теперь не принадлежит...»

Постскриптум

Эдмунду Бжезиньскому придется заплатить за эту дружбу годичным заключением в тюрьме и высылкой в Швейцарию. Ему удастся закончить медицинское образование в Берне через четыре года, затем получить место врача в Болгарии, где он проведет много лет. В Галицию ему разрешат вернуться лишь в 1902 году. Он станет видным общественным деятелем, членом Польской социалистической партии, оставаясь главным врачом лечебницы на курорте в Закопане.

Умрет Эдмунд Бжезиньский в 1932 году, пережив своего друга на сорок три года.

Глава шестая.
ФИЛИПИНА

Июль 1879 года

«Оторвали от света и цели,
Заточили в темницу печали,
Где на окнах решетки чернели,
А в дверях два жандарма торчали...

И вокруг тишина... Узник взглядом
Почерневшие стены окинул.

Чей-то голос шептал ему рядом:
— Разве жив ты? Ведь жизнь ты покинул.

Здесь глубокая тишь, как в могиле.
Редко-редко услышишь тревожно
Лязг ключа, будто что-то забыли,
Топот мерный да шепот осторожный...

Захотелось открыть тетрадку этими стихами Юзека Плавиньского, написанными здесь, в Цитадели. Я часто их повторяю.

Следствие по нашему делу окончено. Это мы поняли по тому, что нам разрешили встречаться на прогулках и вообще ввели послабления. Теперь палачи, запершись в тиши кабинетов, будут готовить обвинительный акт, а потом...

Потом — Сибирь, надо смотреть правде в глаза.

Пока враги пишут свои умозаключения о нашем деле, я напишу свои. Как знать, может быть, не пропадут даром и послужат уроком новым борцам, которые придут вслед за нами.

На меня вышли, как я подозреваю, через Амалию Циндлер, записку которой отобрали у Яна Томашевского. В ночь на восьмое августа меня арестовали. Я уже была готова: все компрометирующие меня и других документы уничтожила, оставила лишь свой дневник с повседневными записями и альбом фотографий. На допросе сказала лишь то, что было заведомо известно жандармам: о службе в семье Варыньских, о своем учительстве. Признала, что писала письмо Альдоне Гружевской. Его мне показали.

Одна мысль меня жгла: где Людвик? Что делает? Не грозит ли ему скорый арест? Жандармы уже поняли, что за птичку они упустили в лице Яна Буха. Скоро понял и Плеве, когда удалось отождествить Буха и Варыньского.

Очень интересовался на допросах его личностью. Был со мною весьма корректен, на чувства не нажимал, больше упирал в логику. Ах, какой противный тип! Холодом от него веет, мертвечиной, а ведь он всего лишь на год старше меня. Все рядился в либерала. «Поймите нас правильно, мы не менее вашего желаем демократических установлений. Однако они должны совершаться в обстановке доверия. Дайте правительству минуту спокойствия, дайте ему время направить свои устремления в сторону добра и милосердия»... Другими словами, дайте время вас переловить и передушить, а там получите свободу!

Сестра Зоська примчалась из Киева, узнав о моем аресте. Привезла последний привет нашей матушки, которая скончалась незадолго перед этим. Зоська приняла ее последний вздох и напутствие ехать в Варшаву, помогать мне, чем может. Она быстро вошла в организацию и вместе с пани Клементиной Плавиньской, Паулиной и Еленой Кон поддерживала наши силы вестями с воли.

В конце сентября Зоська сообщила мне, что Людвик покинул Варшаву. От сердца отлегло... Спасся. Узнали мы, что он переехал в Галицию и там продолжает работу. За ним уехал Узембло, он же Бесядовский. Успела я написать Людвику последнее письмо, передала на волю, не знаю, получил ли...

Чтобы наши младшие товарищи знали — чем для нас был Варыньский, чем он остается для нас, я издалека начну, с того времени, как я познакомилась с ним на Украине, а было ему тогда семнадцать лет. Всего лишь пять лет мы были вместе, а кажется — целую жизнь!

Людвик меня сразу очаровал, у этого молодого человека несомненный талант очаровывать. Что же в нем главное? Пожалуй, голос. Слушать его одно удовольствие. Он бывает мягким и вкрадчивым, бывает звонким, металлическим, он поразительно меняет окраску, но всегда в нем звучит искренность. Притом Людвик не говорун в обще-

употребительном смысле этого слова. Он мыслит в своей речи, а не формулирует. А какие у него жесты! Ничего лишнего, но как красноречиво. Нет, положительно, в нем пропал великий артист. Тут я хотела бы оговориться: артистами в жизни часто называют людей, умеющих искусно играть, притворяться, Людвик же простодушен, доверчив и искренен. Он артист лишь в том, что его мысли, его желания и волнения всегда находят прекрасное, яркое отражение в голосе и жестах. Благодаря этому он — прирожденный агитатор. Я много раз испытывала ощущение на собраниях рабочих кружков, что люди, слушающие Людвика, часто видевшие его впервые, готовы были следовать за ним в огонь и в воду. Никогда не умничает, не бьет на внешний эффект, как Мендельсон, например, или Казик Длуский.

С незнакомыми сходится мгновенно. Даже те, кто по статусу своему находятся во враждебном лагере, делают для него исключение. Был такой Эдвард Гейслер, сын фабриканта, товарищ Людвика по институту. Он немного поиграл в социализм, когда был студентом, но потом, вернувшись в Варшаву, стал компаньоном отца, о социализме забыл, принялся с усердием за фабричные дела. Но с Людвиком не порвал. Людвик часто у него скрывался на улице Лешно. Там такой двор, полный подсолнухов; Людвик на ночь срывал две-три шляпки, полные семечек, и грыз их с наслаждением. Он так сумел расположить к себе старого Гейслера, что тот всерьез предлагал ему постоянное жилье. «Пану Людвику здесь будет очень удобно заниматься революцией, моя квартира вне всяких подозрений полиции».— «Пан Гейслер, я прошу вас не заблуждаться на мой счет,— со смехом отвечал Людвик.— Мы боремся за то, чтобы отобрать у фабрикантов их фабрики. Следовательно, и вашу тоже».— «Ничего, ничего,— кивал Гейслер.— Хорошим людям не жалко и отдать».

Но я вперед забегаю. А сначала была важная для него

поездка в Питер, где он окреп — и физически, и духовно. Собственно, наше общение идейное началось в Кривце, когда он приехал.

Надобно сказать, что Людвик вернулся из Петербурга сильно возмужавшим. Пушок над губою превратился в элегантные усики, Людвик обрел уверенность, хотя в нем еще сидел мальчишка. Я как-то не сразу обратила внимание на это, как вдруг однажды услышала от моей матушки огорошившие меня слова. Матушка давно и глубоко переживала мое затянувшееся девичество, считая себя виновною, ибо я была вынуждена помогать семье. Возвращение Людвика из Петербурга направило ее мысли в фантастическую сторону. Однажды она как бы между прочим принялась рассказывать за чаем об известной ей чете из Вильно, неких Грудзиньских, коих удивительная особенность заключалась в том, что жена была старше мужа на двенадцать лет, причем жили душа в душу. Я не сразу поняла, куда клонит матушка, заключила же она недвусмысленно: «Я это к тому, Филюня, что ты старше пана Людвика всего-то на девять лет...» — «Мамочка, что вы такое говорите?» — смешалась я. «Паулина, молодые разберутся сами»,— примирительно сказал отец, и я поняла, что он тоже был бы не против.

Годом раньше матушка сватала меня за Владислава Избицкого, чему он безусловно дал повод, слишком уж горячо посматривая на меня и выдавая свои чувства сбивчивой речью и густым румянцем на щеках. Но Владислав моложе меня лет на десять, хотя главное не в этом. Женщине, решившейся посвятить себя делу освобождения народа, нельзя думать о замужестве. Это несовместимо, а значит, нечестно. Тут никак не получится, чтобы и волки были сыты и овцы целы, хотя многие не разделяют моего взгляда, а есть и столь изворотливые пани, что ухитряются бурную социальную деятельность совмещать с видимостью семейного благочиния.

Коли зашла об этом речь, скажу — кого я имею в виду. Я говорю о пани Марье Янковской. Пускай она по статусу своему наш идейный товарищ, но ведь не только формальные убеждения имеют цену?

Я лучше вспомню наше знакомство с нею, чтобы все стало ясно. Году этак в семьдесят шестом, когда мы все разъезжались из Кривца — Людвик, Станислав, его брат, и я,— понадобились деньги для издания брошюры Лассаля, переведенной Гильдтом. Избицкий предложил спросить у пани Марьи.

Мы с Избицким отправились к Янковской, в особняк на Крещатике. Фамилию Янковских я слышала с детства как фамилию богатейших землевладельцев и промышленников. Доходили слухи и о жене Владислава Янковского — молодой, красивой и экстравагантной пани, происходившей из богатого рода Залеских.

Нас встретил лакей и проводил в роскошно обставленную библиотеку. Я подошла к полкам и остановилась в восхищении. Каких только книг здесь не было! Причем совершенно открыто между иными стояли запрещенные издания: стихи Мицкевича, герценовский «Колокол», те же Лавров и Бакунин... Я выразила свое недоумение Владиславу, он лишь усмехнулся: «Неужели ты думаешь, что жандармы сунутся в дом, где играет в вист сам киевский генерал-губернатор?»

Открылась дверь в глубине библиотеки, и к нам вышла хозяйка. Она была маленького роста, весьма изящная и подвижная. Красавицей ее я бы не назвала, черты лица показались мне мелковатыми. Она была в богатом вечернем туалете с драгоценностями. Это меня тоже удивило: неужели она хочет произвести впечатление своими нарядами? Объяснилось просто. Оказывается, в гостиной ее муж в это время принимал своих компаньонов-сахарозаводчиков, и пани Марья вынуждена была разрываться на два фронта. После взаимного представления она заго-

ворила о своем желании способствовать борьбе за социальное переустройство, о Международном товариществе рабочих, с деятелями которого она познакомилась, когда выезжала за границу на курорты Южной Франции и в Швейцарию, о своем участии в делах киевских революционеров... Все это говорилось этаким светски-демократическим тоном: немного усталости в голосе, хорошо деланная простота — не надо, мол, мною восхищаться, я делаю то, что могу,— и смешная конспирация. «Господин Зет, исполняющий обязанности секретаря-корреспондента польской секции Интернационала...» И тому подобное. Будто мы не знали, что эти обязанности исполняет Валерий Врублевский! Короче, эта женщина вызвала во мне определенную антипатию. Тут вошел лакей и почтительно кивнул ей. Она извинилась, сказав, что ей необходимо быть в гостиной, и упорхнула. Вероятно, ей доставляла удовольствие эта двойная игра. Через минуту тот же лакей принес на подносе бутылку «Абрау» и легкую закуску. Я не притронулась к этой подачке с барского стола. Владислав же невозмутимо налил шампанское в бокал и выпил. «Не усложняй,— улыбнулся он.— Всякое подаяние есть благо».

Через пять минут пани Марья вернулась. На щеках ее горел румянец. Разговор продолжался. Узнав о намерении Людвика выехать в Варшаву, она тут же предложила деньги. Я отказалась, заметив, что на личные нужды мы имеем средства, но организация сможет принять от нее взнос на издание пропагандистской литературы. Боюсь, мой тон ее насторожил или обидел. Прощалась она со мною сухо.

Людвик, однако, был весьма заинтригован моим рассказом о пани Марье и нашел, что я несправедлива к ней, когда я вскользь заметила, что она, вероятно, занимается революцией со скуки. Он сказал, что надобна большая самоотверженность и ловкость, чтобы ничем не выдать

себя, служа нашему делу. Насчет ловкости не спорю. Самоотверженности, однако, я не заметила, зато той самой жертвенности было предостаточно. Кстати, у пани Марьи двое сыновей, которые воспитываются свекровью и штатом гувернеров.

Через некоторое время Людвик познакомился с пани Марьей лично, и я заметила, что она произвела на него впечатление как женщина. Неудивительно, ему только что исполнилось двадцать, а она была светской львицей двадцати шести лет, привыкшей к исполнению любой своей прихоти. У Людвика вскружилась голова...

Из песни слова не выкинуть. Не хотела об этом писать, да придется. Зимою прошлого года Варыньский путешествовал вместе с пани Марьей Янковской. Не знаю, как он попал к ней в ходоровское имение под Киевом, об этом он мне не рассказывал. Но факт остается фактом: после Нового года Варыньский с Янковской появились во Львове и остановились в гостинице, назвавшись мужем и женою...

Я не знаю и знать не хочу, связывали ли их близкие отношения или же это было для конспирации, как принято у революционеров. Та же Вера Ивановна Засулич и Михаил Фроленко жили в деревне под видом мужа и жены, когда ходили в народ. Масса других примеров! Нет ничего чище отношений, связывающих мужчину и женщину в революционном деле. Но тут, к сожалению, другое. Эта дамочка потому так охотно сорвалась во Львов из своего имения, что ей надоело сидеть без общества, собственные дети ее мало интересовали, а тут возник решительный, веселый, энергичный Варыньский... Не сомневаюсь, что она была увлечена им. Он же... Не знаю. Не буду гадать. В двадцать два года можно быть влюбчивым.

Я не хочу уподобляться Лимановскому, который был шокирован тем, что они поселились в гостинице вместе,

не будучи мужем и женою, и все же... У меня остался неприятный осадок, когда я об этом узнала. Будь на месте Янковской любая другая женщина из нашей среды: Цезарина Войнаровская, Альдона Гружевская — я бы и думать не посмела об амурах. Короче говоря, они очутились во Львове, где в тот момент шел процесс бывшего товарища Людвика по институту Эразма Кобыляньского. Довольно странный тип, по рассказам. Я его лично не знаю. Он был арестован под именем Михала Котурницкого, так и проходил на процессе. Дело ограничилось высылкой из пределов Австро-Венгрии. Говорят, Эразм произнес довольно-таки зажигательное заключительное слово, Людвик мне пересказывал, не забыв прибавить, что он, когда ему придется сесть на скамью подсудимых, скажет еще лучше. Он по-мальчишески азартен, ему необходимо состязание.

Я думаю, он и в Варшаву рвался отчасти, чтобы испытать свои силы в состязании со сверстниками, с обстоятельствами, с самим собой. У меня же были иные причины. Темнота народа не давала мне покоя. Потому громадное воодушевление я испытала, сдав экзамены и получив звание народной учительницы.

Перед отъездом в Яниславице я по Варшаве бродила. Не могла надышаться ее воздухом, налюбоваться дворцами и садами. Ездила в Лазенки, гуляла в Саксонском саду. Ну, там слишком людно, как у нас на Крещатике. Выставка туалетов. Посматривали и на мое строгое платье, пошитое Зоськой. Молодые господа в цилиндрах заигрывали, обращались по-польски: «Не нуждается ли пани в услужливом гиде?» Я отрицательно качала головой. Говорить старалась поменьше. В первые же дни на родине я обнаружила огрехи в своем польском языке. Вернее, мне об этом сказали, а потом я сама стала замечать. Я польский прекрасно знала, в доме всегда говорили на родном языке, но произношение хромало. Вокруг всегда


PROLETARYAT
ORGAN
МЕНДЕЛЬСОН

говорили по-русски, по-украински. После я этот недостаток исправила, когда поселилась в Яниславице...

Мелочь, казалось бы, а как она нам мешала! Я говорю о поляках, выросших в России и на Украине. Таких в нашем движении много. Тот же Людвик Варыньский, Олек Венцковский, Длуский, Мондшайн, Цезарина Войнаровская... У всех поначалу был заметен легкий русский акцент. Цезарина здесь выделяется: она польский знает попросту плохо и часто попадает в смешные ситуации. Уже здесь, в тюрьме, однажды жалуется: «Ох, как у меня спинка болит!» По-польски, разумеется. Понятное дело, я прихожу в недоумение, поскольку «спинка» — это «заколка» по-польски. Какая заколка болит у Цезарины? Как она может болеть? Потом догадалась: «спинка» — это по-русски! Спина болит! Смеялись ужасно...

Смех смехом, но как пропагандировать среди польских рабочих, если у тебя заметен русский акцент? Неприязнь к «москалям» огромная, все ведь помнится — и тридцатый, и шестьдесят третий годы. В школах католический закон божий по-русски преподносят! Как войти в доверие к рабочему? Наши «патриоты», вроде Адама Шиманьского, этот пунктик всячески использовали: «Не слушайте социалистов, они москали!» Людвик с самого начала себя правильно повел. Не стал играть на национальных чувствах. У польского и русского рабочего один враг — царизм и буржуазия. Польский и русский рабочий — братья! Польский и русский революционеры — товарищи по оружию!.. И поняли прекрасно! Классовое сознание выше национального. Правда на любом языке одна и та же. Главное наше достижение — не только несколько сотен организованных рабочих, но и дух интернационализма, который удалось в них вселить. Людвика Варыньского заслуга.

Так мы и трудились: Варыньский в Варшаве, я в Яниславице. Поначалу у обоих не ладилось. Достаточно пред-

ставить себе полный класс ребятишек — разношерстных, разновозрастных — кто из зажиточной семьи, кто из бедняков. Одни умеют уже читать и считать, другие даже букв не знают. Я растерялась. Как их учить? К кому обращаться — к наиболее знающим или, наоборот, к слабым? Раньше у меня были ученики из дворянских семей, дети помещиков, два-три человека в семье, не больше. Надо было найти свою систему в новых условиях. Необходимость заставила меня ввести новый метод преподавания. Я решила строить программу, ориентируясь на способных, сильных учеников, но заранее настраивать их на то, что они должны будут помогать слабым, учить их. Так что я одновременно преподавала и предмет, и метод. Я задавала на дом уроки: научиться самому и научить отстающего товарища. К моей радости, дело пошло. Вскоре у меня уже было пять-шесть способных учеников, которые постоянно занимались с другими. Я убедилась, что мой метод дает больше, чем обучение. Он воспитывает. Дети сдружились, они перестали быть сами по себе. А как мои маленькие учителя переживали за своих подопечных! На это стоило посмотреть. Через год я прочитала доклад на семинаре народных учителей в Варшаве: «Метод взаимного обучения». Встретили с интересом, предлагали место в городе. Но я вернулась в Яниславице, в родную уже, заново отремонтированную школу. Когда в конце августа вышла на перрон в Скерневицах, меня встречала толпа ребятишек с полевыми цветами. Слезы сами покатились. Не знаю ничего, что приносило бы такое удовлетворение, как работа учителя. И потом, в рабочих кружках, не раз испытывала это чувство.

Преподавала по-польски. Знала, что нарушаю инструкцию, но верила, что никто не выдаст. Нынче в наших школах польский язык преподают как иностранный, все объяснения по-русски. Крестьянские дети русского не знают, что им мои объяснения? Начальство же требует

прежде всего знания русского, государственного языка. Труднее всего было убедить детей и их родителей, что знание русского языка им необходимо, что это не злая воля царской администрации, а насущная потребность в многонациональном государстве, где официальным языком является русский. Злая прихоть — это преподавание всех предметов на русском. От этого дети не станут лучше знать государственный язык. Я в этом убедилась. Появляется ненависть к нему. Преподавать нужно на родном языке. Когда к весне в школу прибыла комиссия, мои ребятишки поразили чиновников знанием русского языка. Ну, как известно, победителей не судят, я удостоилась похвалы. Правда, я не сообщила им, что веду предметы по-польски, а русский преподношу как необходимый иностранный язык...

И все же я вроде как обманывала себя, теперь-то я понимаю. Говорила себе, что хочу учить крестьянских детей, быть полезной своему народу... Что может быть прекраснее, когда ребенок начинает мыслить — сначала робко, как птенчик из яйца проклевывается, потом все уверенней — глядь, и вышел человек! И ты знаешь, что эта мысль пробудилась твоей волей и старанием. Обратно в скорлупу ее уже не загонишь. Не часто это бывает, иных учишь-учишь, а все без толку. Знать, кажется, знают, а думать не умеют. А когда человек думать начинает, он словно во второй раз рождается. Вот я и хотела быть повивальною бабкой при этих родах. Своих детей бог мне не дал...

И все же что-то еще меня толкало. Чем больше я Людвика уговаривала, то есть уговаривала себя, что нужна кропотливая работа, просветительство, терпение... плоды, мол, мы не увидим, наше дело — старательно окучивать грядки; все по Петру Лавровичу — тем сильнее хотелось и другого дела. Скорого, азартного, боевого. Человек, видно, так устроен, что ему непременно надо

увидеть плоды. И раз мы уже знаем, что социальная революция неизбежна, то почему же такая несправедливость? Мы, которые первыми в нее поверили, первыми стали сознательно приближать,— мы-то ее и не увидим! Приятно, конечно, сознавать, что наши старания не пропадут даром, а имена, может статься, не будут забыты. Но как хочется увидеть! Людвик убежден, что увидим, ему легче.

Я часто о человеческом предназначении думаю. Есть ли оно, а если есть — у всех ли людей? Про себя не знаю, но Людвик обладает предназначением. У него «на лбу написано», говоря по-русски. Ему предназначена миссия историческая, но совершить ее в одиночку человек не может. Я имею в виду — практический человек, не теоретик, вроде Лаврова. А Людвик — человек практики. Человек предназначения, как большое светило, втягивает в свою орбиту малые планеты. Вот и я — одна из малых планет. Если у меня было предназначение, то тихое и скромное — учить детей. Я умела и любила это делать. Но он сорвал меня с орбиты, и я с радостью покорилась.

Почему я решила, что он обладает предназначением? Ведь оно — от бога... Кажется, я умею понимать замыслы папа бога.

Что же правильней: следовать своему скромному предназначению или помогать личности сильной и яркой выполнить его историческую миссию? Вопрос непростой. Я сгорела, как мотылек на огне, а огонь зажег Людвик. Я ни о чем не жалею, хотя нет-нет и мелькнет воспоминание о Яниславице и тех детишках, что не дождались меня осенью в школьном классе.

Уже в тюрьме я узнала, что крестьяне из Яниславице и окрестных сел, чьи дети ходили в мои классы, обратились за меня с ходатайством к прокурору, хотели вызволить. Они искренно полагали, что произошла ошибка. Никак им было не совместить в уме, что их скромная

учительница бегает в Варшаве по тайным кружкам со свертками запрещенных книжек.

Еще на воле мы иной раз мрачно шутили, собираясь на сходки, о прелестях Десятого павильона, коих нам не миновать. Действительность оказалась ужаснее самых скверных предположений.

Началось следствие, мелькали исписанные листы протоколов, майор Черкасов потирал руки, предчувствуя повышение в чине, товарищ прокурора был внешне бесстрастен. Этот Плеве — удивительное в своем роде порождение российской государственности. На допросах любил подчеркнуть свою беспристрастность, предстать пред нами с повязкой Фемиды на глазах. «Для меня нет ничего выше интересов государства!» — об этом говорила каждая складка отутюженного сюртука, каждая пуговица. Он производил впечатление своею внушительностью, так что слабых одолевал испуг. Слабый вдруг прозревал, понимая, какой силы машину он пытался сокрушить мирной пропагандой.

Плеве воспользовался отсутствием прокурора Трахимовского летом и начал наше дело с рвением, долженствующим не оставить ни у кого сомнений в его преданности государю. В Петербург летели реляции, одна другой страшнее. Скромному товарищу прокурора варшавской окружной судебной палаты удалось обнаружить клубок свободомыслия! Далее дело уже нельзя было спустить на тормозах. Генерал-губернатор граф Коцебу, судя по всему, был не совсем доволен стараниями своего чиновника. Но чиновник метил высоко, он не хотел всю жизнь служить в провинции. Он готовил себе повышение ценой наших судеб. И это ему удалось. Сейчас он уже в Петербурге исполняет обязанности прокурора столичной судебной палаты, а ему лишь тридцать три года. Мерзавец далеко пойдет!

Следствию удалось выиграть первый тур, пока мы

приходили в себя, пока мы организовывались, чтобы не противостоять машине поодиночке. Наше спасение заключалось в знании, а знание — в весточках, которые нужно было научиться подавать друг другу.

Мы начали осваивать тюремную науку. На изучение азбуки стука мы потратили не так уж много времени, на овладение скорописью потребовалось больше. У нас есть виртуозы стука — Альбин Ковальский, братья Грабовские, разговоры которых напоминают трескотню сорок. При их сноровке на обмен мнениями уходит едва ли больше времени, чем при обычном разговоре.

Вскоре мы уже знали — кого сегодня допрашивали, какие задавали вопросы, что нового стало известно следствию. Наши мучители поняли это по согласованным ответам на допросах и принялись препятствовать нашему общению, однако это было непросто. Следовало посадить в каждой камере по жандарму, но кто тогда будет ловить наших товарищей на воле?

Дальше — больше. Перестукиваться можно было соседям, когда же хотелось связаться с дальним товарищем, приходилось организовывать цепочку стука. Мы задумались о почте. Каких только проектов не предлагали изобретательные головы! Вацлав Серошевский пытался приручить голубей, садившихся иногда на карнизы за решеткою окон камеры. Однако голуби оказались несговорчивыми, они летали совсем не туда, куда хотелось Вацлаву. Воздушный путь себя не оправдал, и мы устроили подземный. Оказалось, что стены между камерами не слишком толсты и между кирпичами, в особенности внизу стены, возможно проточить отверстия. Мы занялись этим с тою же пылкостью, с какою несколькими месяцами ранее организовывали рабочие кружки. Отверстия проделывались обломками столовых ложек. Какова же была моя радость, когда в один прекрасный день я проделала «туннель» к моему соседу Юзефу Плавиньскому и в па-

граду получила от него свернутый в трубочку клочок бумаги, на котором были написаны стихи! Сатрапы не рискнули лишить нас бумаги и карандашей, на свою же голову.

Вскоре в каждой камере образовалось почтовое отделение. Письма путешествовали туда-сюда, читались всеми по пути, делались пометки и резолюции. Перед приходом начальства или унтеров с обедом «туннели» тщательно замазывались хлебным мякишем и припудривались пылью. Обычно они располагались у самого пола, где-нибудь за ножкой стола. Трудно представить, как эти маленькие изобретения поднимали наш дух!

Не помню, кому принадлежала следующая идея. Кажется, Серошевскому или Даниловичу. Идея остроумная, но несколько неприятно пахнет. Впрочем, это только для тех, кто не хлебал тюремной баланды. Дело в том, что «туннели» могли быть просверлены далеко не между всеми камерами. Расположение камер в Десятом павильоне таково, что сообщаться «туннелями» могли несколько изолированных между собою групп. Нам же хотелось объединиться всем.

Итак, Серошевский и Данилович открыли новый способ переписки. Почтовым отделением стало служить... общее отхожее место. Надо сказать, что не все правильно восприняли эту идею. Я говорю о мужчинах. Женщины оказались без предрассудков, возможно, они больше соскучились по переписке. Так или иначе, мы заготовляли письмо выбранному адресату, тщательно заворачивали его и прикрепляли к шпильке или шнурку. После этого следовал вызов унтера. Принято было стучать ногой в дверь. Через минуту приоткрывался «юдаш» — дверной глазок, а в нем показывалось око стража. Мы пользовались законным правом потребовать препровождения в известное место. Там же проворно прикрепляли письмецо с нижней стороны доски, после чего возвращались в

камеру, стуком оповещали адресата о том, что письмо отправлено. Когда вызванный товарищ в сопровождении стража проходил по коридору к «почтовому отделению», это был триумф!

Случалось, нас пытались поймать за отправкой почты, и тогда письма летели туда, откуда их не рисковали доставать даже самые рьяные ищейки.

Довольно скоро, уже к началу семьдесят девятого года, мы вновь почувствовали себя сообществом борцов, живущих одними мыслями и настроениями. А беззаветная преданность наших близких позволила нам ощутить живые связи с волей.

Варыньский интересовал нас больше всех. Из тюрьмы мы продолжали следить за его деятельностью. Каждая весточка о нем передавалась по тюрьме. После своего отъезда из Варшавы он на некоторое время выпал из нашего поля зрения. Ходили даже слухи, что он арестован на границе. Как вдруг в один прекрасный день выяснилось, что Людвик в безопасности, в Галиции, откуда прислал письмо нашему мучителю Плеве! Очень на Людвика похоже, он всегда любил дразнить гусей.

На одном из допросов, ближе к зиме, показал мне товарищ прокурора конверт. «Узнаете почерк?» Смотрю, матерь божья, рукой Людвика на конверте написано: «Варшава. Улица Длугая, 7. Г-ну Плеве». По-польски, разумеется. «Ах, мальчишка!» — думаю, а сердце радуется. Дорого бы я дала, чтобы узнать, о чем написал Людвик нашему следователю! На марке был штемпель Кракова. «Так узнали или нет?» — «Да, пан прокурор. Это почерк Варыньского»,— сказала я, зная уже, что Людвик в безопасности. «Очень скоро вы будете иметь возможность увидеться здесь, в моем кабинете».— «В этом я сомневаюсь».— «Не сомневайтесь, у нас с австрийской полицией полный контакт».

Зоська сообщила с воли — тогда она еще не была аре-

стована,— есть возможность связаться с Людвиком! В Краков поехала Паулина Кон, теща Херинга. Отчаянной самоотверженности женщина, кстати, абсолютно равнодушная к социализму, зато истая патриотка. Я написала Варыньскому письмо. В феврале от Зофьи пришла записка: «В Кракове арестованы Л+М+Б». Инициалы и место ареста были зашифрованы как обычно — шифром «Утренней песни». Мы поняли: Людвик, Мень и Беся в руках австрийской полиции...

Я молю бога за Людвика. Из краковской тюрьмы у него два пути: либо с нами в Сибирь, если австрияки выдадут его русским властям; либо за границу после отсидки в Галиции. И как бы страстно мне ни хотелось его увидеть, я предпочту расстаться с ним навсегда, лишь бы минула его Сибирь. Я же вряд ли вернусь оттуда, ибо силы мои на исходе...»

Постскриптум

Предчувствие не обманет Филиппину. Через год с небольшим, в декабре 1880 года, она умрет в Красноярске от сердечной болезни, пройдя по этапу несколько тысяч километров вместе со многими своими товарищами, сосланными административно по «делу 137-ми». Перед ссылкой, уступив уговорам друзей, она обвенчается в тюремной церкви с врачом Михалом Даниловичем, чтобы не остаться без помощи на поселении «в отдаленнейших местах Восточной Сибири», как сказано будет в административном приговоре.

Людвик Варыньский посвятит ее памяти статью, начинающуюся словами: «Счастливым называют того, кому звезда славы светит после смерти...»

Глава седьмая.
ЭРАЗМ

Апрель 1880 года

В глубине души Эразм Кобыляньский считал Галицию своею революционной вотчиной.

Петербург — не то. Там сейчас разворачивались такие дела, что Кобыляньскому не на что было рассчитывать — масштаб, увы, не тот! Он сам прекрасно понимал, что рядом с Михайловым, Желябовым, Зунделевичем, тем же Игнацием Гриневицким, однокашником по Технологическому институту, ему делать нечего. Ни умом, ни образованностью не вышел. Да и зачем ему, по чести говоря, путаться в русских делах! Прав Юлиан, с которым они заканчивали реальное училище в Ровно: «Тебе, Эразм, надо возвращаться до краю...» Однако какой край иметь в виду? Их ведь целых три: Познаньский, Галиция, Королевство... Эразм выбрал Галицию. Вернее, так получилось, когда случай свел его во Львове с Иваном Франко и другими товарищами-малороссийцами. Кроме того, во Львове жил Лимановский, а эта фигура для Кобыляньского всегда значила немало.

Потому он, высланный по львовскому процессу в начале семьдесят восьмого года из Галиции, весьма обрадовался, когда через несколько месяцев его путь повторил старик Болеслав. Старику было всего сорок три, но он давно уже выглядел и слыл патриархом социалистического движения. Эразм соболезновал, конечно: нелегко в почтенные годы срываться с места, покидать родину; неужели австрияки всерьез полагают, что присутствие Лимановского во Львове грозит имперской власти? Но тайком радовался: теперь он в Женеве не один, глядишь, соберется компания, затеется дело. Кобыляньский компании любил, еще в Петербурге был членом всех кружков, о существовании которых удавалось узнать.

Собственно, компания была уже налицо. Подоспели высланные из Австрии Мендельсон и Гильдт, попавшись на границе с транспортом литературы; к ним прибился моложавый, по виду совсем мальчик, Дикштейн; появился элегантный Казимеж Длуский. Эразм этих молодых людей знал понаслышке, лично знаком не был. Потом уже Лимановский всех свел, через него перезнакомились; Мендельсон и Длуский тут же предложили создать социалистический польский орган в эмиграции.

Кобыляньский был уклончив, посетил варшавских эмигрантов, потом продолжал поддерживать отношения лишь с Лимановским. Причина проста была: недолюбливал евреев, тем более что очень уж они резво принялись поносить национальные чувства, патриотизм польский... Эразма это коробило. Со стариком можно было поговорить о польской древности, вспомнить Костюшко и Лелевеля, сраженье при Грохове, славные и горькие дни январского восстания. Лимановский никак не одобрял отделение национальной идеи от социализма, проповедуемое Мендельсоном и его друзьями.

Из Варшавы доходили вести об оживлении пропаганды, кружках, петербургских и киевских эмиссарах, слетевшихся в Королевство, как воробьи на пшено. Все чаще мелькала фамилия Варыньского. Эразм говорил небрежно: «Я этого хлопца учил социализму еще в семьдесят четвертом году, в Петербурге...» Забывал добавить, что и сам тогда учился у Олька Венцковского, а потом в русском кружке Швецова.

По-настоящему обеспокоился Эразм, когда пришло известие об обыске в квартире брата, которую тот снимал с Варыньским и Томашевским, и о побеге Людвика Кобыляньского из Варшавы. Потом уже, много позже, узнал Эразм, что младший брат, отсидевшись в деревне, двинулся в Россию и пристал к самому радикальному крылу русских социалистов-революционеров. Вскоре уже

участвовал в покушении на харьковского губернатора Кропоткина, был подручным Григория Гольденберга в этом деле. Доходили слухи об участии брата в соловьевском покушении на царя, а потом — арест, как водится, с вооруженным сопротивлением.

Но это — позже, уже в семьдесят девятом году. А тогда, осенью семьдесят восьмого, Эразму сказали, что Варыньский, опасаясь ареста, перебрался в Галицию. Вскоре и оттуда стали приходить вести о нелегальных кружках и сходках у печатников Халасиньского и Яблоньского. Кобыляньский хорошо знал этих рабочих, потому испытал нечто вроде ревности.

Он тут же ринулся в Краков. В его натуре была грубая страстность, особенно при уязвленном самолюбии. Как?! Этот мальчишка Варыньский смеет хозяйничать в Галиции, когда там еще не остыли следы башмаков Эразма! Враждовать с Варыньским он не собирался, какникак они делают одно дело; он намеревался просто прийти и возглавить организацию по праву старшего, более опытного, судимого здесь, наконец! Он нисколько не сомневался, что так будет, едва он нелегально пересечет границу с тем же подложным паспортом на имя Михала Котурницкого.

Но ничего не вышло. Он понял это уже в краковской тюрьме, сидя с Людвиком в одной камере, а тогда ему показалось, что цель достигнута. Варыньский встретил его по-дружески, тут же ввел в курс дела, снабдил явками и фамилиями лиц, пользующихся доверием. Был предупредителен и даже почтителен. Сам вспомнил о львовском процессе, на котором побывал два года назад. С восхищением отозвался о заключительной речи Эразма. Тот подобрел, растаял... и не заметил, как сам, по своей воле, втянулся в круг дел Варыньского, а собственных не завел. Лихорадка была жуткая, об этом как-то не думалось тогда — чье дело делаешь, кто главный — но потом он во всем

разобрался на досуге. Главным все же был Варыньский. Впрочем, другие, не менее умные люди, думал Эразм,— они ведь тоже подчинялись Варыньскому? Взять хотя бы Уембло. Просто Людвик умеет хорошо ладить с рабочими, красно говорит, успокаивал себя Эразм. Ну да бог с ним! Главное — дело.

Однажды, незадолго до ареста, осторожно спросил Варыньского о пани Марье, которая навещала его в тюрьме два года назад, назвавшись невестой Эразма. Людвик пожал плечами; с пани Марьей он после того не встречался. Кобыляньский вздохнул с облегчением: его предположение оправдалось! Еще в Женеве он спорил с Лимановским, утверждая, что пани Марья приезжала во Львов с Варыньским исключительно для конспирации. Адюльтер исключен, пан Болеслав, вы посмотрите на них: пани Марья — светская богатая дама, красавица в зрелых летах, а Варыньский — сопляк! Я еще понял бы, говорил Эразм, если бы она влюбилась в меня...

Старик мелко хихикал. «Пан Эразм весьма наивен. Прекрасная черта для мужа, но не для революционера!»

Теперь Кобыляньский убедился, что был прозорлив, как никто. Больше о пани Марье с Варыньским не разговаривали.

Зато много говорили о методах работы. Уембло настаивал на полном использовании легальных возможностей. Людвику, похоже, это было неинтересно, он создавал конспиративную организацию по образу и подобию варшавской. Возможно, если бы он пошел по легальному пути, их бы не арестовали. Но всякая конспирация подозрительна. Засыпались в начале февраля, когда Варыньский попытался напечатать в типографии Побудкевича на Главном рынке брошюру Вильгельма Либкнехта «В защиту правды». Людвик долго объяснял управляющему типографией Антонию Кожаньскому, что место издания и наименование издательства печатать не сле-

дует. «Почему так, проше пана?» — «Так надо»,— уклончиво ответил Людвик. Не мог же он сказать, что брошюра предназначена для нелегальных варшавских кружков!

Кожаньский донес, и восьмого февраля их всех взяли на Флорианьской: Людвика, Юзефа, Иеронима Трушковского, с которым Варыньский был знаком еще по белоцерковской гимназии, и Эразма.

В тюрьме окончательно разъяснилась роль Варыньского. Разъяснили сами жандармы, назвав будущий процесс «делом Варыньского и 34 его сообщников». Кобылянский опять испытал легкий укол самолюбия, увидав папку, которую комиссар полиции Костшевский вынимал из шкафа, а на папке — название дела. Но так, скорее всего, получилось случайно; не могли же, в самом деле, жандармы заранее знать — кто какую роль играл в организации!

Краковская тюрьма постепенно пополнялась узниками: привезли из Вены Эдмунда Бжезиньского, из Лейпцига — Станислава Варыньского. Мендельсон приехал сам из Женевы уже осенью и тоже попал за решетку. Эразм ощутил злорадство. Не умеешь конспирироваться — сиди в Женеве, издавай эмигрантский журнал! Чего тебя понесло в лапы полиции?.. Кстати, журнал-таки Мендельсон и компания начали издавать. Называется «Рувность», то есть «равенство». Лимановский вошел в редакцию. Первый номер попал в тюремные камеры, социалисты его жадно читали. Эразм заметил недовольство Варыньского, когда тот прочитал напечатанную там программу варшавских социалистов, которую год назад составили совместно Варыньский, Узембло и Венцковский. «Рувность» объявила местом создания программы почему-то Брюссель. Никто из варшавян-социалистов никогда не был в Брюсселе.

Людвик неохотно объяснил, что расстроился не поэто-

му. Брюссель — для конспирации, чтобы жандармы ломали головы. Странная конспирация, подумал Эразм. Главное, что текст исказили весьма существенно. В частности, выбросили все упоминания о национальном вопросе.

— Ты им доверяй, доверяй больше! — оживился Эразм. — Они известные космополиты!

— Откуда известно? — холодно спросил Людвик.

Кобыляньский понял, что сосед по камере не желает обсуждать эту тему.

Людвик в тюрьме то загорался деятельностью, когда затевалось реальное предприятие — тот же выпуск «Скрежета узника» или голодовка с требованием скорейшего суда, которую они провели в ноябре семьдесят девятого,— то надолго угасал, уходил в себя, ничем не интересовался и не отвечал на перестукивания. Эразму чудилось, что Варыньский тяготится его постоянным присутствием. Неужели Эразм много говорит? Он просто делится революционным опытом, рассказывает случаи из практики, характеризует революционеров... Варыньский поддерживал разговоры неохотно, потом стал просить у начальства, чтобы его перевели в одну камеру с братом. Эразм обиделся, хотя, если смотреть здраво, какая может быть обида? Братья давно не встречались, вполне естественное желание.

С окончанием следствия просьбу удовлетворили, и Эразму достался другой сосед — Уэмбло. Тот оказался еще хуже Варыньского, ибо взял за моду высмеивать Эразма по любому поводу, вернее, подшучивать — и весьма ядовито. Эразм багровел, на его грубом лице, покрытом рыжеватой щетиной и веснушками, выступали от возмущения капельки пота. Все умниками стали, не подступись! Без году неделя в социальной революции!

Как вдруг первой весенней пташкой в Краков примчалась Марья Янковская под фальшивым паспортом на

имя Эммы Белявской. И снова, назвавшись невестою Эразма, потребовала у властей свидания. Эразм был на седьмом небе! Никто ее не обязывал вновь играть ту роль, что она приняла на себя два года назад. Значит, сама пожелала. Идя на свидание, Эразм тщательно побрился и, переломив гордыню, попросил у Юзефа одеколон. Узембло и в тюрьме за своею внешностью следил, брился регулярно, не забывал о прическе. Юзеф одеколоном поделился, но не преминул заметить, что для пани Янковской нужен другой сорт, желательно из Парижа. Она, видите ли, привыкла к французской парфюмерии. И неудивительно, у нее муж — миллионер, может себе позволить...

Эразм, стиснув зубы, втирал одеколон в покрасневшую от злости шею.

Марья впорхнула в комнату для свиданий, как легчайшее облачко из парчи, кружев, перламутровых пуговок и атласных ленточек. У Эразма в глазах помутилось. Перед ним была сама весна, хотя на дворе стоял февраль. Нимало не смущаясь дюжего жандарма в каске, она бросилась к Эразму и с ходу поцеловала в губы, обвив тонкими и нежными руками. Кобыляньский вынужден был сесть на скамью, поняв, что ноги его не держат.

— Михал, милый мой...— пани Марья присела рядом, быстрым движением поправила прядь волос на лбу Эразма, погладила по щеке.— Бедный, как тебе тяжело. Скорее бы это кончилось!

Она проговорила это с таким состраданием, так искренне, что Эразм не выдержал — плечи его затряслись, он уткнул свою большую нескладную голову в кружевное плечико пани Марьи.

— Ничего, все будет хорошо. Мы опять будем вместе,— приговаривала она, нежно промокая платочком слезы, катящиеся по щеке Эразма.

— Я люблю тебя, Марья,— прошептал он глухо, и

она подхватила с готовностью, даря отдохновение и надежду:

— Я люблю тебя, Михал...

Он возвратился в камеру потрясенный, слабый, с трудом волоча плетеную корзинку, наполненную яблоками, булочками, обернутыми в вафельные салфетки... Узембло не осмелился на этот раз отпускать свои шуточки. Эразм рухнул на койку лицом к стене и лежал без движения час, снова и снова вспоминая легчайшие прикосновения пальчиков пани Марьи, ее теплые губы, тонкий аромат духов.

Потом он с щедростью счастливого жениха рассылал по камерам гостинцы, принесенные невестой. Стражники были милостивы. Сквозь стены ползли по тюрьме слухи: тук-тук, тук-тук-тук... «К Котурницкому приехала невеста пани Марья, у них было свиданье, Михал потерял рассудок от счастья...»

Из дальней камеры, от Варыньского пришел запрос стуком: «Михал, спроси у Марьи, как дела в Варшаве? Давно нет вестей. Людвик».

Уже на следующий день, после свидания, Эразм, вооружившись ложкой, прилежно стучал в стену: «Убили в тюрьме Юзефа Бейте. Серошевский и Лянды осуждены военным судом на поселение. Филипина хворает, лежит в тюремном госпитале. Плох Юзеф Плавиньский. Рабочие кружки разогнаны. В Питер послано на высочайшее утверждение административное решение по «делу 137-ми»...»

«Спасибо, дружище»,— передали в ответ от Варыньского.

В феврале, шестнадцатого числа, в Краковском дворце правосудия начался процесс. Теперь Эразм мог каждый день, сидя на скамье подсудимых с товарищами, видеть Марью на местах для зрителей в зале, кивать ей, делать тайные знаки. Она отвечала сдержанно, что он объяснял

застенчивостью, на свиданиях же раз в три дня не скрывала своих чувств. Эразм дрожал, когда она впивалась ему в губы.

Обессилев, он повисал на ней — мощный, неуклюжий, не привыкший к ласкам, сграбастав ее маленькую фигурку большими сильными лапами, как медведь. Если бы ей в тот момент грозила опасность, он без колебаний умер бы за нее. Австрийский жандарм не выдерживал этого зрелища, отворачивался. Эразм шептал Марье все нежные слова, которые знал; порою слов не хватало, и он мычал ей в ухо что-то ласковое и протяжное, теряя силы от неутоленной любви.

Она мягко, но решительно отодвигала его, шептала строго: «Передай Мендельсону, что не следует произносить фамилию Бружаньского. Слушай внимательно: письмо Витольда Пекарского отцу попало в руки жандармов. Пусть сделает выводы. Теперь информация для Варыньского: граф Коцебу через посла Новикова в Вене требует от австрийских властей выдачи Людвика после процесса...» Эразм кивал и самозабвенно мычал, утыкаясь в шейку Марьи, пахнувшую жасмином.

Вечерами он с гордостью доводил до товарищей сведения, полученные от пани Марьи. На вопрос Уэмбло, как протекает их конспиративный роман, отвечал, что здесь нет никакой конспирации, после процесса они поженятся. Пани обещала.

Уэмбло хохотал, как помешанный.

Утром, входя в залу суда, Кобыляньский первым делом бросал взгляд в третью ложу бельэтажа и видел там милое родное лицо пани Марьи, кокетливо выглядывающее из-за полураскрытого веера.

Процесс набирал ход, как тяжелый рыдван, обремененный свидетелями, вещественными доказательствами, апелляциями обвинения и защиты, толками и пересудами краковских обывателей. Чтение обвинительного акта за-

няло два дня. Прокурор Брасон — пузатый человечек на кривых ножках с непропорциональной фигурой и важным лицом — старался представить обвиняемых злостными ниспровергателями общественных институтов, подготовлявшими кровавую революцию. Опереточный вид прокурора не способствовал его популярности среди публики, а когда в толпе стали одна за другой появляться острые карикатуры Витольда Пекарского, прокурор вовсе сделался посмешищем. Вызов свидетелей превратился в унылую формальность, интерес к процессу упал, пока не пришел черед допроса обвиняемых.

Первым отвечал Варыньский. Эразм не без ревности заметил, как превратилась в слух пани Марья, как оживились краковские барышни, взглядывавшие на молодого, высокого, красивого социалиста с несомненной симпатией.

Ревность боролась с восхищением. Кобыляньский не мог не отдать должного аргументированным, точным, исчерпывающим ответам Людвика на вопросы обвинителя. Эразм не сразу заметил, что Варыньский строит свои ответы таким образом, чтобы пункт за пунктом изложить Брюссельскую программу «Рувности», а точнее — Варшавскую программу, созданную при его участии два года назад. «Социализм, прежде всего, есть результат научной критики общественного устройства, его нельзя рассматривать в отрыве от научной стороны. Практическое воплощение его основ зависит от политических условий в данном крае; однако, поскольку общественное устройство везде имеет одинаковый характер, а именно — характер превосходства капитала над трудом, то и социализм во всех странах имеет примерно одинаковый вид...»

Людвик весьма тонко и умно переводил разговор на научную основу, говоря именно об изменении общественных условий, но оставляя втуне вопросы политической борьбы. Он выбивал у обвинителя почву из-под ног: кто

же осмелится протестовать против общественного прогресса? Кто посмеет спорить с констатацией тяжелого положения рабочих?

Кобыляньский видел, как Марья аплодирует Варыньскому, и даже тут не мог удержаться от восхищения: как много дала ей природа, подарив, кроме красоты и женственности, ум, способный вникнуть в тонкости политической экономии, где сам Эразм чувствовал себя не очень уверенно.

На следующем свидании Марья сунула на дно корзинки с лакомствами «Газету Народову», где черным по белому было напечатано, что «защита Людвика Варыньского позволила познакомиться всей аудитории с человеком чрезвычайно интеллигентным, обстоятельно знающим политическую экономию, остроумным и красноречивым...»

«Все равно пани Марья выбрала меня...» — подумал Эразм, надув губы, как ребенок.

Кобыляньский был опрошен после Узембло. Ему ставилось в вину незаконное появление в Австрии, откуда он уже однажды был выслан. «Как социалист, я имею полное право появляться в любом месте Европы, где есть потребность в моем уме и руках!» — довольно напыщенно сказал он. Марья почему-то закрылась веером.

На процессе был объявлен двухнедельный перерыв в связи с пасхальными каникулами. Марья исчезла, по-видимому, отправилась к мужу в Киев улаживать бракоразводные дела,— решил Эразм. Перед отъездом он твердо заявил ей о намерении жениться сразу, как только отбудет срок, определенный приговором. «Конечно, конечно...» — поспешно улыбнулась она, косясь на жандарма. Эразм тосковал, не находил себе места в камере. Узембло с самым серьезным видом расспрашивал его — где они будут жить с пани Марьей и много ли намерены иметь детей. Кобыляньский отвечал сдержанно и с достоинством: жить будем в Женеве, а детей — как господь даст...

Наступил апрель, вместе с ним запахло концом этого двухмесячного процесса. Все устали — и судьи, и публика, и подсудимые. В прессе все чаще раздавались возгласы: а за что, собственно, судят этих симпатичных молодых поляков? Общественное мнение окончательно склонилось в их пользу.

В день вынесения приговора во дворец правосудия трудно было пробиться. На площади колыхалась огромная толпа, люди теснились в коридорах, двери зала были распахнуты настежь, в них сгрудились те, кто не смог занять места. Атмосфера была пропитана электричеством. Подсудимые в сопровождении жандармов медленно пробивались к своей скамье за барьером, когда чей-то голос крикнул, то ли предвосхищая решение присяжных, то ли первым узнав о нем: «Все свободны!» Публика подхватила вопль, подсудимым жали руки, осыпали цветами... Эразм увидел в толпе панн Марью. Она была растрепана, лицо покраснело; Марья яростно рвалась в первые ряды, прижимая к груди букет алых тюльпанов...

Огласили оправдательный вердикт присяжных: Людвик Варыньский, Уэмбло и Трушковский были приговорены к мизерному, пяти-семидневному сроку тюрьмы за проживание в Галиции по подложному паспорту; Мендельсон и Кобыляньский получили чуть больше — по месяцу отсидки — за нелегальный переход границы. По прошествии сроков заключения всех подданных Российской империи предписывалось удалить из Австро-Венгрии, куда им пожелается.

Значит, царю не выдадут! — эта мысль мгновенно овладела и подсудимыми, и публикой, вызвав новый приступ ликования.

Вокруг радостно бушевала толпа. Эразм застыл посреди нее, будто оцепенев. До счастья с Марьей оставался всего один месяц! Он заметил, как она, пробившись, наконец, к товарищам, бросилась на шею Мендельсону, потом

поцеловала Варыньского, обняла Трушковского, Бесядовского...

«А я?» — хотел сказать Эразм, но не смог. Вокруг крутилось, бесновалось, кричало, вопило что-то радостно-чужое, но он не разбирал ничего, а видел лишь свою маленькую Марью с тюльпанами, которые она раздавала всем и каждому, пока букет не растаял до последнего цветка.

Эразму ничего не досталось.

Постскриптум

Брак Эразма с Марьей Янковской не состоится. Кобыляньский продолжит революционную деятельность, все более скатываясь к национализму.

Летом 1890 года он будет арестован и заключен в Цитадель. Там, на втором допросе, он согласится письменно изложить свои убеждения. В результате родится полицейская «Докладная записка о польских и русских эмиграционных сообществах и о значении «польского вопроса» во внутренней и внешней политике России». Персонально в этой «записке» Кобыляньский не выдаст никого, но очернит и запятнает дело, которому служил пятнадцать лет, заявив, что примкнул к нему случайно; враждебно отзовется о русских и польских товарищах по борьбе в России и эмиграции; назовет революционную польскую молодежь жертвой чьей-то глупости и недобросовестности...

В дальнейшем отойдет от движения и умрет в Польше.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

Краковским процессом завершился значительный этап жизни Людвика Варыньского — невеликий по времени, всего два года, из которых половину он провел в тюрьме,— но до предела насыщенный делами и событиями. Ход этих событий описан Ежи Таргальским.

В конце июня — начале июля 1878 года польские социалисты проводят реорганизацию социалистического движения в Варшаве. До той поры опорой движения были «кассы сопротивления» и существующие рядом с ними кружки учащихся. Всеми делами управлял Главный кружок. Варыньский и его ближайшие сподвижники (среди них Людвик Кобыляньский, Юзеф Уздембло, Филипина Пласковицкая, Юзеф и Казимеж Плавиньские, Станислав Лянды, Алексей Дробыш-Дробышевский) приходят к убеждению, что «кассы сопротивления» как широкая и свободная организация рабочих экономического характера в условиях царского деспотизма и полицейского террора не могут выполнять функции революционной организации, поскольку в них открыт широкий доступ всем, в том числе и подозрительным личностям, агентам полиции. Вследствие этого «кассы сопротивления» были распущены и объявлено о прекращении в них всякой работы.

Пришел черед новой организации партийного типа, в которой основными ячейками стали революционные кружки. В них принимали прежде всего испытанных рабочих с определившимися социалистическими взглядами. Структура движения опиралась на опыт организаций повстанцев 1863 года. Каждый кружок, насчитывающий от десяти до пятнадцати человек, выбирал казначея и организатора. Организаторы десяти кружков составляли свой кружок организаторов, называемый также «секцией». Организованы были две секции — северная, на Пивной, и южная — на углу Маршалковской, в квартире, где проживал Людвик Варыньский. Делегаты секций образовывали Главный кружок, по существу — исполнительный комитет организации.

Каждый член революционного кружка мог основать подготовительный кружок. В этих кружках пропагандировали, обучали и формировали взгляды будущих членов революционных кружков. Никто из этих кружков не знал

об организации в целом. Когда заходил разговор об испытании члена подготовительного кружка в качестве кандидата на вступление в революционный, организатор этого кружка посещал собрание подготовительного кружка и присматривался к кандидату. Когда же он выражал кандидату доверие, то знакомил его с несколькими другими организаторами, которые давали ему пробное испытание, и каждый узнавал о нем все, что мог узнать. Когда же все выражали ему доверие единогласно, он становился полноправным членом революционного кружка.

Кроме того, существовал ряд специальных кружков. Занимались они пропагандой среди молодежи, контактами между кружками польских социалистов в Королевстве и в России, издательско-литературной деятельностью, добыванием финансовых средств для организации, нелегальным переходом границы в специальных пунктах, контактами с заключенными и помощью их семьям.

«На все собрания,— как показал на следствии Ян Томашевский,— приходил и, где можно, контролировал их Варыньский».

...Вскоре полиция начала массовые облавы с целью ареста руководителя варшавских рабочих. «Людек же, как называли Варыньского, спокойнейшим образом прогуливался в Саксонском саду средь бела дня и назначал там встречи. Однажды, прогуливаясь, увидел он направлявшегося к нему шпиона с двумя полицейскими. Он повернулся и побежал, те погнались за ним с криком: «Держите злодея!» — «Клевета! — кричал Варыньский.— Я заговорщик!»

«Заговорщик убегает...» — повторяли гуляющие, и внезапно между Варыньским и преследователями выросла целая толпа, какой-то незнакомый мужчина сунул ему цилиндр, изменивший внешность... Варыньский убегал, а вокруг, сзади и спереди, все говорили с одобрением: «Заговорщик убегает...» — вспоминал позднее Юзеф Узембло.

Революционный романтизм Варыньского не всегда находил поддержку среди интеллигентов. На предложение Варыньского начать агитацию рабочих с целью подготовки социальной революции и допустить в организации охранительный террор была принята резолюция «на усмотрение рабочих». Что касается террора, то восторжествовал взгляд, что надлежит применять его лишь как средство устрашения шпионов и предателей, причем террористический акт должен был выполняться тем, кто вносит это предложение. Свое отношение к этому вопросу Варыньский сформулировал в письме, высланном товарищу прокурора Варшавской судебной палаты фон Плеве.

Идейно-политические убеждения Варыньского нашли свое полное выражение в первом программном документе польского рабочего движения, выработанном в сентябре 1878 года,— Варшавской программе польских социалистов. «Размышления над условиями жизни нашего общества привели нас к убеждению, что торжество принципов социализма является необходимым условием благополучного будущего польского народа, что активное участие в борьбе со старой общественной формой есть обязанность каждого поляка, ставящего судьбу миллионов трудящихся выше интересов шляхетско-капиталистической части нашей нации»,— было написано в программе.

Программа пропагандировала тезис Маркса о классовой борьбе как главной движущей силе развития общества применительно к польским условиям, а также указывала на пролетариат как на главную силу общественного прогресса.

Деятельность Людвика Варыньского в Кракове продолжалась только три месяца. За это короткое время он успел завязать личные контакты и организовать первую в Галиции тайную организацию социалистов...

Общественное значение Краковского процесса социалистов очень точно охарактеризовал комиссар краковской

полиции Ян Костшевский в рапорте, присланном в Петербург в октябре 1884 года: «Процесс этот, столь неблагополучно закончившийся, составляет весьма важный момент в польском социально-революционном движении. Об этом процессе можно решительно сказать, что он в огромной степени способствовал распространению социализма среди населения Кракова. Судебный зал превратился в трибуну, с которой Людвик Варыньский с присущим ему красноречием провозглашал перед многочисленной публикой свои принципы и развивал ту самую программу, которую до сего времени заботливо скрывал и которую излагал лишь на тайных собраниях; в судебном зале раздавались голоса, которые заинтересовали публику, привлекли к делу социализма симпатии и новых сторонников. Безнаказанность всех обвиняемых также сильно способствовала росту агитации, ибо рассеяла существовавший до тех пор страх перед наказанием...»

Глава восьмая.
ВЕРА ИВАНОВНА

Сентябрь 1880 года

Я долго присматривалась к польским товарищам. Здесь, в Женеве, группки и группировки имеют значение большее, нежели в эмигрантских отечествах. Женева полна эмигрантами разных поколений, направлений и национальностей, а эмигранты — народ особый. Им никак не понять, что они выключились из большого дела — по своей ли, не по своей воле,— и вот из кожи лезут бедные, чтобы создать его видимость. И главные силы уходят на борьбу группировок в эмиграции.

Очень уж это напоминает спор двух пассажиров на перроне — кто какое место занимал в купе, когда поезд... уже ушел. Но еще смешней попытки руководить движе-

нием этого самого поезда, оставаясь на том же перроне, отстав от движения навсегда.

Я никогда не тешила себя иллюзией создания эмигрантского руководства. Пусть Драгоманов, Жуковский или Ткачев думают, что они влияют на события в России. Дай-то бог, чтобы на умы, да и то весьма ограниченно. Надобно реально смотреть на вещи. Нашей же группе и руководить, по сути, нечем, даже если бы и хотели. «Черный передел» — это нынче фантом, жалкие и безобидные кружки старых землевольцев, не сумевших воспринять новые идеи. Молодежь за «Народной волей» пошла.

Когда «Земля и воля» раскололась, я уже год как была в эмиграции. Знаю, многие ожидали, что склонюсь на сторону народовольцев. Меня ведь чуть не в идейную вдохновительницу «Народной воли» записали с моим выстрелом в Трепова. С него, мол, террор начался, а террор — главное средство новой партии. Но я свой поступок иначе трактовала, потому и отошла к чернопередельцам.

Мой выстрел был не политический, а нравственный, если можно так выразиться. Я до сей поры полагаю, что нельзя стрелять в политического врага, чтобы достичь своей цели,— будь то месть, устрашение или попытка вызвать вспышку. Лишь достоинство и честь человека могут потребовать крови. Мой выстрел сродни дуэльному был. Я знала, что ответный выстрел последует; пускай не от Трепова, но от власти, которую он представляет. Если бы я его убила, меня повесили бы.

Когда я узнала о польском социализме, меня больше всего интересовало — за кем они пойдут? За русскими товарищами, провозгласившими политические цели и методы террора, или же за европейской социал-демократией?

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что они склоняются к Марксу! В начале лета сразу и вдруг в Женеве возникла польская социалистическая колония, основная часть которой проходила по Краковскому про-

цессу и была выслана из пределов Австро-Венгрии. Очень симпатичные, образованные и остроумные молодые люди, превосходно говорят по-русски, неудивительно, что мы с ними сблизились.

Особенно очаровал меня Людвик Варыньский. Он стал центром польской колонии, вернее, «пролетарской» ее части, как мы про себя называем беднейших членов кружка, не имеющих собственных средств и не получающих помощи от родных: Варыньский, Дикштейн, Пекарский, Трушковский и Бжезиньский. На некотором расстоянии от них, вокруг Болеслава Лимановского, группируются Узембло и Кобыляньский. И наконец, аристократической частью польской колонии можно считать Мендельсона, Длуского и появившуюся недавно из Киева пани Марью Янковскую. С ней связана пикантная история, о которой ниже.

Говорят, у Мендельсона и Длуского богатые родители, а у Янковской муж — миллионер. Говорят также, что на присылаемые этой троице деньги существует вся польская колония. Вполне возможно. Но существуют польские товарищи очень уж по-разному. Трое богатых снимают номера в первоклассных отелях, прекрасно одеваются и разъезжают в экипажах, а «пролетарская» часть живет бедной коммуной, считает каждый франк. Для русского революционера это непонятно. У нас всегда было заведено так, что все средства отдавались на нужды партии и она распоряжалась ими полностью. Мне трудно представить, чтобы наши товарищи из обеспеченных семей вели роскошный образ жизни, в то время как остальные члены партии считали бы копейки. Достаточно вспомнить скромнейшего Дмитрия Андреевича Лизогуба, отдавшего огромное состояние на нужды революции.

Но среди поляков, похоже, царят иные отношения. «Пролетарская» часть в целях экономии сняла на лето домик в местечке Гран-Сакон, что в десяти верстах от Же-

невы. Мы втроем однажды поехали к ним в гости и так нам у них понравилось, что уже через неделю мы тоже перебрались туда, поселились в меблирашках, а столоваться ходили к польским товарищам, внеся, разумеется, денежный пай.

Они жили тесной и веселой коммуной, каждый день кто-нибудь дежурил по хозяйству и приготовлению пищи, причем повару приходилось сносить весьма остроумные и едкие шутки товарищей. Мне особенно было жаль Дикштейна, когда наступала его очередь быть поваром. Он мало к этому приспособлен, я отлично его понимаю, сама готовить не умею и не хочу, мне достаточно самой простой и непритязательной пищи. Семен Рафаилович — мы привыкли звать польских товарищей на русский лад — человек весьма талантливый в науке, по в житейском смысле — совершеннейший ребенок. Когда он дежурил, на столе появлялись яичница с луком и макароны с сыром. Эти блюда Дикштейн освоил сносно и держался за них до последнего.

Иногда кое-кому из коммуны удавалось подработать, и тогда закатывался пир... Витольд Некарский иногда приносил деньги из редакций, где брали его карикатуры. Но основную долю денежных средств кассир коммуны Трушковский получал от фирмы «Мендельсон и К°», как звали между собою богатую троицу обитатели Гран-Сакона. Если бы при этом богатые члены колонии жили вместе с бедными, то неловкости не возникало бы. Но так это выглядело как подачка.

Варыньский острее других переживал унижение. Я заметила, что этот молодой человек весьма чувствителен к вопросам чести. Это мне безусловно понравилось. Правда, он никогда не позволил себе в чем-то обвинять «фирму», но стоило посмотреть на его лицо за обедом, когда кассир Трушковский объявлял о получении очередной мизерной суммы от Мендельсона, как все становилось

понятным. Варыньский каменел; очень часто покидал общее застолье, сославшись на плохой аппетит. Чужой кусок поперек горла стоит, это верно замечено.

Мы любили гулять в окрестностях, забирались по тропинкам в горы. Меня часто сопровождал Варыньский-старший и Дикштейн. Они оба очень тосковали по Варшаве; один вырос там и любил ее, другой же хотел вернуться, чтобы продолжить деятельность.

— Вряд ли это теперь возможно, Людвиг Северинович,— сказала я.— После «дела 137-ми» вам нельзя появляться в Варшаве. Вас слишком многие знают.

— Все равно — поеду,— он набычился, как мальчишка.

— И погубишь себя,— сказал Дикштейн.

«А он упрям...» — подумала я о Варыньском. Мне интересны были особенности их революционной работы, и я принялась расспрашивать моих молодых попутчиков. Главное отличие, сказали они, в развитом пролетариате. Россия отстает в промышленном отношении от Польши лет на десять — двенадцать. Русский пролетариат еще не представляет собою столь грозной силы. Польские же рабочие готовы организоваться не только по причине своей многочисленности, но и потому, что в Польше весьма сильны национальные революционные традиции. Поляк не пугается слов «тайная организация», они ему милы и понятны.

Но еще более я интересовалась побудительными мотивами, которые направили молодых товарищей в социально-революционное дело. Это вопрос огромной важности. Мне представляется, что революция настолько действенна, насколько она нравственна. Не секрет, что многих молодых людей толкает на революционный путь простая жажда деятельности, помноженная на опасность, на риск; бывает и жажда славы, но хуже нет, когда в революцию толкает жажда власти.

Сама я не тогда пришла в революцию, когда наивной барышней познакомилась с Нечаевым и имела с ним переписку, за что пострадала. Я стала сознательной революционеркой, помыкавшись по тюрьмам и ссылкам без какой-либо вины перед властью и испытав нравственное унижение. Оно и заставило меня поднять руку на человека. Очень это тяжело, об этом я и на суде сказала, но выхода другого не было. Так что я, по сути, не сама в революцию пришла, меня власть сделала революционеркой.

Ответ Варыньского меня поначалу огорошил.

— Кто-то должен делать революцию. Почему бы не я?

— Значит, вы среди нас случайно? — жестко спросила я.

Дикштейн заволновался; ему показалось, что сейчас мы поссоримся. Он весьма близко к сердцу принимает раздоры между товарищами.

Варыньский рассмеялся.

— О, Вера Ивановна, давайте не будем про случайность и необходимость! Гегеля я читал. Случайность может стать железной необходимостью, вот так и со мной вышло.

— Но почему? — допытывалась я.

— Видите ли, я в известной степени фаталист. Чему быть, того не миновать, как говорят русские. Но я не пассивный фаталист, который с покорностью ждет решения судьбы и сидит сложа руки. Я угадал направление моей жизни, увидел свой путь и иду по нему совершенно сознательно. Я помогаю своему фатуму. Пять лет назад я осознал, что моя миссия заключена в социальной революции на польской земле. Сначала я поверил в ее неизбежность, об этом мне рассказала наука — Маркс, Лассаль и другие, потом подумал, что сама собою она не свершится, кто-то должен ее подготовить; ну, а дальше совсем простой вывод: если не я, то кто же?

— Кокетничаете, Варыньский,— мне почему-то хотелось его поддеть, чтобы он вышел за рамки корректной, ни к чему не обязывающей беседы.— Орлеанская девственница к своему решению интуитивно пришла, услышала божий глас, как говорится. А вы сначала книжки изучили, потом все рассчитали... Тут что-то не так!

— Я же мужчина, Вера Ивановна,— улыбнулся он.— Я не могу целиком полагаться на божий глас. К сожалению, у меня есть это,— он указал пальцем в лоб.

— Ах да! Я забыла, что женщины лишены разума,— проговорила я язвительно.— Вы самонадеянны, Людвиг Северинович. Увы, самонадеянны и банальны. В этом вопросе.

— А вот я оказался в революции случайно,— заикаясь, тонким голосом вступил Дикштейн.

Очевидно, он почувствовал, что между нами назревает ссора, и решил отвлечь огонь на себя. Очень трогательно с его стороны. Я действительно разозлилась на Варыньского. Мне же, кажется, не удалось его пронять. Он вышагивал рядом своими крупными шагами, непроницаемо улыбаясь.

— Я с вами просто за компанию. Клянусь, если бы мне не посчастливилось попасть в университет, я, скорее всего, оказался бы среди приказчиков или портных. И рассуждал бы, как приказчик или портной.

Мы с Варыньским рассмеялись: с такой обескураживающей искренностью вымолвил это Дикштейн.

Но меня не так-то легко сбить с намеченной цели. Я вернулась к Варыньскому.

— А скажите, Людвиг Северинович, вам не приходило в голову, что кроме вас в этой обширной империи кто-то еще занимается подобным делом и подготовляет социальную революцию?

— Приходило, Вера Ивановна,— он галантно поклонился.

— Значит, надо сообразовывать свои действия с их поступками? Не так ли? — продолжала я допрос.

Он опять кивнул, на этот раз молча. Я видела, что он не понимает — куда я гну.

— Тогда почему вы в своей деятельности совершенно игнорировали русских товарищей? Ту же «Народную волю»? Или нашу партию? Не есть ли это обыкновенный польский национализм?

— Нет, Вера Ивановна, с националистами нас не путайте. Вы просто плохо знаете историю нашего движения. Она пока невелика, и все же... Во-первых, мы были связаны с русским движением. В нашей организации было несколько русских. Да и многие из поляков входили в русские кружки Петербурга, Киева, Москвы или Одессы... Во-вторых, мы собирались и собираемся наладить официальные сношения с русскими партиями, но при условии автономии! — подчеркнул он.— Вливаться в «Народную волю» или в вашу партию, Вера Ивановна, мы не станем... Наконец, в-третьих, мы используем многие тактические приемы русских. Например, террор.

Увидев, что я поморщилась, Варыньский развел руками.

— Ну, я ничего не понимаю. Не вы ли подали пример в этом вопросе?

— Нет,— отрезала я.

Надо отдать ему должное: он понял, что я могу взорваться, если продолжить эту тему. Умный мужчина. Мы вернулись к более безобидным вопросам, и конец прогулки прошел просто великолепно.

Летние каникулы в Гран-Саконе вспоминаются с теплым чувством. Хотя и тут мы не прекращаем общения, эмигрантские кружки собираются часто; то послушаешь скучный доклад Лимановского, то темпераментную, но пустоватую болтовню Николая Ивановича Жуковского, то аргументированные выступления Жоржа Плеханова,

а то и страстные речи Варыньского. Ему уже тесно в эмиграции, он задыхается от отсутствия живого дела.

Впрочем, совсем недавно его темперамент получил неожиданную возможность излиться. Произошел пикантный скандал с пани Янковской, удивительно смешной по виду, по сути же — печальный и настораживающий. Наша группа оказалась в нем замешанной вопреки всяческим ожиданиям.

В начале сентября прибегают ко мне Варыньский и Дикштейн — оба взволнованные, запыхавшиеся и оттого выглядевшие совершеннейшими детьми. Я их такими впервые видела. «Вера Ивановна, можно вас на конфиденциальный разговор?» Я еще больше удивилась.

После некоторых недомолвок и стеснений, вызванных странными обстоятельствами дела, начинают излагать суть.

А суть такова: в Женеву вновь прибыла пани Марья Янковская — об этом я уже знала; она навещала нас в деревне, приехала с Мендельсоном в кабриолете, была возбуждена, дарила себя подчеркнуто великодушно. Меня не заметила. Такие барыни других женщин не замечают, для них существуют лишь мужчины — чтобы восхищаться ими.

Вскоре выяснилось, что в эту пани влюблен тоже находящийся в Женеве Эразм Кобыляньский, известный в революционных кругах как Михал Котурницкий. Я его видела дважды и то мельком: тип неотесанный и глуповатый, как мне показалось. Котурницкий проходил по Краковскому процессу, и пани Марья навещала его в тюрьме под видом невесты. Случай обыкновенный в наших кругах.

Однако Котурницкий вбил себе в голову, что у них любовь. Сначала, мол, была конспирация, но потом она переросла в чувство. И так бывает, не спорю. Но надобно согласие другой стороны, а его-то и нет. Пани Марья по-

смеялась над ним, сказала, что пан Котурницкий неправильно истолковал ее поведение. Он продолжал настаивать на браке, говорил, что она не выполняет данного ею брачного обещания. Кажется, у англичан есть закон, наказывающий за отказ от брачного обещания? Но у нас такого закона нет, и пани Марья довольно недвусмысленно дала понять Котурницкому, что он болван. В ответ на это он оскорбил ее, то есть назвал тем словом, какое обыкновенно применяют к дамам легкого поведения.

Янковская рассказала об этом товарищам. Людвик Варыньский тут же вызвал Котурницкого на дуэль! Мне нравится это в поляках. Все же они — настоящие мужчины! Чуть позже поступок Варыньского повторил Мендельсон. Мне кажется, что у них соперничество из-за Янковской, или же оно было в прошлом. Сейчас пани Марья больше времени проводит с Мендельсоном, может быть, потому что они оба не принадлежат к «пролетарской» части польской колонии...

Короче говоря, дело приняло нешуточный оборот. Неплохая пища для буржуазных газетчиков: дуэль между эмигрантами-социалистами из-за женской чести! Но Котурницкий от дуэли отказался, указав своим бывшим товарищам по процессу, что это их не касается. Дело зашло в тупик, поскольку он продолжал преследовать пани Марью и то просил руки, то оскорблял. Варыньский с Дикштейном явились ко мне с просьбой через меня к русским товарищам — помочь уладить конфликт. Им нужен был третейский суд.

Я рассказала Плеханову. Мудрый Жорж послал к истцу и ответчице записки: согласны ли они, чтобы суд чести, состоящий из русских товарищей, рассмотрел их дело? Оба ответили согласием.

Мы собрались в ресторане гостиницы «Монблан», в отдельном кабинете, который снял по такому случаю Мендельсон. Официантам было сказано, что господа из-

волит отобедать после небольшого заседания. На стол были поданы бутылки сельтерской, пива и фруктовых соков. Судьи расположились во главе стола, поставленного покоем, по обеим сторонам заняли свои места враждующие стороны: слева Котурницкий и приглашенные им персонально Николай Морозов и Сергей Кравчинский, находящийся сейчас в Женеве,— оба они знают Котурницкого еще по петербургским кружкам. Справа — фирма «Мендельсон и К°» и «пролетарская» часть польской колонии в полном составе, даже с прибавлениями. Я заметила, что рядом с Варыньским уселась молоденькая пухленькая девица весьма миловидной наружности. «Кто это?» — шепотом спросила я Дейча, указав глазами на девицу. «Анна Серошевская, сестра ссыльного Вацлава Серошевского. Только что бежала из Варшавы, опасаясь ареста...» — ответил Лев Григорьевич, знающий, по своему обыкновению, все до мельчайших подробностей.

Я поймала себя на мысли, что второй раз в жизни присутствую на суде. В прошлый раз была обвиняемой, нынче — судья или, быть может, присяжный заседатель? Судьей, пожалуй, станет Георгий Валентинович.

Я взглянула на Янковскую: каково ей в роли ответчицы? Пани Марья вела себя уверенно; шепотком переговаривалась с товарищами, не убирая с лица светскую улыбку. Похоже, ей нравилось, что она в центре внимания и, кроме того, дело ее выигрышное, ибо кто же может заставить ее, замужнюю женщину, сочетаться браком с Котурницким? Абсурд...

Котурницкий сидел, как камень, положив на стол веснушчатые кулаки, поросшие редкой шерстью. Время от времени он оживал и вытирал шею огромным клетчатым платком. Как видно, он волновался, но старался не выдавать своих чувств.

Жорж призвал всех к вниманию и обратился к присутствующим с краткой речью.

— Прежде чем возложить на себя столь щепетильные обязанности, суд хотел бы спросить госпожу Янковскую и господина Котурницкого, согласятся ли они выслушать наш приговор чести, который конечно же лишен какой бы то ни было юридической силы, и не искать иного удовлетворения как друг у друга, так и у третьих лиц?

— Вполне согласна,— быстро кивнула Янковская.

— Согласен,— хмуро проговорил Котурницкий.

Плеханов попросил истца изложить обстоятельства дела. Котурницкий вздохнул, тяжело заерзал на месте, потом начал речь, поминутно поправляясь, с трудом подбирая слова и стараясь не смотреть на ответчицу, которая, наоборот, не спускала с него иронически-презрительного взгляда. По Котурницкому получалось, что пани Марья на свиданиях в тюрьме вела себя как любовница, отвечала на его поцелуи и предложения руки и сердца.

— Но позвольте, рядом жандарм стоял, а я назвалась вашей невестою! Что мне было делать? — насмешливо вопросила пани, разводя руками и оглядывая присутствующих.

— Я знаю... Знаю, когда целуются для конспирации, а когда по любви,— твердил Котурницкий.— Я, может, этого всю жизнь...— он внезапно замолчал, потемнел весь, как туча, на глаза его навернулись слезы.

Мне стало жаль его. Я прошла тюрьму и знаю — что означает для узника свиданье, ласковое слово друга, не говоря уже о поцелуе любимого! Даже если Котурницкий выдумал эту любовь, он все равно заслуживает сострадания.

— Не надо бить на жалость!— воскликнула Янковская.— Если бы вы любили меня, то не смогли бы столь безобразно оскорблять, как вы делали это последнее время!

Варыньский буквально пронзал взглядом Котурницкого. Он безусловно был на стороне женщины. Плеханов

хранил непроницаемый вид; Дейч наблюдал за событиями насмешливым взором.

Пани Янковская изложила свою версию событий, которая была, по-видимому, ближе к истине, то есть к фактической стороне дела, но далеко не безупречна нравственно. Как ни крути, пани Марья пользовалась слабостью узника, флиртовала с ним, а он, благодаря своему несчастному положению и невеликому уму, принял все за чистую монету.

Когда суд удалился на совещание, выйдя на террасу ресторана, откуда открывался прекрасный вид на Женевское озеро, я высказала председательствующему свою точку зрения. Юридически пани Марья права, морально — нет!

Плеханов кивнул, что-то обдумывая.

— А может быть, женить их? — мечтательно произнес Дейч. — Представляете, какая будет пара?

— Оставь шутки, — строго сказала я.

Мы вернулись к столу, где царило напряженное молчание. Плеханов объявил решение суда чести. Ввиду того, что господин Котурницкий, находясь в тяжелых условиях заключения, истощенный нервно и физически, не смог адекватно оценить ситуацию, суд считает его претензии к госпоже Янковской необоснованными и советует господину Котурницкому извиниться за нанесенное женщине оскорбление...

Произошло оживление справа, на стороне «фирмы». Котурницкий налился кровью; мне стало не по себе — казалось, он сейчас перевернет стол одним взмахом и кинется на обидчиков. Варыньский тоже приготовился к инциденту, весь напрягся, сжал кулаки.

— Однако, принимая во внимание, что госпожа Янковская не учла особого состояния, свойственного заключенному в тюрьме, суд советует ей впредь более ответственно относиться к своим словам и поступкам в

подобной ситуации и, приняв извинения господина Котурницкого, постараться не таить обиды на него...— закончил Плеханов наш вердикт.

Со свойственными ему изворотливостью и умом Жорж оставил Котурницкому достойный выход из положения. Но тот явно был недотепой. Он не понял, что мы морально осудили Янковскую, до него дошло лишь, что ему нужно извиниться.

— Не буду извиняться! — буркнул он, уставясь в стол.

— Ничего другого от вас не ожидали, проше пана! — ответил Мендельсон.

— А вас не спрашивают! — огрызнулся Котурницкий.

Атмосфера вновь накалилась. Варыньский уже готов был сорваться с места, чтобы кинуться на упрямца и вышвырнуть его, как юркий Дейч опередил его. Подскочив к Котурницкому, он с неожиданной силою поднял того со стула, взявши под мышки, и стал подталкивать к двери, приговаривая:

— Пану Михаилу нужно подышать воздухом и все обдумать! Пан Михаил непременно придет к разумному решению!

Котурницкий что-то мычал, но не сопротивлялся. В одну минуту Дейч его выставил, и все дружно взорвались хохотом, снимая напряжение инцидента.

Я взглянула на Варыньского и заметила, как они обменялись улыбками с Анной Серошевской. Ну что ж... Это тоже выход в эмиграции — женитьба, семья. Дай вам, как говорится, бог, пан Людвик! Но в этом ли состоит ваш фатум?..

Постскриптум

Вера Ивановна Засулич активно участвовала в русском социал-демократическом движении.

В 1883 году она вошла в состав марксистской группы «Освобождение труда», переводила произведения Маркса и Энгельса, сотрудничала в демократических и марксистских журналах. Позднее она выступила со статьями, направленными против тактики индивидуального террора. Входила в состав редакций «Искры» и «Зари», участвовала в конгрессах 2-го Интернационала.

В 1903 году присутствовала с совещательным голосом от редакции «Искры» на II съезде РСДРП, примыкала к искровцам меньшинства.

В. И. Ленин, осуждая политически ошибочную меньшевистскую позицию Засулич, вместе с тем высоко оценивал ее революционные заслуги, относя ее к числу виднейших революционеров. Вера Ивановна в 1905 году вернулась в Россию, жила в Петербурге. Умерла в 1919 году.

Глава девятая.
БОЛЕСЛАВ

Ноябрь 1880 года

Лимановский вышел из музея Ариана, куда наведывался иногда постоять в тишине перед полотнами Рафаэля и Ван Дейка, и направился в сторону Английского парка, расположенного на берегу Женевского озера. Там, у фонтанов, было традиционное место прогулок, там собирались во второй половине дня эмигранты, можно было узнать новости.

Лимановский ждал новостей. После того как он узнал, что его бывшие друзья из «Рувности» готовят нечто грандиозное — общеевропейский митинг, посвященный полувековому юбилею ноябрьского восстания,— старик потерял покой. Можно себе представить, что будут говорить на этом митинге Длуский, Мендельсон и Дикштейн с их взглядами на польскую историю и народность!

Собственно, из-за расхождения в национальном вопросе он был вынужден отойти от «Рувности», в редакции которой формально еще числился, но фактически уже не участвовал в обсуждениях, после того как истратил много сил и нервов, чтобы добиться исключения статьи Длуского «Патриотизм и социализм». Гнуснейшая, космополитическая статья! — он даже поморщился, вспомнив ее положения.

Исключения он не добился, удалось, пригрозив выходом из редакции, добиться только, чтобы статья была помещена под фамилией автора, а не в качестве редакционной, как предполагалось ранее...

Он прошел по улице Белло, свернул на улицу Сен-Виктор и там, на одном из двух мостиков, расположенных один над другим, увидел парочку, любующуюся видом на озеро.

Он сразу узнал молодых людей. Это были Варыньский и Анна. Эмигрантские сплетни уже разнесли по Женеве слух, что у Варыньского роман с молоденькой приехавшей из Варшавы социалисткой, входившей, по слухам, в Варшавскую гмину, недавно разогнанную полицией. У Лимановского о гмине были благоприятные сведения: кажется, во главу угла члены ее ставили независимость, как и положено истым полякам. Хорошо бы расспросить у Анны подробнее... Однако ее возлюбленный... С Варыньским отношения не сложились еще с той памятной истории во Львове, когда он нанес Болеславу визит с пани Янковской. По-человечески Людвик был Лимановскому симпатичен; можно простить даже ветреность в отношениях с женщинами,— но почему он связался с космополитами без роду и племени? Этого пан Болеслав понять не мог.

Тем не менее он поспешил к мостику. Варыньский мог удовлетворить его любопытство касательно митинга. Хочешь не хочешь, придется терпеть неприязнь, а может

быть, и наскоки. Этот молодой человек воспитанностью не отличается!

Парочка заметила приближение Лимановского и сделала попытку бежать, но Болеслав упредил их, сорвал с головы котелок, помахал им призывно:

— Пан Людвик! Погодите!..

Варыньский нехотя остановился, поддерживая маленькую Анну под локоток. Лимановский подошел; запыхавшись, поцеловал пани ручку, отметив про себя, что и на этот раз Варыньский не промах — барышня весьма хороша собою. За руку поздоровался с Варыньским.

— Пан Лимановский. Моя жена Анна,— представил их друг другу Варыньский.

«Ого, уже жена!» — отметил Болеслав.

— Я слышал, что пани имела отношение к Варшавской гмине социалистов? — спросил он.— Мне любопытно узнать. Не хотите ли где-нибудь посидеть?

— Что ж...— пожал плечами Варыньский, с тоскою поглядев в сторону озера.

— Я не задержу вас, молодые люди,— предупредительно сказал Лимановский.

Они устроились в одном из миниатюрных кафе близ парка «Живые воды». Гарсон принес кофе и пирожных. Болеслав заметил, как смутился Варыньский, когда он вынул из кармана кошелек и положил на скатерть пять франков. «Сидит без денег»,— догадался он.

С гминой покончили быстро. Похоже, Анна не слишком интересовалась идейными исканиями Балицкого и Сосновского — предводителей гмины. Входила за компанию как сестра известного ссыльного социалиста. Зато она с наслаждением поедала пирожные и, слава богу, не вмешивалась в мужскую беседу, когда Лимановский подступился к Варыньскому с расспросами о митинге.

Варыньский отвечал неохотно и весьма кратко: да, митинг назначен на двадцать девятое ноября, приедут

социалисты со всей Европы... До пятисот человек... Нет, Маркс не приедет. Много работы. Но он прислал приветственное письмо митингу, которое подписали также Энгельс, Лафарг и Лесснер...

— О чем же письмо, разрешите полюбопытствовать? — спросил Болеслав, по тону Варыньского почуяв, что пахнет жареным.

Варыньский нахмурился. «Говорить правду не хочет, а врать не привык»,— определил его состояние старик. И все же, пересилив себя, Варыньский сказал правду.

Маркс и его друзья по существу не поддержали позицию, занятую редакцией «Рувности» по национальному вопросу.

— Вот видите, пан Людвик! — Лимановский не смог сдержать радость.— Даже ваш Маркс не поддержал! И совершенно справедливо не поддержал!.. Что же он пишет?

— Маркс считает, что все наши восстания, столь роковые для нас, всегда преграждали путь контрреволюции в Европе.

— Так! — воскликнул Болеслав.

— ...что лучшие сыны Польши никогда не переставали оказывать вооруженный отпор врагу, борясь под знаменем народных революций...

Анна перестала есть пирожное, напряженно вслушиваясь, стараясь понять.

— Маркс имеет в виду французскую революцию,— объяснил Анне Варыньский.

Она кивнула, снова принялась за пирожное.

— Ну и, наконец, Маркс пишет, что поляки сыграли крупную роль в борьбе за освобождение пролетариата. А ныне, когда борьба эта развивается внутри самого польского народа, она должна объединиться со стремлениями русских братьев. Это будет лишним поводом

повторить старый клич: «Да здравствует Польша!» — закончил Людвик.

— Готов подписаться под каждой строчкой этого письма,— наклонил голову Лимановский.— Впрочем, нет...— он разгладил рукою длинную бороду.— Кроме... объединения с русскими братьями. С братьями, которые сто лет нас притесняют, извините, объединяться не хочу!

— Ну и не объединяйтесь! — зло ответил Варыньский.— Они с вами и не станут. Они с нами объединятся!

— Не понимаю я пана Людвика,— вкрадчиво начал Болеслав, как бы апеллируя к Серошевской.— Когда о забвении польских освободительных идеалов твердят пан Мендельсон или пан Дикштейн — тут мне понятно, пшепрашам. Это люди, далеко стоящие от польской народности, скажем так. Но вы, пан Людвик! Вы же чистокровный поляк! Добрый поляк!

— Мне тоже Мендельсон не нравится! — заявила Анна.— Он какой-то противный.

— Мы не обсуждаем личные качества Мендельсона,— сказал Варыньский.— Мы говорим об идее. Я согласен с моими товарищами — идея шляхетского патриотизма себя изжила! Она превратилась в тормоз для социализма!

— Пан считает, что патриотами могут быть только аристократы и буржуа? Тогда пан невысокого мнения о народе. Смею вас заверить, что среди хлопов, работников и ремесленников идея польской независимости не менее, а более сильна! Патриотизм — народное чувство, национальное освобождение должно идти рука об руку с социализмом!..— кричал Лимановский, тряся бородою.— И Маркс так считает, хотя я его и не люблю,— неожиданно мягко закончил он.

Варыньский задумался. Болеслав уловил перемену в его настроении, решил воспользоваться.

— Я не могу поверить, чтобы вы не чтили Костюш-

ко или хотя бы Домбровского. Нельзя обрубать родные корни в угоду тем, у кого их нет.

— Эх, пан Болеслав...— вздохнул Людвик.— В идеале верно. Но на деле национальными лозунгами пользуются богатые, чтобы держать народ в узде. И независимостью нашей, будь она получена, воспользуются не работники и хлопы, а буржуа. Поэтому начинать нужно не с национального, а с общего, социального. Нужен социальный переворот.

— Увы, не могу представить...— развел руками старик.— Не могу представить социального переворота без независимости народной. Ваши русские социалисты, которым вы помогать задумали, власть, может, и возьмут, но о независимости нашей забудут. Помяните мое слово!

— Такого быть не может! — рассмеялся Варыньский.

— Еще как может,— не сдавался старик.— Вспомните тогда, как вы хоронили святое для каждого поляка чувство — патриотизм!

С последними словами Лимановский поднялся, держа в руках котелок. Гарсон уже давно с удивлением смотрел из-за стойки на бородатого человека в летах и на молодого — которые горячо спорили о чем-то на незнакомом ему языке. Анна с сожалением поглядела на тарелку с пирожными.

— Мы тоже идем? — спросила Анна.

— Пани может остаться, чтобы допить кофе,— поклонился Лимановский.— Пшепрашам... Я буду бороться с паном! Всеми доступными мне способами! Вплоть до создания собственной партии! — Лимановский выкрикнул последнюю фразу уже на пороге кафе.

Он вышел на улицу. Его трясло от злости. Он был готов передушить инородцев, которые не дают его родине объединиться, ощутить подлинное величие, на которое способна польская нация. Подумать только! Какая страна может похвастать тем, что, не имея государственности

целых сто лет, сохраняет и приумножает свою культуру! А наши гении! Шопен один чего стоит!..

Он наконец надел на голову котелок и зашагал по набережной в сторону Английского парка — гневный и сухой, с прямой спиною. Ветер с Женевского озера ворошил его длинную бороду.

Постскриптум

Лимановский проживет ровно сто лет, находясь в гуще политической борьбы.

Умрет он в 1935 году, уверенный, что выиграл спор с теми, кто отрицал «патриотизм».

Глава десятая.
СТАНИСЛАВ

Июль 1881 года

«...Это ли не счастье?» — размягченно думал он, стоя на верхней палубе парохода «Швейцария» и любуясь вечерним видом Женевского озера. Долгий летний день клонился к вечеру; солнце уже спряталось за горы, освещая из-за них редкие пушистые облачка в небе; тихая спокойная вода была масляниста; бархатно рокотала машина пароходика, спешащего к пристани на набережной дю Монблан, откуда он отвалил сегодня утром.

Марья сидела рядом, в шезлонге, приставив к глазам изящный бинокль-лорнет с золочеными ободочками окуляров. У Марьи ненасытная любознательность, нежно подумал Станислав. Весь день они осматривали достопримечательности: посетили Коппе с замком баронессы де Сталь, потом побывали в Эньяне, осмотрели знаменитый Шильонский замок... И все за двадцать два франка пятьдесят сантимов, которые Мендельсон уплатил за каюту в первом классе.

Да, это счастье. И самое приятное в нем то, что его можно повторить, когда пожелается. Мендельсон испытывал его с Марьей уже третий раз за последний год.

Прекрасно и то, что наконец однозначно разрешилась сложная ситуация с личными делами Марьи, волновавшая Мендельсона три года подряд. Ей уже не нужно, точнее, невозможно разрываться между мужем и Мендельсоном, как она делала раньше, то и дело спеша из Киева в Женеву и обратно. Теперь Киев отпал. Связь Марьи Янковской с социалистами стала слишком хорошо известна полиции; муж Владислав сам посоветовал ей посидеть за границей до лучших времен.

«Тьфу-тьфу, как говорится»,— все складывалось на редкость удачно! И неожиданный брак Варыньского, то есть не брак — формального бракосочетания и венчания в костеле не произошло ввиду отсутствия документов у несчастных эмигрантов, но фактически созданная семья, в особенности рождение сына тоже сняли с души Мендельсона если не камень, то камушек. Не мог забыть давней истории с львовским путешествием, не мог отделаться от мысли, что Марья неравнодушна к Варыньскому.

Оставался Дикштейн, но это несерьезно. Голова у Шимона прекрасная, Мендельсону бы такую голову — он стал бы государственным деятелем при его импозантности и энергии. Но о мужском соперничестве речи быть не может. Марья всего лишь благосклонна к Шимону, это даже нравится Станиславу, приятно щекочет самолюбие; что ни говори, а внимание других мужчин к даме твоего сердца совершенно необходимо, чтобы ощущать полноценность выбора. При том, конечно, что уверен в своей избраннице.

Станислав был уверен. Он даже немного жалел Шимона — у того нет никаких шансов! Потому, вероятно,

и мечется от науки к революционным теориям; из Бернского университета — в редакцию «Рувности». Причем делает успехи и там, и там. После диссертации о беспозвоночных написал «Кто чем живет?» — блестящее популярное изложение первого тома «Капитала». «Рувность» его опубликовала в нескольких номерах. Что же касается Марьи, то здесь Шимону придется лишь вздыхать застенчиво и краснеть до конца дней своих...

Сейчас, ввиду предстоящего отъезда Станислава с Марьей и Трушковского в Познань, особенно волновали издательские дела. По существу, положиться можно было лишь на Пекарского. Длуский, как всегда, себе на уме; блестящ, но ленив, кроме того, много времени тратит на барышень. Варыньский же с Дикштейном вышли из доверия Мендельсона после конфликта, который только что произошел в редакции «Рувности».

— Может быть, заедем попрощаться к Варыньским? — прервала его мысли Марья, опуская лорнет и поворачивая маленькое точеное личико.

— Ты серьезно? — Мендельсон склонил голову набок.

— Вполне.

— Хм...— Мендельсон не спешил с ответом. Надо было обдумать это предложение.

Он привык уже, что Марья — при том, что она темпераментна и страстна, как десять тысяч француженок,— никогда не делает необдуманных поступков. Тем более, не говорит лишнего. Он уверен, что тот порыв, который он не мог ей простить, был хорошо рассчитанным порывом. Впрочем, хватит об этом... А ведь, пожалуй, Марья права. Надо зайти к Варыньским, это будет полезно и правильно во всех отношениях. Кроме того, есть повод: они еще не поздравляли Анну и Людвика с рождением ребенка.

— Ты права, как всегда,— он наклонился и поцеловал ей руку.

— Вероятно, они сейчас нуждаются, — сказала она. — Ты взял с собою денег?

— Десятка два франков найдется, — ответил он.

— А на подарок?

— И на подарок... — улыбнулся он.

Несомненно, Марья правильно рассчитала. Нельзя уезжать в Познань, не прощупав настроений Варыньского после скандала и не разузнав о его планах. У Мендельсона хватало объективности, чтобы понимать, что в его отсутствие не Пекарский, не Длуский и не Дикштейн останутся главными фигурами в Женеве, а именно Варыньский.

Скандал произошел в начале июля, когда вышел очередной номер «Рувности». В нем, к своему изумлению, Мендельсон увидел редакционное приветствие съезду анархистов, собирающемуся вскоре в Лондоне. Телеграмма была подписана Варыньским и Дикштейном.

Станислав пришел в бешенство. Во-первых, налицо явный политический просчет! С анархистами им давно не по пути. Что скажет Маркс, до сей поры благосклонно относившийся к «Рувности»? Во-вторых, как они смели не посоветоваться?! Как-никак «Рувность» издается на его средства. Станислав отнюдь не тыкал этим фактом в лицо, но забывать о нем тоже нельзя.

Он вызвал к себе в гостиницу, где они с Марьей снимали трехкомнатный номер, Пекарского и Длуского. После небольшого совещания было решено выйти из редакции «Рувности» — всем четверым. Пускай Людвик и Шимон сами ее издают. «Мы же, — сказал Мендельсон, — должны основать новый орган польских социалистов!» Название нашла Марья: «Пшедсвит», то есть «Рассвет», — романтично и не обязывает к какой-либо жесткой программе.

Конечно, все они понимали, что ставят на «Рувности» крест; откуда у Людвика и Шимона деньги, чтобы про-

должить издание? Но Станиславу этого было мало. Он хотел, чтобы Варыньский публично признал свою ошибку. Деваться ему некуда — в Женеве нет больше журналов, где он мог бы сотрудничать. Значит, придет в «Пшедсвит». Но надо, чтобы пришел с извинениями...

Мендельсон сам не знал, когда возникло это старое и тайное соперничество между ним и Варыньским, которое, похоже, Людвик не осознавал или попросту не замечал, Станислав же тщательно прятал. Наверное, со дня их первой встречи летом семьдесят седьмого года в Варшаве. Поначалу Станислав не видел соперника в этом высоком нескладном провинциале из украинского местечка, грешившем неправильным польским произношением. Но провинциал очень скоро показал, на что способен. Без особого труда он направил работу в ту сторону, какая была ему нужна, а именно — в сторону пропаганды рабочих. Тогда Мендельсон сделал вид, что так и надо, хотя был уязвлен. В мыслях видел социализм тонкой и точной наукой, исповедуемой интеллигентскими кругами, где можно было блеснуть остроумной фразой, затеять долгий казуистический спор о преимуществах одного философа над другим, заниматься чисто интеллектуальной деятельностью. У рабочих это не проходило, там ценились искренность, доходчивость, прямота. Правда — одним словом. Варыньский был более к ней способен.

Во время Краковского суда Мендельсон тоже ушел в кусты; затея в Галиции ему не принадлежала, он примкнул последним, так что Варыньский снова, и по заслугам, выдвинулся на первое место. Но в эмиграции?.. Нет, здесь была его суверенная территория, собственное дело Мендельсона Станислава, в которое вложены силы и средства. И он не позволит своему другу-сопернику распоряжаться в Женеве!

Идя на конфликт, Мендельсон решил показать Варыньскому — кто есть кто в швейцарской колонии поль-

ских социалистов. И добился своего. Через три дня Шимон — всклокоченный, похудевший от внезапных волнений — прибежал в отель с покаянием. Станислав не сомневался, что Дикштейн приползет. «А что думает Варыньский?» — спросил он Шимона.— «Он тоже считает, что мы допустили ошибку. Понимаешь, Меньо, мы вовсе не из склонности к анархизму... Но в Лондон съедутся заслуженные люди, ветераны движения. Один Кропоткин чего стоит!..» — оправдывался Шимон. Мендельсон не слушал. Главное было, что Варыньский сдался.

Мендельсон потребовал письменного раскаяния и получил его для публикации в «Пшедсвите», который они тут же начали готовить к печати. Но личной встречи не произошло. Теперь же Марья весьма кстати придумала этот визит. Мол, служба службой, а дружба дружбой. Надо показать Людвику, что личная обида исключается, а заодно прощупать его перед отъездом в Познань. Мендельсон хотел сохранить уверенность, что без него «Пшедсвит» не изменит направления.

Направление же он избрал на создание единой польской социалистической партии во всех трех частях Польши, принадлежащих России, Пруссии и Австро-Венгрии. Естественно при этом, чтобы руководящий центр такой партии находился за границей. Еще естественнее, чтобы партией руководил тот, кто издает ее печатный орган. Требовалось минимально развернуть работу на местах, создать хотя бы хилую сеть кружков в Королевстве, Галиции, Великой Польше. С этой целью Мендельсон, Янковская и Трушковский направлялись в Познань.

Варыньский, как подозревал Станислав, имел иную точку зрения на будущность польского социализма. Он тоже склонялся к созданию партии, но видел выход в тесном сотрудничестве с теми партиями, которые уже соз-

данных государствах, куда входит та или иная часть Польши. Иными словами, Варыньский склонялся к сотрудничеству с «Черным переделом» или «Народной волей», коли речь шла о Королевстве. Собственно, русская часть Польши почти исключительно его и интересовала...

Мендельсон, задумавшись, не заметил, как они с Марьей оказались на площади Моляр, где размещался цветочный рынок. Марья выбрала у пожилой швейцарки алые и белые розы — цвета национального флага. «Дзенькую пани»,— на ломаном польском поблагодарила торговка. Затем они зашли в магазинчик на улице Кальвина, где жил и умер великий реформатор церкви. Хозяин уже закрыл лавку, но они вызвали его звонком и купили, не торгуясь, кружевной детский костюмчик для новорожденного. Мендельсон любовался Марьей — она всецело отдавалась милым женским занятиям.

Уже стемнело, когда Мендельсон и Янковская подошли к трехэтажному дому на Гран-рю, совсем неподалеку от дома, где родился Жан Жак Руссо. Поднялись на последний этаж, и Станислав повернул ручку звонка.

Дверь открыл Людвик. Он был в фартуке, повязанном вокруг пояса, с мокрой, скрученной в жгут голубоватой пеленкой в руках. Увидев гостей, он растерянно и радостно улыбнулся, смутился, попытался спрятать за спину пеленку, смутился еще больше, а потом махнул ею — мол, все равно! — и бросился к друзьям здороваться мокрыми от стирки руками.

— Как хорошо!.. Анна! — крикнул он.— Станислав с Марьей пришли!

В ответ из комнатки раздался писк ребенка. Улыбка на лице Людвика стала гордой.

— Уже митингует,— сказал он, кивая в сторону комнатки.

Мендельсон позавидовал непосредственности товарища. Ему казалось, что Варыньский встретит их обиженно

и хмуро, станет показывать гордость. Он же, отбросив пеленку, уже тащил их в комнату любоваться наследником.

Анна выглядела вялой и сонной. Она была в пестром халатике, на котором отсутствовали две пуговицы, отчего Анне приходилось придерживать полу халата на животе. Почти равнодушно приняла она подарок и букет. Людвик принялся хлопотать, чтобы поставить букет в вазу.

Зато маленький Тадеуш был хорош! И снова Станислав любовался не ребенком, а своей возлюбленной — несомненно, ей весьма к лицу маленькие дети. Смотрите, как ловко и аккуратно она держит младенца! До сей поры Мендельсон знал умом, что у пани Марьи есть дети, теперь он поверил в это душою и даже несмело подумал о том, что, как знать, когда-нибудь... Но не будем забегать вперед, Станислав. Надобно сначала, чтобы пани Марья получила свободу, потом предстоит оформить брак, а после думать о детях. И все же Марье это явно к лицу! Ей все к лицу — и пеленки, и дискуссии социалистов, и светские приемы. Он не мог не отметить, что Анна в сравнении с Марьей сильно проигрывает: есть в ней что-то простоватое и вульгарное, пожалуй, даже плебейское. Казь Длуский со своею склонностью к сплетиям утверждает, что все попытки Варыньского хоть как-то приобщить Анну к движению оказались тщетны. «Уникальный случай! — смеялся Длуский.— Анна — первый человек, которого не удалось распропагандировать Людвику!.. Пшепрашам, не человек, а женщина»,— добавлял он, как всегда, не удерживаясь от пошлости...

Они вышли из комнатки, где стояла детская кроватка, и оказались в другой, тоже тесной. Здесь находилась высокая железная кровать, круглый стол и большой, до потолка, буфет с резными дверцами. Варыньский предложил чаю, тут же спустился к консьержке и принес

чайник с кипятком. Анна к столу не вышла; Людвик объяснил, что ей время кормить Тадека.

Разговор за чаем поначалу касался необязательных вещей; воспитание не позволяло Марье сразу говорить о деле. Обсудили, на кого похож Тадек, рассказали о прогулке по озеру... Говорила Марья, Мендельсон поддакивал, Варыньский отмалчивался — ему эти разговоры были неинтересны. Он ждал дела.

— Говорят, вы едете в Познань? — наконец нетерпеливо спросил он, и Мендельсон заметил в его глазах зависть, точнее — тоску.

— Да, с Трушкой,— кивнул он.

— Как жаль, что я сейчас не могу бросить Анну! — воскликнул Людвик с чувством.— Но ничего, может быть, через месяц, если удастся нанять бонну... Хотя, где взять денег? — спросил он самого себя.— Я бы тоже мог приехать.

— Тебе совершенно нечего делать в Познани,— возразил Мендельсон.— Во-первых, ты не знаешь немецкого, а там он все же необходим. Во-вторых, мы скоро вернемся. Говорят, осенью соберется конгресс социалистов...

— Вот как! — загорелся Варыньский.— Русские приедут?

— Разве тебе недостаточно тех, что тут? Плеханов, Вера Ивановна, Жуковский...— принялась перечислять Марья.

— Я о практических деятелях говорю. От них все зависит. Сейчас в России решаются судьбы революции,— убежденно сказал Варыньский.

Мендельсон вспомнил, как на ноябрьском митинге прошлого года, посвященном пятидесятилетию восстания, Варыньский поразил многих, сказав, что «Россия перестанет быть опорой реакции, ибо в чреве своем носит революцию». Теперь, после первомартовского покушения, это уже не выглядит чересчур смелым прогнозом. Воп-

рос в том — есть ли еще у русских силы или же они все ушли на убийство царя?

— Не убежден...— протянул Станислав.— Мы не должны все время оглядываться на русских.

— Я не призываю оглядываться! Мы должны смотреть друг другу в глаза, как братья! — Варыньский вскочил на ноги, сразу занял собою всю комнату.

Марья смотрела на него, одобрительно улыбаясь. Но Марья не может разделять его мыслей! Значит, она улыбается ему: его темпераменту, его запальчивости, его искреннему волнению. Мендельсон почувствовал, что у него дернулось нижнее веко. Он знал за собой этот признак злости. Только не уподобляться Варыньскому... Спокойно и чуть иронично, Станислав...

— Разве я против русских? — начал он, откидываясь на спинку стула и принимая свободную позу.— Согласись, Людвик, что мы впереди русских идейно. Что же нам — идти назад от Маркса к «Народной воле» с ее террором? Смешно...

— Террор — порождение российского деспотизма. Мера вынужденная. Потом — это вопрос тактический. На нашу стратегическую линию террор не повлияет. А она направлена на создание партии рабочего класса...— не сдавался Людвик.

— И мы говорим про то же,— вставила Марья.

— Нет, позвольте! — Людвик поднял широкую ладонь.— Вы говорите о рабочей партии всех трех «захватов» с центром в Женеве, а я уверен, что это — ерунда!

— Людвик...— укоризненно произнесла Марья.

— Однако пан позволяет себе...— Мендельсон почувствовал, что его уши пылают. Это тоже было признаком ярости.

— Пшепрашам,— легко извинился Людвик.— Не будем придавать значения словам. Обратимся к сути.

Он раскрыл резную дверцу буфета и извлек из него тоненькую брошюрку в мягкой обложке. Предъявил ее Мендельсону и Янковской, как паспорт. На обложке было набрано типографским шрифтом: «Я. Стефанович. Злоба дня». И чуть ниже и мельче: «Действующим и готовым действовать сотоварищам моим мое дружеее послание».

— Вы это читали? — спросил Людвик.

— Читал,— кисло согласился Мендельсон.

Янковская отрицательно покачала головой. Варыньский перелистнул несколько страничек брошюры.

— Здесь есть прямо обращенные к нам слова. И очень правильные! — он собрался зачитывать.

— Но я читал! Читал! — нервно воскликнул Мендельсон.

— Марья не читала,— спокойно парировал Людвик и начал чтение.— «До сих пор вы действовали от нас особо,— Людвик оторвал глаза от текста и обвел указательным пальцем всех троих, как бы объясняя — кого имеет в виду автор брошюры.— Ваши организации не имели никакой связи с нашими. И до поры до времени это было как нельзя лучше для нас и для вас. С одной стороны, общество и правительство убедились, что русское социально-революционное движение — самостоятельное, родное, оригинальное движение; они убедились, что пресловутая «польская интрига» тут не при чем. С другой — ваша патриотическая шляхта, ваши патриоты-магнаты, в свою очередь, должны были замолкнуть перед ясной очевидностью фактов, перестать выставлять ваше молодое социальное движение как дело «интриги московской»...»

Мендельсон вынул сигару, закурил. А ведь похоже, что Людвика действительно кровно волнуют все эти вопросы! Нет, и он, случается, тратит нервы и силы на отстаивание своей точки зрения, и ему, Станиславу Мен-

дельсону, далеко не безразличны идеи. Но истинность этих идей сопряжена, и очень сопряжена — признайся, Станислав! — с возможностью что-то получить от идеи: влияние, популярность, реальную власть. Вот и сейчас идея одной социалистической партии на все «захваты» под руководством заграничного центра представлялась ему верной лишь потому, что этот центр должен был возглавить он. Так ли у Людвика?

— «...Теперь всем ясно,— продолжал читать Варыньский,— что наше движение — неизбежное следствие политических и экономических условий России; ваше — тех же условий Польши плюс России. В настоящее время мы должны соединиться в одну организованную партию. Это необходимо в интересах всем нам общего дела... Россия и Польша скованы одной и той же цепью; разбить эти оковы будет легче дружным усилием обеих вместе...»

— Я читал это, читал,— устало повторил Мендельсон.

— И ты не находишь это верным?

— Русский медведь подомнет нас. Он подмял нашу государственность, подомнет и социальное движение,— сказал Мендельсон.

— Я согласна со Станиславом,— заметила Марья.

— Проше паньства! Это не согласуется с интернационализмом, который мы исповедуем! — вскричал Людвик.— Нужно ответить русским товарищам на этот призыв.

— Как? — спросил Мендельсон.

— Словом и делом... Я мечтал бы взяться за создание партии, которая выступала бы с русскими единым фронтом.

— Где?

— В Варшаве, разумеется. Не здесь же! — Людвик развел руками так комично, что Марья прыснула.— Если бы я мог туда поехать...

— Не говори глупостей,— ласково сказала Марья, и Мендельсон почувствовал укол ревности.— Ты знаешь — тебя там дожидается полиция. Ты полезен и здесь...

— Я знаю,— кивнул он с грустной улыбкой.— Анна без меня не обойдется. Вся моя польза теперь — вот...— он поднял со стула грязную распашонку, швырнул ее в таз с мокрым бельем, стоявший за буфетом.

— У тебя, должно быть, нет денег...— Мендельсон полез в жилетный карман за кошельком.

Варыньский выпрямился, в глазах его блеснул гнев.

— Пан Станислав не может не знать, что Людвик Варыньский пользуется средствами партии, поступающими от пана Мендельсона. Но он берет их у кассира Трушковского и готов дать отчет о каждом сантиме,— проговорил он медленно, почти с угрозой.— Как частное лицо Людвик Варыньский подачек не принимает!

— Ах, перестань, Людек, мы вовсе не хотели тебя обидеть! — пани Марья шагнула к нему, поцеловала в щеку, для чего ей пришлось привстать на цыпочки.

За своей спиной Марья сделала знак Мендельсону: убери кошелек! Пожав плечами, он засунул его обратно в карман.

— Единственное, на что я согласился бы взять деньги,— это на поездку в Варшаву,— признался Людвик уже спокойнее.

Мендельсон с широкой улыбкой развел руками.

— Ты же знаешь, сколько денег жрет типография! Увы!

— Я понимаю,— Людвик опустил голову.

Когда Марья и Станислав спускались по лестнице, Людвик стоял в дверях и помахивал им рукою.

— Счастливого пути! Смотрите, не попадитесь там в лапы полиции! До видзэня!

Щелкнул замок двери. Марья и Станислав вышли на улицу, где уже тускло горели голубые газовые фонари.

— Ему надо искать работу,— озабоченно проговорил Мендельсон.— Семейный человек. Долг обязывает его быть с женою в Женеве, значит, надо зарабатывать...

— Ты плохо его знаешь,— возразила Марья.— Он уедет в Варшаву... Если хочешь мое мнение — там ему место!

Мендельсон пожал плечами, показывая, что он не очень в это верит, а с другой стороны — не в силах помешать глупому поступку. Марья взяла его под руку, и элегантная пара удалилась по Гран-рю в отель, где их ждал легкий ужин, который, как всегда, принесет в номер горничная — мадемуазель Жаклин...

Постскриптум

Станислав Мендельсон вскоре будет арестован в Познани с Марьей Янковской и вернется в Женеву лишь в начале 1884 года.

Затем Мендельсон и Янковская переедут в Париж, впоследствии будут жить в Лондоне. Их имена среди основателей ППС и творцов ее националистической программы.

В 1893 году на почве партийных размолвок произойдет отход Мендельсона и Марьи от движения. Он займется адвокатской практикой, она — литературной работой. Последние годы жизни Мендельсона пройдут в попытках вернуться в Варшаву, однако в этом ему будет отказано. Он поселится во Львове, где примкнет к крайне правому крылу галицийского общества, будет редактором еврейской националистической газеты на польском языке.

Умрет Мендельсон в 1913 году.

Глава одиннадцатая.
АННА

Ноябрь 1881 года

Сегодня пришел Дейч и принес какое-то письмо. Людек прочитал его, ужасно обрадовался. Прыгал, как лось. Чуть буфет не свалил. Тадек спал в кроватке. Я попросила Людека резвиться потише. Он подошел ко мне на цыпочках, лицо сияет — и поцеловал. Он меня редко теперь целует. Дейч улыбался, будто он главный. Я этого Дейча боюсь, хотя он любезен крайне. Зовет меня Аннушкой. А я как подумаю о человеке, которому он плеснул в лицо серной кислотой, так меня мутит. Студент Горинович. Мне Длуский рассказал под большим секретом.

«Анна, русские дадут нам денег!» — шепотом воскликнул Людек. У меня сердце упало. Значит, хочет уехать в Варшаву. Он давно об этом мечтал, денег не было. Могли бы дать Мендельсоны, но их сцапали жандармы в Пруссии. Будут судить. Людек говорил, что Бисмарк ввел какой-то «исключительный закон против социалистов». Почему все так не любят социалистов? Они же хотят добра.

Мадам Дижу напомнила, что нужно платить за квартиру. Людек обещал занять у Пекарского. Мы все время без денег. Раньше не унывали, но теперь устали уже. Нам помогает Станислав. Он поступил ассистентом к профессору Кану, патологоанатому; ухаживает за швейцаркой-медичкой. Наверное, они поженятся. «Где вы познакомились?» — спросила я Стася. «В анатомичке»,— спокойно ответил он. Не поймешь, когда он шутит, когда нет. Но брат у Людека добрый. Деньги дает тайком от Людека, иначе тот возмутится. Я беру, что ж делать?..

Месяц назад смотрю,— Людек что-то пишет. День пишет, два пишет... Я обрадовалась. Наверное, заказали

статью в журнал. Может быть, получит хоть немного денег. Написал, зовет меня в комнату. Я пришла с Тадеушем. «Слушай!» — объявляет торжественно, а сам прямо брызжет радостью. Я тоже обрадовалась, улыбаюсь, как дура. А он начинает читать: «К товарищам русским социалистам! Воззвание... Во второй половине девятнадцатого столетия, благодаря научным исследованиям, социализм как идея, вышедши из области утопий и метафизики, сделался положительной, наиболее прогрессивной и справедливой общественной теорией...»

«Господи,— думаю,— опять!..»

А Людек дальше. Глаза горят, голос звенит: «В своих научных исследованиях он служит выражением экономических противоречий, скрывающихся в самих основах капиталистического строя. В практической жизни он явился результатом исторической борьбы классов, длившейся целые века, вследствие антагонизма их интересов...»

Тадек глазенки выпучил, смотрит на отца. Но не плачет. Людек от бумаги оторвался, посмотрел на меня сквозь пенсне.

— Ты все понимаешь?

Я кивнула. Попробуй скажи, что непонятно! Начнет объяснять, пока не вдолбит — не остановится. Я уже знаю. Он недоверчиво усмехнулся, но принялся читать дальше.

— «Борьба эта ведется сегодня во всех цивилизованных обществах старого и нового света, то есть везде, где экономически-историческое развитие общественного строя вызывает ее к жизни. По природе своей она космополитична и интернациональна, соответственно строго космополитическому характеру эксплуатации трудящихся масс...»

А я уже не улавливаю смысл. Что такое «космополитична»? Пока думала над этим словом, Людек убежал далеко. Я и перестала слушать — ждала, когда он закончит.

И Тадек ждал, хотя слушал с большим интересом, чем я.
Людек прочитал воззвание, глянул строго.

— Понятно?

— Нет,— сказала я.— Непонятно.

— Чего же непонятного? — он искренне удивился.

— Непонятно, зачем ты это пишешь? Кому это нужно? Нам с Тадеушем это нужно? Или мадам Дижу? Или всем, кто живет на нашей улице? Это вам нужно, эмигрантам, чтобы болтать друг с другом! А мне это не нужно! — меня вдруг прорвало, я сама не знаю, как получилось.

Людек смотрел на меня озадаченно, потом сгреб нас с Тадеушем в охапку.

— Тадек, твоя мамка говорит глупство! — а сам смеется.

Мне не до смеха было. Я расстроилась, унесла Тадеуша в кроватку.

Он тоже огорчился. Целый вечер мы не разговаривали. Людек стал не такой, каким был прошлой осенью. Тогда мы много гуляли по Женеве, бродили по горным тропинкам. Брал он меня и на собрания эмигрантов, но там слишком много и долго разговаривали. Я уставала, становилось скучно. Людек перестал меня брать. Когда родился Тадеуш, стало уже не до того.

Напрасно он думает, что мне безразличны его дела. Я радуюсь за него, когда у него что-то получается. Но это бывает редко. Он выбрал неправильную дорогу и теперь мучается. Лучше было бы выучиться на инженера, как он хотел раньше. Он бы стал зарабатывать деньги, но не это главное. Он имел бы удовлетворение и сам уважал себя. А сейчас его точит сомнение, беспрерывное терзание духа. Я бы с ума сошла! Ему все время надобно доказывать себе и другим, что он живет не напрасно. Поэтому собрания, споры, болтовня, поэтому конгрессы и митинги... Месяца полтора назад ездил в

Хур, это на юго-востоке Швейцарии. Там собрался международный конгресс социалистов. Людек получил мандат от познаньских рабочих кружков, от группы краковских рабочих и, конечно, от редакции «Пшедсвита». Был на седьмом небе от счастья и гордости. С ним вместе ехал старик Лимановский как представитель организованных рабочих Галиции. Людек на радостях предложил ему выступить вместе. У него есть черта — когда ему хорошо, он думает, что все его любят. Лимановский ответил холодным отказом: нам с паном не по пути... Людек разозлился, и на конгрессе они схватились публично — опять же по поводу народности. Не понимаю, почему Людек упрямится. Лимановский правильно говорит: не может поляк не думать о «неподлеглости».

Людек приехал и говорит:

— Все! Болтовня надоела!

«Слава богу! — думаю. — Может быть, возьмется за ум».

— Поеду в Варшаву. Буду дело делать,— сказал он.

Я сначала не поняла. Какое дело? Неужто станет ремеслом заниматься? А как же с пропиской? Его ведь ищут с семьдесят восьмого года. Он понял по глазам — какие вопросы меня волнуют. Сказал твердо:

— Поеду один. Нелегально... Но сначала добуду для вас денег.

Я заплакала. Когда успокоилась, подумала — где он их достанет? Может, обойдется?.. Но вот этот противный Дейч принес письмо из Питера, где обещаны Людеку деньги.

Вечером он собрал друзей. Приглашены были Дейч, Вера Ивановна, Дикштейн... Первым, однако, пришел Стась. Я зазвала его в спальню к Тадеушу, стала жаловаться. Хотелось, чтобы он отговорил Людека ехать в Варшаву. Это же опасно.

Стась выслушал меня, вздохнул.

— Пусть едет, Анна. Не удерживай его.

— Но почему? Почему?

— У него такой крест,— объяснил Стась.

— А мне здесь кто поможет? Ты? — напустилась я на него.

Стась поднял на меня свои добрые глаза и говорит спокойно:

— Я.

...Гости собрались, уселись за круглым столом, в центре стола поставили канделябр со свечами. Дикштейн высыпал в блюдо сухое печенье — рассыпчатое и солоноватое на вкус, я такое люблю. Людек еще днем купил в лавке кусок вареной телятины, сам ее разрезал и сделал бутерброды. Мне стыдно было за такой бедный стол, помню; у нас в Варшаве, когда еще работал Вацлав, мать устраивала обеды, на которые собирались родственники,— куда нам до тех застолий! Изысканных кушаний у нас не водилось, зато обильно было и вкусно.

А здесь на закуску — те же разговоры, что днем в Английском саду. Маркс да Лавров, Желябов да Перовская, национальный вопрос, позитивизм... Черт голову сломит! Смотрю я — все Людека напутствуют, советуют, как ему быть в Варшаве. Тут я поняла, что он действительно уедет, и уедет надолго. Мне стало страшно и одиноко, а когда я подумала, что его там могут арестовать и Тадек никогда больше не увидит отца... Слезы сами собою закапали из глаз.

Людек их заметил, нахмурился.

— Что случилось? — наклонился он ко мне.

— Ты надолго в Варшаву? — сквозь слезы спросила я.

— Навсегда,— шепнул он.

— Но как же мы?

— Вы приедете ко мне в свободную Польшу, как только там произойдет социальная революция. Посмотри, что делается вокруг, Анна! Трон русский шатается, рабочие


ЯНЕЧКА

осознают свою силу! Еще год-другой и...— он обвел взглядом присутствующих, как бы ища поддержки.

Лишь Дикштейн горячо поддержал его; Станислав спрятал глаза, Дейч снисходительно улыбнулся, а Вера Ивановна сказала просто: «Поживем — увидим...»

Вдруг заспорили о том — может ли революция быть мирной. Да кто же из богатых отдаст накопленное по-хорошему? Но русские говорили, что при определенных условиях это возможно; Людек же размахивал руками и кричал, что всех буржуев надо рубить саблею! Он вообще разошелся, начал хвастаться. Я не люблю, когда он хвастается. Он говорил, что его еще вспомнят поляки, что ему на роду написано установить в Польше новый общественный строй, и другие глупости. Он совсем потерял голову от мечтаний о варшавских подвигах. Даже Дейч, когда вышел на кухню курить со Станиславом, заметил, что Людек хватил через край. Я мыла рядышком чашки.

— В каком смысле? — спросил Стась.— Многого хочет?

— Конечно! Может быть, подождем суда истории? — иронически заметил Дейч, выпуская кольцо дыма.

— Подождем, конечно,— согласился Стась.— Но Людек правильно себя оценивает.

— Вы тоже думаете, что ему уготована историческая миссия? — удивился Дейч.

— Именно так, пшепрашам,— кивнул Стась.

Я со злости швырнула блюдце, оно разлетелось. Какая миссия, матка боска! В доме четыре сантима, в Варшаве Десятый павильон, после первого марта хватают любого подозрительного! О чем они говорят!

Людек ворвался в кухню, принялся тянуть всех к столу. Он был весел и возбужден. Если бы не знать ничего, я бы снова в него влюбилась! Но теперь...

— Пойдемте петь! Быстро, быстро! — торопил он.

Снова уселись вокруг стола и запели. Людек любит

петь, в особенности протяжные русские песни. Я заслушалась, когда он своим красивым голосом затянул:

Славное море, священный Байкал!
Славный корабль — омулевая бочка!
Эй, баргузин, пошевеливай вал...
Молодцу плыть недалечко.

И все подхватили — Вера Ивановна, Дейч и Стась с Шимоном. И лица у всех сделались строгие и печальные, и все смотрели куда-то далеко, так что мне жаль их стало — вдруг кому-то доведется попасть туда, в страшную глухую Сибирь? Вдруг это будет мой муж?..

Тадеуш заворочался в кроватке, начал хныкать; я к нему поспешила...

Постскриптум

Одному из них, Льву Григорьевичу Дейчу, через два с лишним года действительно предстоит пройти этапом до Кары в Забайкальском крае, где он проведет на каторге и поселении шестнадцать лет.

Анна Серошевская в скором времени отдаст сына на воспитание в семью Станислава Варыньского, сама же поселится в Париже, где выйдет замуж за врача Франциšека Роецкого. О дальнейшей судьбе Анны автору ничего неизвестно.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

«...Пребывание Варыньского в Женеве имело для него самого и его сторонников большое значение,— пишет Ежи Таргальский.— Они углубили свои знания социалистической теории, познакомились с практическими достижениями тогдашнего социал-демократического движения и на основании этого разработали предложения о будущей

деятельности в крае. Осенью 1881 года группа польских социалистов, объединявшаяся вокруг журнала «Пшедсвит», разработала собственную концепцию революционного движения в Польше. Не отказываясь, как и другие сторонники Маркса, от идеи международной социальной революции, Варыньский приходит к убеждению о необходимости проведения среди рабочих не только пропаганды, но и политической агитации. Главным препятствием подготовки масс к революции являлись недостаточность политических свобод в Пруссии и Австрии и полное отсутствие их в России. Варыньский приходит к мысли о необходимости создания кадровой централизованной партии рабочих и увязки ее деятельности с борьбой других социалистических партий — без различия национальностей.

По убеждению Варыньского, ввиду раздела Польши на три части с различными общественными условиями в них, польские социалисты в каждой части должны объединиться с социалистами государств, осуществивших разделы, и вместе с ними бороться за политические свободы и классовые интересы пролетариата.

Людвик Варыньский уделял огромное внимание союзу польских и русских социалистов. Это вытекало не только из его личных дружественных контактов с русскими социалистами в Петербурге, Варшаве и Женеве, но прежде всего из оценки ведущей роли России с Королевством Польским в будущей европейской пролетарской революции. В 1880 году такой взгляд был новаторским, его поддерживали единицы. Варыньский считал, что важнейшей задачей польских социалистов должно быть разжигание пламени классовой борьбы среди рабочих Варшавы, Лодзи, Згежа и соединение ее с борьбой русских революционеров.

По инициативе Людвика Варыньского редакцией «Пшедсвита» и русской группой под руководством Пле-

ханова в Женеве была выработана концепция политически-организационного союза польского и русского революционного движения. Она нашла отражение в знаменитом обращении «К товарищам русским социалистам», написанном Людвиком Варыньским и изданном в «Пшедсвите» и отдельной листовкой. Обращение указывало на необходимость объединения всех групп и создание в государстве российском единой социалистической партии, опирающейся на совместно выработанную политическую программу...»

Ввиду чрезвычайной важности этого программного документа приведем выдержки из его анализа, содержащегося в работе советского историка А. М. Орехова.

«Признание польскими социалистами необходимости и неизбежности политической борьбы свидетельствовало об успешном преодолении анархистских взглядов, о переходе на платформу, близкую к революционным рабочим партиям, о движении в направлении освоения методологии научного социализма...

Соглашаясь с тем, что польское национально-освободительное движение в свое время пользовалось симпатиями международного прогрессивного общественного мнения, авторы обращения тем не менее утверждали, что «польский вопрос» утратил актуальность, «потерял свое жизненное значение». В памяти народных масс остались лишь «бессознательные национальные традиции», которыми спекулируют реакционные шляхта и буржуазия. «Для нас, социалистов, национальный вопрос по принципу своему ничего общего с социализмом не имеет, а так как он в своей практической жизни основывается на единстве и солидарности классов, то может для нас иметь лишь отрицательное значение, служа препятствием к развитию социалистического сознания среди рабочих масс и принося вред интересам свободы вообще». Подвергнуть резкой критике солидаристские тенденции, неизбежно воз-

никающие в национальном движении, было, разумеется, необходимо. Вместе с тем негативная оценка национального вопроса показывала, что авторы обращения не продвинулись вперед в понимании его и остались в плену прежних ошибочных представлений, приводивших, по существу, к отказу от попыток влиять на патриотически настроенные массы трудящихся, чтобы вовлечь их в движение под руководством рабочего класса.

...Обращение выделяло как один из главных тезисов, что только солидарные действия «организованных рабочих масс различных национальностей в пределах Русского государства обеспечат окончательную победу над царизмом». Важным моментом обращения является также упоминание в позитивном плане «террористической борьбы за политическую свободу». Террор как инструмент политической борьбы впервые включается в программные требования польских социалистов. Пока о нем сказано в самой общей форме...

Несмотря на такие существенные недостатки, как недооценка лозунга политической независимости Польши, способного объединить широкие слои польской нации под руководством революционной партии, и принятие террора как тактического средства, значение обращения в истории польской социалистической мысли велико. Оно выражало стремление польских социалистов к углублению и развитию союза с революционными силами в России, к единству действий в борьбе с самодержавием. Эта идея в последующие годы была воспринята и развита, обогащена разнообразной практикой революционных рабочих партий Польши и России. Одновременно обращение стало одним из важнейших программных документов польской социалистической мысли, свидетельствующих о преодолении анархистских ошибок и признании политической борьбы рабочего класса за установление демократических свобод и свержение самодержавия...

Для Л. Варыньского как будущего основателя и вождя первой польской рабочей партии в освоении им марксизма этот момент сыграл важную роль, стал вехой в формировании его мировоззрения...»

В последние дни декабря 1881 года Людвик Варыньский, благодаря материальной и моральной поддержке своих русских друзей, сумел уехать в Варшаву, имея при себе лишь один надежный конспиративный адрес: улица Оссолиньских, 4,— жилище русского юриста Михаила Добровольского, близкого к русским и польским революционным кругам.

Глава двенадцатая. ПРОФЕССОР

Август 1882 года

Пухевич дождался, когда мать с отцом, пожелав ему спокойной ночи, скроются в спальне, и перестанет пробиваться свет из-за двери, ведущей в комнату служанки Эльжбеты. Только тогда он вышел в кухню с керосиновой лампой в руках и, поставив ее на стол, приподнял за железное кольцо тяжелую крышку подпола. Осветились крутые деревянные ступени вниз. Пухевич затеплил от лампы свечу и осторожно спустился в погреб. Там со вчерашнего дня была оставлена приготовленная им гектографическая масса. Казимеж впервые занимался столь несвойственной ему технической конспиративной работой, потому нервничал и волновался, несмотря на полное спокойствие в доме.

Он нашел на полке плоскую жестяную коробку, которую по его просьбе изготовил слесарь Ян Пашке — один из его доверенных, обеспечивающих контакты с рабочими, а в ней застывшую массу, придавленную сверху мра-

морной тяжелой плиткой, чтобы поверхность была идеально плоской. Пухевич вынес коробку наверх. Он опустил крышку люка и полюбовался ровной, похожей на мармелад, желатиново-глицериновой массой; потрогал ее пальцем. Она была упруга, как резина.

Он вздохнул, поправил пенсне на шнурке, сделал несколько рассеянных движений... Ничего не поделаешь, надо печатать оттиски. Он сам взялся за это дело, понимая, что Варыньскому и Куницкому труднее справиться с такой работой. Первый — полный нелегал, а второй приехал в Варшаву навестить родителей из Петербурга, ему только гектографа не хватало!

Но печатать не хотелось. Не потому, что Пухевич был ленив — его трудолюбия и упорства хватило бы на целую нотариальную контору, в которой работал молодой кандидат прав. Дело было в содержании того документа, что должен был выйти из-под валика гектографа в количестве пятидесяти экземпляров и разойтись для обсуждения в рабочих кружках.

Пухевич не одобрял содержания документа, не одобрял даже его заглавия: «Воззвание Рабочего комитета социально-революционной партии «Пролетариат». Правда, это еще проект, но он сердцем чувствовал, что Варыньский добьется одобрения его рабочими и тогда проект станет воззванием — практически программой новой партии, создание которой Пухевич считал ошибкой.

Он оставил гектограф на столе, на цыпочках сходил в свою комнату за стопкой листков воззвания, переписанного для гектографа специальными анилиновыми чернилами. Переписывала сестра его ученика Тадеуша Ентыса — Александра, или Янечка. Очень миловидная и умная девица; Пухевич тайно симпатизировал ей, но на более серьезное чувство не решался. Да, он осторожен, но осторожность еще никому не вредила — ни в делах, ни в революции, ни в любви. Наоборот, поспешные действия

могут все испортить... Он опять вспомнил Варыньского, досадливо поморщился.

Тем не менее покорно, точно приговоренный судом, Пухевич поплелся в комнату за чистой бумагой и валиком. Пачка была увесиста. Он распаковал ее и вынул белоснежную кипу.

Можно было начинать.

Пухевич двумя пальцами взялся за первую страницу воззвания и положил ее текстом вниз на поверхность желатиновой массы. Сверху придавил мраморной плиткой. Теперь следовало выждать пять минут.

Как он надеялся на приезд Варыньского — и вот что вышло!

Пухевич участвовал в движении еще три года назад, когда после первой волны арестов и отъезда вожаков — Варыньского и Узембло в Галицию — организацию пытались сохранить Дзянковский и Венцковский. Однако последовала вторая волна в октябре, а затем и третья — в апреле. Пухевич оказался в Десятом павильоне и вместе с товарищами по «делу 137-ми» был подвергнут административному наказанию. Его имя не значилось среди руководителей организации и наиболее активных членов, посему Казимеж получил лишь несколько месяцев тюрьмы, которые и отбыл в Новогеоргиевской крепости. Всполошенные родители не знали, что думать: их рассудительный, педантичный сын оказался в рядах революционеров! Они посчитали случайностью — с кем не бывает? Однако они плохо знали Казимежа. Усвоив какую-то научную теорию, он никогда более от нее не отказывался, а последовательно и без шума проводил в жизнь. Буквально через несколько дней после выхода из тюрьмы Пухевич был на Праге: искал знакомых рабочих из разгромленных кружков — и нашел сразу двух. Это были Ян Пашке и Ян Сливиньский. Пухевич привел их к себе, усадил и долго, обстоятельно объяснял — почему и как следует вести

дальше работу по внедрению социализма в сознание рабочих масс.

Ему удалось их убедить, а может, вызвать робость своим ученым видом: тощий, сухой, с худым лицом аскета и колючими глазами, в которых сквозь стекла пенсне светился ровный огонь научной веры. Сама собою родилась и кличка — Профессор, под которой Пухевич стал известен в рабочей среде. Известность была сродни мифической: сам Казимеж среди рабочих не появлялся, опасаясь доносителей; его именем и идеями пользовались доверенные апостолы — Пашке, Сливиньский, а позднее — и Теодор Каленбрунн. Лишь они регулярно встречались с Профессором и знали его в лицо; те же, кто внимал им на фабриках, в трактирах и костелах, довольствовались ссылками на Профессора, который столь учен, что читает толстую немецкую книгу, где сказана вся правда о положении рабочих и угнетении их капиталистами.

Впрочем, несмотря на то, что Пухевич действительно читал «Капитал» в подлиннике, он не чувствовал себя пророком; почитание немецкой социалистической мысли согласовывалось с немецкой любовью к порядку и немецкой же привычкой к дисциплине. Пухевич знал, что пророков польского социализма сейчас нет в крае: кто пошел этапом в Сибирь, как Венцковский и Мондшайн, кто умер, как Гильдт и Дзянковский, который угас уже в Кавказском крае; кто находится в эмиграции, как Дикштейн, Мендельсон и Варыньский.

Пухевич вполне сознательно, без всяких признаков зависти или гордыни, считал себя скромным служкой алтаря, поддерживающим огонь в лампаде, пока ксендз готовит проповедь.

Он знал, а точнее, чувствовал, что главной фигурой движения по-прежнему остается Варыньский. Они не были лично знакомы, тем большее уважение испытывал к Варыньскому Пухевич; имя Людвика в Варшаве окружено

было легендами: рабочие рассказывали друг другу, каким простым и веселым парнем был этот Ян Бух, как он ловко дурил полицию; интеллигенты передавали из уст в уста речь Варыньского на Краковском процессе, долетали до Варшавы и номера «Рувности», а потом «Пшедсвита», где в некоторых неподписанных статьях обращал на себя внимание тот же ясный, простой и доходчивый стиль, что был характерен для речи Варыньского в Кракове. Знал Пухевич и о женевском митинге в ноябре восьмидесятого года, и о конгрессе социалистов в Хуре год спустя, откуда пришли тревожные слухи о раздоре между Лимановским и Варыньским.

Но чем дальше уходило в историю «дело 137-ми», чем глубже внедрялся в рабочую среду Пухевич через своих агентов, чем радикальнее становились слова и поступки Варыньского, доходящие до Варшавы из-за границы, тем горестнее и горестнее закрадывались сомнения в душу к Казимежу. Он по-прежнему жаждал приезда Варыньского или других признанных вождей, но уже не считал себя пешкой — как-никак он целый год рыхлил почву, а их, увы, не считал более непогрешимыми.

Особенно напугало Пухевича обращение «К товарищам русским социалистам». Спору нет, теоретические предпосылки правильные; в основном согласуются с Марксом, но каковы же практические выводы? Кадровая партия и террор... Иными словами, польский вариант «Народной воли», получается так?.. Что же они там, в Женеве, не видят, как после первого марта ряды народовольцев тают на глазах? Или не поняли, что расчет Желябова и Исполнительного комитета на стихийную вспышку после смерти самодержца оказался ложным? Правительство, может, и напугалось, но репрессии лишь усилились. Пухевич ощущал их буквально на каждом шагу: количество шпиков утроилось, каждый свой шаг следовало тысячу раз обдумать. Им хорошо в Женеве

говорить о кадровой партии... Ты попробуй сделать!

И все же он надеялся на приезд Варыньского, благо слухи о том, что Людвик мается в эмиграции и хочет вернуться, доходили до Королевства. Еще в Десятом павильоне кто-то рассказывал Пухевичу о письме Варыньского Плеве (последнего Казимеж уже не застал), а в том письме — черным по белому: «Я вернусь в Польшу». Пухевич надеялся, что Варыньский, как человек умный, на месте разберется и поймет неосновательность своих планов, поубавит пылу, не станет гнаться за журавлем в небе, а посчитает за счастье синицу Пухевича, которую тот уже держал в руках. Медленная, основательная подготовка рабочего класса к борьбе за свои права. А главное, по сути, единственное средство в ней — стачка.

Стачка — великая сила, если уметь ею пользоваться! Куда террору! Убьешь губернатора — поставят нового, убьешь шпиона — подошлют десяток. Но как быть, пшепрашам, когда рабочий не работает, фабрика стоит? Расстреливать за это всех рабочих не станут, ибо кто же будет производить орудия и товары? Значит, пойдут на уступки. Только надобно полное единство, чтобы ни одного штрейкбрехера! Достаточно внедрить эту простую мысль в головы рабочих — и считай, что дело сделано! Стачкой можно добиться всего, вплоть до смены государственной власти. А террором да нелегальщиной добьешься только Сибири.

Если говорить честно, Пухевич и не желал смены власти. Достаточно чуть прибавить демократии, свобод, прежде всего — свободу стачек! — и можно жить. Новая, социалистическая власть рисовалась пока туманно. Какое там будет государство? Маркс на сей счет в общих чертах выразился, но практика может повернуть по-всякому. Достаточно улучшить положение рабочих, добиться справедливости в вопросе распределения прибавочной стоимости, а власть можно не менять...

И вот Варыньский приехал. Пухевич узнал об этом от Людвика Кшивицкого, молоденького студента, посещавшего кружок Станислава Крусиньского. В университетской среде молодых людей, ходивших в этот кружок, называли ласково-иронически «крусиньчики». «Крусиньчики» поставили себе задачу: перевести на польский «Капитал» Маркса и трудились над первым томом — обсуждали возникающие термины, боролись с трудностями синтаксиса. Социализм у «крусиньчиков» был чист, как дистиллированная вода. Похоже, они не собирались как-то применять его на практике, им достаточно было верных теоретических положений. Даже Пухевич с его умеренностью посмеивался над «крусиньчиками» в разговорах с Пашке и Сливиньским: «Станислав полагает, что капиталисты, прочитав перевод «Капитала», убедятся в своей алчности и перестанут обманывать рабочих». Впрочем, и «крусиньчики» полезны со своею наукой, если он, Пухевич, сумеет объединить рабочих для легальной борьбы.

Удивило Пухевича то, что Варыньский, появившись на квартире русского судьи Добровольского, где часто собирались «крусиньчики», не полез с ними в драку, не стал стыдить оторванностью от жизни, а спокойно поучаствовал в теоретических дискуссиях и... перестал показываться. В дальнейшем видели его лишь среди рабочих, о чем доложили Пашке и Сливиньский. Пухевич обиделся: положим, они незнакомы, но неужто Варыньский не слышал о нем в Женеве или хотя бы здесь ему не сказали, что Пухевич — единственный, кто не позволял погаснуть огню пропаганды в период междупутья?

...Казимеж снял плиту и отделил оригинал от желатиновой матрицы. Четкие буквы воззвания, написанные женским каллиграфическим почерком Янечки, отпечатались зеркально на поверхности, и, как ни был Пухевич недоволен содержанием печатаемого документа, он все

равно невольно полюбовался текстом. Завтра его работа разойдется по заводам и фабрикам, будет передаваться из рук в руки, многие из нее впервые узнают, что в Варшаве создана рабочая партия «Пролетариат». Но создана ли она на самом деле?

Пухевич приложил лист бумаги к матрице, с усилием прокатил по нему резиновый валик; с легким шорохом оторвал листок от желатинового слоя. Оттиск хорош был; Пухевич подумал, что стоит завести собственную типографию, пусть простенькую. Может быть, придется разойтись с Варыньским и печатать свои воззвания? Он отогнал эту мысль. Лучше бы все-таки договориться.

Собственно, воззвание было плодом компромиссного решения, результатом договора меж ним и Варыньским, но со стороны Пухевича уступок было больше, и это огорчало его, оскорбляло чувство справедливости. А во всем виноват Куницкий. Черт его дернул приехать из Питера и по случайности сойтись с Варыньским!

Впрочем... Не только в Куницком дело. Варыньский, как приехал, тут же стал создавать боевое ядро партии, ее Рабочий комитет. Собственно, когда наконец произошла встреча его с Пухевичем — а она не могла не произойти,— ядро уж было создано. Варыньский нашел Генрыка Дулембу, это была его большая удача, ибо по деловитости, неугомонности и предприимчивости Дулембе не было равных среди рабочих Варшавы. Он один мог бы заменить и Пашке, и Сливиньского, и Каленбрунна, но... похоже, что Дулембе было скучновато с Пухевичем, он явно Казимежа сторонился, даром что вместе сидели в тюрьме.

Зато Варыньскому бросился на шею. Сразу, безоговорочно поверил, принял и полюбил. Сам на восемь лет старше Людвика, бывший мыловар, происхождение — из мелкой шляхты. Шутки и прибаутки так и сыплются. Жаль, что Дулемба не с нами, думал Пухевич. Но что поделаешь...

А дальше — пошло и поехало. Варыньский набирал сторонников бешеными темпами: Острейко, Шмаус, Заремба, Пташиньский... Пухевич почувствовал панику. Все это были, по отзывам Пашке, весьма крепкие люди, не какие-нибудь мальчишки: каждый сам мог повести за собою рабочих. И вели. Фактически это уже был Рабочий комитет, к которому следовало подобрать партию. Так сказать, присовокупить. Варыньский, к удивлению Пухевича, начал строить пирамиду с вершины — и строительство продвигалось весьма успешно. Пухевич же никак не мог закончить фундамент своего строения. Может быть, они строят одно здание? — спросил он себя. И ответил: нет. Ни цели, ни методы Варыньского его не привлекали, более того, казались ошибочными. Со страхом он ожидал со дня на день, что начнутся репрессии. Как спокойно было в Варшаве без Варыньского!

Они встретились наконец, Дулемба их таки свел. Его хитрый глаз озорно блеснул, когда он представил Пухевича Варыньскому: «Наш известный Профессор...» Точно хотел добавить: «...кислых щей». Пухевичу стоило большого труда не заметить насмешки.

Но Варыньский не стал насмехаться и умничать. Как раз в то время прошла стихийная забастовка в мастерских Варшавско-Венской железной дороги, и Варыньский тут же предложил сочинить воззвание к рабочим. Прощупывает, хочет посмотреть в деле — понял Пухевич и согласился.

На этой листовке они и определили свое отношение к делу и друг к другу. Мучались месяц, собираясь у Янечки Ентыс, благо квартира ее в Институте благородных девиц была вне подозрений. Варыньский настаивал на решительных формулировках, на требовании экономического террора, Пухевич не сдавался: «Пан Людвик, вы давно не были в Варшаве. Вас просто не поймут. Наоборот, надо призвать рабочих действовать в полном соответствии

с законом, чтобы не давать повода властям употребить силу...» В конце концов Людвик сдался; листовка была выпущена лишь в июле, через несколько месяцев после забастовки.

Варыньский заговорил о программе Рабочего комитета. Пухевич пожал плечами: зачем? Ему казалось вообще нескромным объявлять о создании некоего комитета. Кто уполномочивал их? Всякий руководящий орган должен быть избран, не так ли, пан Людвик? «Непременно изберем,— смеялся Варыньский.— Иногда полезно перевернуть порядок вещей с ног на голову!» Этого Казимеж решительно не понимал. Никакой порядок не может быть перевернут с ног на голову. Тогда он перестает быть порядком.

Тут явился Куницкий. Пухевич связан был с ним уже порядочно времени. Он знал, что Станислав в Петербурге учится в институте инженеров путей сообщения; больше времени, однако, уделяет революционным делам — имеет тесные связи с «Народной волей» и одновременно создавал Секретный совет, или Огниско, так называемой Польско-литовской социально-революционной партии. Стась показывал Пухевичу программу, тот лишь из вежливости не наговорил ему неприятных слов: содрано все у «Народной воли», грубо говоря. Пухевич подозревал, что и партия сама — не более чем фикция. Шесть человек Огниско — это реальность, но не мало ли для партии? Наскоки романтиков, их нетерпеливость и авантюризм — что уж тут церемониться? — Казимежа огорчали. Надобно дело сделать, а потом трубить на весь свет о создании партии. И все же он был готов простить Куницкому склонность к авантюризму, объясняя это молодостью и горячностью крови (у Стася взрывная смесь в крови: отец — поляк, а мать — грузинка), пока Куницкий действовал в Петербурге. Но вот он появился в Варшаве и тут же спелся с Варыньским. Пухевич сам наблюдал после того, как

познакомил их на свою же голову. Варыньский взял с собою Стася на сходку рабочих — раз, второй, на третий Куницкий готов был лезть на баррикады...

С двумя Пухевичу было уже не совладать. А точнее — с тремя, ибо Янечка Ентыс на правах хозяйки конспиративной квартиры присутствовала при их спорах и, хотя воспитание не позволяло ей вступать в разговор трех вожаков варшавского пролетариата, она всем видом своим, взглядами, жестами, самим, казалось, взволнованным дыханием — была на стороне Варыньского. Пухевич, даром что в рационализме обвиняли — чувств не был лишен, сразу увидел, что Янечка, увы, сердце свое и убеждения отдала Людвику.

И вот результат: Казимеж гектографирует проект воззвания Рабочего комитета, принятый ими тремя, а точнее, двумя голосами против одного, и через несколько дней в Варшаве и за границей узнают о создании первой рабочей партии Польши.

Все бы хорошо, но надолго ли партия? Листки эти не только друзья прочитают, но и враги. И сделают выводы.

Пухевич стер мокрой губкой оттиск первой страницы с матрицы и наложил на нее вторую...

К утру в его комнате ровной красивой стопкой возвышалось пятьдесят аккуратно сброшюрованных тетрадок гектографированного проекта воззвания, а сам Казимеж, уронив голову на письменный стол, чутко спал, видя страшный, повторяющийся последнее время сон: жандармский обыск на его квартире и появляющиеся из погреба тюки нелегальных изданий.

Постскриптум

1 сентября 1882 года воззвание Рабочего комитета будет отпечатано типографским способом народовольцем Янчевским. От этой даты начнется жизнь и деятельность социально-революционной партии «Пролетариат».

Казимеж Пухевич скоро разойдется с Варыньским и создаст собственную партию «Солидарность», отличавшуюся умеренными экономическими требованиями. Пухевича арестуют в сентябре 1883 года, затем выпустят и вновь арестуют в феврале следующего года. Он уже будет неизлечимо болен; смерть наступит в августе.

Глава тринадцатая.
ГЕНРЫК

Июнь 1883 года

...Прозвище ему Дулемба придумал, как увиделись после разлуки. Потом оно стало партийной кличкой. Людвику нравилось, что Генрык произносит эту кличку, будто она сохранилась с детства, когда мальчишки дают друг другу разные прозвища, а потом, через много лет, с грустью вспоминают их, повстречавшись.

Дулемба звал его — Длинный.

Людвик как бы в отместку тоже придумал ему кличку по аналогии: Малый. Длинный и Малый — два сапога пара. Но у Генрыка получалось смешнее.

— Длинный, тебе пенсне Профессора подходит?

— Не знаю, не примерял,— отвечал Людвик, чувствуя подвох.

— А ты примерь. Может, сквозь него наше воззвание и тебе страшным глянется?

Когда проходили по Замковой площади, Генрык задирал голову на «колонну Зыгмунта» — памятник Сигизмунду Третьему на высоком гранитном столбе.

— Как полагаешь, Длинный, тебе там удобно будет?

— Где? — спрашивал Людвик.

— На колонне Зыгмунта, когда его скинут, а тебя поставят.

— Почему меня должны поставить?

— Ну, ты же у нас будешь вроде как король в рабочем государстве?

— Да, Малый, немного в тебе классового сознания,— озабоченно качал головой Людвик.

Оба смеялись, довольные друг другом. Дулемба испытывал к Людвику нежность, будто к брату, что был десятью годами младше и жил в Люблине. Разница в годах почти та же — восемь лет. Но дело не в годах даже, а в той особой симпатии, что появилась меж ними еще в семьдесят восьмом году, когда Дулемба работал слесарем в ремонтных мастерских Привислинской железной дороги и входил в один из кружков. В ту пору дружбы не возникло — Варыньский находился во главе движения, Генрык был рядовым его членом, одним из многих рабочих, посещавших кружки. Он понимал, что у Яна Буха таких кружков — десятки. Успел лишь рассказать ему о себе — родом из шляхты, сын лесничего, рано осиротел, из четвертого класса гимназии выгнали за протест против преподавания закона божьего по-русски, потом учился в Варшаве, пошел в народ — на фабрику Гоха мыловаром... Больше поговорить с Варыньским не довелось — вскоре начался разгром кружков; Варыньский уехал, а Дулембу арестовали летом семьдесят девятого и дали год тюрьмы административно.

Зато теперь повстречались, как родные братья, и уже друг с другом не расставались. У Генрыка семьи не было, мужчина самостоятельный — снимал квартиру на Вильчей, неподалеку от Мариинского института, где преподавала Янечка — это потом кстати оказалось. С Дулембой сразу стало легко и просто, а главное, Варыньский почувствовал преданность и веру в него, какой не испытывал со дня расставанья с Филюней, мир ее праху!

К тому времени Генрык работал уже у Лильпопа, где когда-то начинал Людвик. Там и стали вербовать новых

сторонников. Дулемба рассказывал, как к нему подъезжал Пухевич.

— Профессор через Янека меня вызвал в сад Красиньских. Пришел я — гляжу: сидит на скамеечке, точно слепой, в темных очках. Трясется от страха, что в нем социалиста узнают. Я подошел, сел рядом, «Варшавянку» насвистываю. Он только шипит, не поворачивая головы: «Я умоляю пана...» Пожалел я его. Стали разговаривать шепотом, он все время озирается. «Перестаньте дергаться, пан Профессор, а то нас вправду заарестуют»,— говорю я. Он окаменел, минуту вообще молчал. Я думал, у него столбняк. Потом нутряным голосом гундит: «Пан Дулемба мог бы рассказать рабочим о стачках?» Я говорю: «Чего о них рассказывать — их делать надо!» — «А если пригонят казаков?» — «Пригонят казаков — будем строить баррикады и стрелять!..» Он со скамеечки сполз и ушел, ни слова больше не сказал. Язык отнялся...

Дулемба Пухевича невзлюбил, не уставал издеваться над его конспиративными приемами и откровенной трусостью.

— Ты попомни, Длинный, с Профессором мы еще нахлебаемся! Зря вы с ним сговорились,— сказал Малый, узнав о спорах по поводу воззвания Рабочего комитета.

— У него влияние среди рабочих,— сказал Людвик.

— Не смеши меня, Длинный. Какое влияние?

— Может, еще договоримся. Профессор нам пригодится. Он типографию приобрел, слышал?

— Нам с той типографии, как с козла молока!

Марцелий Янчевский напечатал воззвание красиво, Людвик был счастлив. Верно говорят: что написано пером — не вырубишь топором. Здесь же не написано, а набрано: «социально-революционная партия «Пролетариат»...

Он уехал в Женеву с этой брошюркой — показать женевским друзьям — Янковской, Дикштейну, Длускому и Пекарскому, издававшим «Пшедсвит». Мендельсон с Трушковским еще сидели в познаньской тюрьме, а пани Марья, отбыв короткий срок заключения, должна была быть выдана русским властям, но... сбежала на границе! Людвик смеялся, рассказывая эту историю. «Наверняка ее муж подкупил жандармов. Не такая женщина пани Марья, чтобы бегать от полиции!»

Последнее время женевский центр настороженно присматривался к варшавским делам. По всем приметам, слишком активная деятельность Варыньского не нравилась в Женеве. Малый этого не понимал: «Объясни мне, Длинный, они социальной революции хотят или, может быть, нет?» — «Хотят, успокойся,— улыбался Людвик,— но они желают этим процессом руководить...» — «Ах, вот оно что?! А дырку от бублика они не желают? Пускай приезжают и бегают тут от шпиков!..» — кипятился Дулемба.

Но Варыньский все равно был доволен. После того, как им с Куницким удалось уломать Пухевича, он воспрянул духом, в будущее смотрел уверенно и гордо. «Цыплят по осени считают, Длинный»,— предупреждал Генрык. Но Людвик уехал в Женеву, как говорится, на коне.

Приехал уже ближе к рождеству — вид совсем не тот. Злой, как черт. Генрык его встретил, повел в ресторан Беджицкой — там они еще в сентябре облюбовали уютное местечко, где можно сойтись, поговорить.

— Ну, как там в Женеве? — спросил Малый.

— «Пшедсвит» хочет, чтобы мы его во всем слушались.

— Будем слушаться? — с хитрецой спросил Дулемба, окуная свои усы в пивную пену.

— Вот им! — Варыньский неожиданно выложил на стол фигу.

— Ай да Длинный! — счастливо расхохотался Генрык, хлопая своего молодого друга по плечу.

Оказывается, Людвик был еще и в Париже, где Тихомиров и Ошанина, заграничный центр «Народной воли», приняли его «мордой об стол», как он выразился. Вели себя уклончиво и надменно, в создание «Пролетариата» не очень охотно поверили, но тут же выставили условие для польской партии: хотите сотрудничать с «Народной волей» — извольте полностью подчиняться Исполнительному комитету. Иначе табачок врозь...

На этот раз фигу на стол выложил Дулемба.

— Что будем делать, Длинный? — спросил он.

— Поеду в Вильно. Договорились провести там съезд всех польских социалистических кружков. Надо объединяться.

— И те, из Женевы, приедут?

— Думаю, что нет. Обиделись.

И снова Людвик уехал, а Малый продолжал свою кропотливую муравьиную работу по втягиванию в партийную орбиту новых и новых сил. Каждый вечер после работы он спешил к Янечке, на Институтскую, где хранились экземпляры воззвания. Рассовывал их по карманам, прятал за пазухой. Потом помогал Янечке поставить чемодан с брошюрами на антресоли. Эта молоденькая наставница благородных девиц, кажется, всерьез втягивалась в работу. Поначалу Генрык думал, что она лишь по доброте душевной предоставляет свою квартиру под сходки и склад литературы, но теперь в действиях Янечки сквозила явная заинтересованность делом. Или Варыньским?.. Приметливый Генрык однажды поймал испуганный взгляд молодой хозяйки, который она украдкой бросила на Людвика, когда Пухевич скрипучим своим голосом заявил: «Пан пойдет на каторгу, вот и весь результат политической борьбы!» Тут больше, чем тревога доброго сердца, тут любовью пахнет...

До поздней ночи Малый бродил по Варшаве, заходил в трактиры, кавярни и млечарни, не чурался и костелов. Заводил разговоры с незнакомыми рабочими, благо язык у него подвешен хорошо был, да и внешность располагала к беседе: небольшого роста, коренастый, крепкий мужичок с лукавым блеском в глазах. Иной раз тайком опускал воззвание в карман зазевавшегося рабочего. Оставлял и на прилавках магазинов, и на подоконниках. Всем, кто интересовался делами, говорил: «О «Пролетариате» слыхали? Где вы живете? Проше, панове, спешить, в скором времени закроем прием в партию...»

Малый с нетерпением ждал из Вильно Варыньского; знал, что тому нелегко там придется: на съезд поехал Станислав Крусиньский, голова у него дай боже, словом тоже владеет, недаром статьи в «Еженедельном обозрении» печатаются. Положим, Куницкий и Рехневский из Петербурга — наши. Но как поведут себя представители Москвы, Киева, Одессы? Слава богу, Пухевич не поехал — и тут поосторожничал. Помогать Людвику будут Дембский и Плоский, оба из интеллигентов; Генрык их знал пока плохо. «Держись, Длинный!» — думал Генрык, то и дело устремляясь мыслями в Вильно и стараясь себе представить — как там идут дела у Варыньского?

Людвик приехал в конце января, исхудавший и больной — в Вильне простудился. Генрык встретил его на вокзале, заботливо обмотал шею Длинного своим шарфом, нанял извозчика, привез к себе домой. Надо заботиться о Длинном, он совсем себя не жалеет, а впереди такая работа... Налил горячего чая, поставил перед Людвиком бутерброды. Варыньский потихоньку оттаивал. Генрык не спешил с расспросами.

— С Крусиньским — все... — жуя, проговорил Людвик и ложечкой начертил в воздухе крест.

Потом достал из саквояжа листки. Это были решения съезда — несколько страниц, исписанных чернилами.

Дулемба отмахнулся.

— Длинный, ты же знаешь, я ваших резолюций не люблю. Ты мне попросту скажи: кто за нас, кто — против?

— Петербург — за нас. Москва и Киев колеблются. Крусиньский и Пухевич — против.

— Ну и пес с ними! Мы без них не проживем, да?

— Прожить — проживем. Но попробую все же договориться. Сил у нас мало, нельзя раскалывать их в самом начале. «Крусиньчики» отпугнут от нас интеллигенцию, а Пухевич уведет часть рабочих. С кем останемся?

— Варшава большая... — ответил Малый.

Когда же Варыньский узнал — сколько новых членов завербовано Малым в его отсутствие, то окончательно повеселел. Вечером пришел Дембский — немногословный и слегка медлительный увалень, который поразил Генрыка тем, что досконально разбирался в типографских делах. Обсуждали, как и где быстрее использовать типографию Пухевича, которую тот передал в общее пользование.

— С Профессором дружить нужно,— подмигнул Длинный.— Рассердится, станочек отберет...

Станочек тот понадобился уже через несколько дней.

Длинный пришел к Генрыку в воскресенье утром одиннадцатого февраля. Малый только что побрился и, насвистывая по своему обыкновению «Варшавянку», сидел за столом, помечая в тетрадке условными значками последние совещания кружков: где проходили, сколько было рабочих, что читали и обсуждали. Он несколько запустил учет, теперь же хотелось похвастаться перед Людвиком с цифрами в руках.

Но Длинный не стал слушать про кружки. Вид у него был странный — отрешенный какой-то, потерянный... Людвик будто к чему-то прислушивался.

— Генрык, ты читал вчерашнюю «Варшавскую полицейскую газету»? — вдруг спросил он.

Дулемба глаза выпучил.

— Пан Длинный принимает меня за идиота?

Однако Варыньский всем видом своим показывал, что ему не до шуток. Он вытащил из внутреннего кармана пальто, которое он даже не соизволил снять, придя к Генрыку, сложенную вчетверо газету, развернул ее перед Дулембой на столе и ткнул длинным своим пальцем:

— Читай.

Дулемба прочел: «На основании журнального постановления врачебно-полицейского комитета от 4 июля 1864 года женская прислуга во всех публичных и питейных заведениях, а также рабочие женского пола, находящиеся на всех фабричных, промышленных и других заводах, должны быть подвергаемы медицинскому осмотру... Все этой категории женщины могут быть освобождаемы от такового осмотра, ежели хозяева, у которых они находятся в прислуге или на работе, представят в каждую четверть года в Комитет поручительства за их нравственное поведение...»

Текст был напечатан слева по-русски, справа — по-польски, да и сама дата выхода газеты слева была русская — 29 января, справа — по европейскому, а значит, и польскому календарю: 10 февраля.

Дулемба поднял глаза.

— Ну, прочел... И что Длинный? Я не понимаю...

Варыньский сорвал газету со стола, скомкал ее, отшвырнул в угол и уставился на Дулембу бешеными глазами. Генрык испугался не на шутку; он понял, что еще слово — и Длинный ударит его.

— Ты не понимаешь?! — проорал он.— Я с тобою разговаривать больше не хочу, так и знай! Ты мне никто после этого! Я исключаю тебя из партии!

— Да объясни же, Длинный...— покорно и миролюбиво попросил Генрык.

— Ты не понимаешь, что этим распоряжением рабочие-женщины приравнены к проституткам? И им, как

проституткам, нужно проходить принудительное медицинское освидетельствование! А освободить от него может только хозяин по своему усмотрению! Нет — ходи с клеймом проститутки! Ты этого не понимаешь, Генрык?! Где твоя голова?

— Прости, Длинный, сразу не сообразил,— виновато пробормотал Дулемба.

— Дур-рак! — мгновенно остывая, выругался Варыньский и опустился на стул.

С минуту помолчали. Генрык ждал, когда Людвик успокоится настолько, что можно будет задать вопрос. Но тот упредил вопросы.

— Мы вчера собрались у Пухевича,— начал он глухо. — Кроме меня и Профессора, были Олек Дембский и Сливиньский. Я сказал, что этого,— он указал на газетный комок, валявшийся па полу,— нельзя так оставлять. Обер-полицмейстер почувствовать должен — с кем он имеет дело...

— Ну и...

— Профессор испугался. Я предложил воззвание, он затрясся. «Мы погубим организацию, нас всех переловят...» — передразнил он дребезжащий голос Пухевича. — А я сказал так: «Ты делай, что хочешь, а я сделаю по-своему»,— Людвик вдруг задумался.

— А он? — спросил наконец Малый.

— Он попросил вернуть типографию и свой денежный взнос,— вяло ответил Варыньский, вдруг оживился, в глазах его что-то блеснуло. — Дай-ка бумаги, Генрык! Быстренько!

Дулемба мигом положил перед Людвиком чистый лист бумаги, поставил чернильницу, рядом — перо. Людвик сидел, уставившись невидящим взглядом в стену. Малый отошел на цыпочках в сторонку, присел на кровать. Людвик порывисто схватил перо и с размаху ткнул им в чернильницу. Перо заскрипело, бегая по

бумаге, а Людвик, не замечая ничего, лишь тяжело дышал, будто землю копал до седьмого пота...

Через десять минут Малый прочитал на листке, где еще не успели высохнуть чернила:

«Граждане рабочие!

Распоряжением обер-полицмейстера от 10 февраля отдан приказ подвергать полицейскому санитарно-врачебному осмотру всех женщин, работающих на фабриках, в мастерских и в магазинах, а равно и прислугу общественных заведений. Это невиданное и до сих пор неслыханное оскорбление. Достаточно, значит, жить трудом, чтобы носить на челе клеймо проститутки! Только потому, что судьба заставляет ваших жен, дочерей и сестер работать, закон причисляет их к уличным блудницам, торгующим своим телом. А для того, чтобы избежать этого позорного осмотра, нужно заручиться благосклонностью господина фабриканта. Другими словами: каждую работницу, которая не желает во всем подчиняться фабриканту, он волен отдать в руки полиции, поместить ее в списки проституток.

Рабочие! Вам нанесена пощечина, вас пытаются опозорить, пытаются испытать ваше терпение, вашу покорность!

Чем вы на это ответите? Неужели вы позволите гнусным агентам надругаться над более слабой половиной вашего же рабочего класса? Неужели вы сделаете ее жертвой самой необузданной эксплоатации, жертвой разврата напитанных вашей кровью фабрикантов, которым правительство дает новое оружие для подавления всякой непокорности, всякого сопротивления?

Рабочие! Вы не должны допустить этого! Вы не можете и не должны уклониться от опасности, нависшей над рабочим классом. Сделанное на вас нападение необходимо отразить, хотя бы этот протест пришлось окупить кровью. Лучше смерть, чем позор!

Мы призываем вас дружно выступить против этого гнусного распоряжения. Докажите, что вы люди, что вы умеете защищать свою честь, что жертвы вас не пугают.

Желают борьбы — будут ее иметь!

Рабочий Комитет».

Генрык прочел, глаза его увлажнились. Он молча обнял Варыньского.

— Молодец, Длинный! А я и вправду дурак...

— Генрык, слушай внимательно,— Людвик говорил уже спокойно. — Завтра отнесешь листовку Дембскому, пусть быстро напечатает ее, пока Пухевич не отобрал типографию. Послезавтра, тринадцатого, ты и верные тебе люди должны быть с этой листовкой у ворот фабрик и заводов... Я прошу тебя, Генрык,— Варыньский, как показалось Дулембе, слегка смутился, но после секундной заминки продолжал твердо: — Я прошу тебя и товарищей, вручая листовку, оказывать женщинам величайшее почтение... Величайшее, Малый!

— Ручки целовать? — улыбнулся Дулемба.

— Вот именно,— серьезно кивнул он.

Во вторник листовка, отпечатанная Дембским, уже гуляла по Варшаве. Ее распространили члены рабочих кружков Шиманьский, Подбельский, Шлаский — и целовали натруженные руки работниц, когда те выходили за ворота фабрик. Сам Дулемба, забыв об опасности, появлялся с листовкой в самых людных местах. Вскочив в вагон конки, он объявлял:

— Проше паньство ознакомиться с содержанием любопытнейшей писульки! — и проходил по вагону, раздавая листки направо и налево. Пока обыватели разбирались с писулькой, Малый спрыгивал с подножки и растворялся в толпе.

Судя по всему, власти перепугались. В городе стали поговаривать, что распоряжение обер-полицмейстера Бутурлина — генеральское самодурство, не имеющее ника-

ких законных оснований. Постановление врачебно-полицейского Комитета, на которое сослалась полиция, было принято почти двадцать лет назад в связи с эпидемией! Наконец по Варшаве разнеслась весть, что барон Крюденер, исполнявший обязанности больного генерал-губернатора Альбединского, отменил распоряжение Бутурлина.

Людвик ходил по Варшаве с непокрытой головой, подставив ее начинавшему пригревать солнцу. Малый следовал за ним на расстоянии нескольких шагов с увесистой палкой в руках, заменявшей ему трость. По улицам рыскали полицейские шпики в поисках таинственного Рабочего комитета. Исполнительный комитет в России, Рабочий — в Королевстве... Не много ли комитетов?

Варыньского поздравляли, он сам обнимался со всеми, кто уже входил в партию, собирался это сделать или попросту сочувствовал движению. Первая победа — и такая безоговорочная, такая рыцарская, черт побери! Не за копейку боролись, за честь женщины-польки, а значит, за честь отчизны!

Напрасно Малый уговаривал Людвика посидеть дома, выходить на улицу вечерами. Варыньского тянуло к людям — в Саксонский сад, на Краковское Предместье... Малый подумал и купил револьвер в магазине Лежена. Это надежнее палки. Надо охранять Длинного, теперь за ним пойдет настоящая охота.

В начале марта Дембский отпечатал еще одну листовку — воззвание к работницам по поводу отмены распоряжения Бутурлина, и тут перепуганный насмерть Пухевич категорически потребовал возврата типографии.

Вскоре Эдмунд Плоский — кругленький и румяный молодой человек с аккуратным прямым пробором, похожий на приказчика в мелочной лавке, но обладающий острым пером публициста, принес валики и детали

станка на Хмельную Яну Сливиньскому — студенту университета, стороннику Казимежа Пухевича.

Еще через несколько дней Пухевич объявил о создании собственной партии «Солидарность» и издал ее программу.

— Прочти,— сказал Длинный, отдавая эту программу Дулембе.

— А то я не знаю, что может написать Профессор! И не подумаю читать! Давай лучше не тратить времени, налаживать собственную типографию.

— Хорошо бы... — мечтательно вздохнул Людвик.

Но тут, как назло, из Женевы через контрабандные пункты на границе пришел очередной номер «Пшедсвита», а в нем — виленские решения. Людвик прочитал — за голову схватился! Все переврали Длуский с Пекарским, причем переврали тенденциозно. Убрали из программы любые упоминания о федеративном союзе с русскими социалистами. Варыньский опять поехал в Женеву ругаться со своими бывшими товарищами, а заодно поискать средств. Нужны были деньги на обзаведение типографским станком, чтобы издавать свой орган в Варшаве.

Дулемба с Янечкой занялись тем же через «Красный Крест» партии, где успешно сотрудничали Марья Онуфрович и Витольда Карпович. Чахлый денежный ручеек потек от студенчества, от польских интеллигентов и даже от части русских чиновников в Варшаве, чему способствовал Михаил Добровольский.

Генрык однажды сболтнул Янечке об Анне Серошевской — сам был не рад. Янечка сразу сникла, потеряла интерес к делу...

— Не робей, Янина, отобьешь Длинного у той...— попытался пошутить Генрык, но получил в ответ такой выразительный пронзающий взгляд серых глаз, что прикусил язык.

Дела в Варшаве неожиданно пошли хуже. С отъездом Варыньского активизировался Пухевич, стал переманивать рабочих к себе, выпустил листовку. Профессор знал, чем можно пронять рабочего: требованием экономических улучшений. Что ему политические свободы, тем более — государственная власть! Царь далеко, а мастер — близко. Единственная надежда была на трусость Пухевича. Рабочие жаждали деятельности, а Профессор останавливал их, уговаривал не спешить, подготовиться получше...

Варыньский решил дать открытый бой. Малый был отправлен к Яну Пашке с вызовом: явиться в воскресенье в Александровский парк со своими кружками, там будем спорить о социализме и партии.

Генрык нашел Яна Пашке, тот выслушал, не испугался.

— Придем!

В воскресенье Длинный и Малый отправились пешком на Прагу. На мосту Людвик остановился, указал рукою в сторону пристани.

— Шесть лет назад вот здесь начинался первый кружок польских социалистов. А сейчас у нас — партия!

Сказал он это просто, но с гордостью. Дулемба внезапно увидел Людвика другими глазами: он сильно возмужал за эти шесть лет. Пожалуй, сейчас он выглядит старше своих двадцати шести. Спокойные ясные глаза, волнистые длинные волосы, очки... Борода уже не топорщится, как тогда, в молодости...

Генрык сжал в кармане револьвер: мимо прошел подозрительный тип, похожий на филера; порыскал по ним глазками.

Место сходки выбрали далеко, чуть ли не под железнодорожным мостом. Вокруг не было ни души. «Солидарность» ждала в полном составе: Ян Пашке, студент Людвик Савицкий и десятка два рабочих — члены кружков.

В стороне ожидали своих руководителей рабочие-пролетариатцы.

— Привет, друзья! Начнем сходку,— поздоровался Варыньский, усаживаясь па траву.

Генрык поймал себя на мысли, что все рабочие — и свои, и Пухевича — восприняли Людвика как главного, как человека, который имеет моральное право руководить.

Вперед вышел Пашке и начал излагать основы партии «Солидарность». Генрык улегся спиною на траву, покусывая травинку, глаза сами собою стали слипаться... Варыньский толкнул его:

— Не спи! Подумают — нарочно...

— Скучно, Длинный,— виновато отозвался Дулемба.

Все это уже слышано было сто раз: умеренность, осторожность, легальность, никакой борьбы с правительством, иначе — Сибирь...

Савицкий затронул вопрос о терроре. Сказал, что «Солидарность» допускает запугивание предателей и провокаторов.

— Так они и испугались...— пробормотал Генрык.

Людвик не выдержал, вскочил — высокий, стройный,— легко прошелся перед сидящими на откосе берега рабочими.

— Складно пан Савицкий говорит?

Рабочие закивали.

— Согласны с ним?

Кое-кто пожал плечами, кто-то опустил глаза, остальные так же дружно кивнули.

— Если бы у вас было больше логики в голове, то не стали бы кивать. Пухевич вас обманывает. Не мы властей, а власти нас должны бояться. Будем сидеть, как мышь под метлой,— тогда беда!..

Дулемба расплылся в улыбке: мышь под метлой!.. Сразу вспомнил Профессора с его маленькими, узко

посаженными глазками под пенсне, топкий скрипучий голосок...

...Рабочие расходились, тихо переговариваясь. Генрык заметил, что Варыньский произвел на них впечатление, но сразу сдаваться не хотелось. Савицкий и Пашке, обменявшись рукопожатиями с оппонентами, скрылись среди деревьев.

— Ничего, рабочий задним умом крепок,— сказал Людвик.— Подумают, обмозгуют — придут к нам...

— Пухевич гимназистов вербует, соляков. Помнишь Хелену Кон по «делу ста тридцати семи»? — спросил Дулемба.

— А как же? И ее помню, и Паулину — ее мать. Она хорошо нам помогала,— отозвался Людвик, всматриваясь куда-то вдаль.

— Сын ее Феликс — у Пухевича в «Солидарности». И его приятель Пацановский.

— Мальчишки... Ничего...— рассеянно проговорил Людвик и вдруг, выхватив из кармана белый платок, принялся размахивать им над головою.

— Длинный, ты перед кем капитулируешь? — удивился Генрык.

Он посмотрел в ту сторону, куда направлен был взгляд Варыньского. По берегу приближалась к ним девичья фигурка в голубом платье с отложным воротничком. Дулемба узнал Янечку.

— Пшепрашам, Длинный. Я удаляюсь,— галантно произнес он.

— Перестань, Генрык! У нас деловое свидание,— рассердился Варыньский.

— Я тоже удаляюсь по делам,— Дулемба склонил голову и, резко повернувшись, исчез в кустах. Варыньский только рассмеялся вслед ему и поспешил навстречу Александре Ентыс.

Дулемба же никуда не ушел, но, засунув руку в кар-


КУНИЦКИЙ

ман и обхватив пальцами рукоять револьвера, крадучись за кустами, последовал за Людвиком, ибо вождя партии надобно охранять даже при деловых встречах с молодыми пани, не так ли, Генрык?..

Постскриптум

Дулемба будет арестован через полгода, предстанет вместе с товарищами перед военным судом и получит по его приговору тринадцать лет каторжных работ.

Он пройдет через Карийскую каторжную тюрьму в Забайкалье и многолетнее поселение в Якутии; лишь в 1908 году возвратится на родину и умрет там через пять лет.

Глава четырнадцатая.
ЯНЕЧКА

Октябрь 1883 года

...Нельзя сказать, чтобы я сразу повернулась к социализму. Я занималась преподаванием математики в институте, кроме того, была классной дамой. Меня саму это смешило. Мои воспитанницы были чуть моложе меня. Конечно, я прислушивалась к разговорам кузена Тадеуша с Пухевичем, когда они встречались у меня, в казенной квартире при институте, которую мне выделили как классной даме. Но считала, что рабочие сходки и теория прибавочной стоимости — это не для меня. Я мечтала посвятить жизнь преподаванию. И в институте благородных девиц можно быть полезной отчизне. Со временем это мнение у меня пошатнулось. Я была дружна с дочкой директрисы нашего института Мезенцевой. Мы вместе заканчивали заведение, разом стали в нем преподавать. Впрочем, я-то преподавала, а Наталья Мезенцева занималась другими делами.

Я обратила внимание на то, что наши воспитанницы довольно часто выезжают с классными дамами на природу в сопровождении молодых офицеров. Однажды на пикник пригласили и меня. Я поехала, не подозревая ничего дурного... Боже мой! Как я была наивна! Уже когда рассаживались по экипажам, я поняла, что дело нечисто. Рядом со мною оказался некий поручик Золотов — даже фамилию запомнила! Он сразу же начал бешено ухаживать за мною. О, эти армейские ухаживания, целование ручек и непрерывные двусмысленности, переходящие в сальности! Я изнемогала. Доехали до Лазенок. Воспитанницы и воспитательницы помоложе разбрелись в сопровождении господ офицеров по парку, а наши патронессы постарше, в том числе и Мезенцева, принялись готовить пикник. Появилось «Абрау», фрукты. Я решила побродить одна и незаметно ускользнула от моего поручика. Дело было ранней осенью. Я шла по аллее, собирая букет осенних листьев. Как вдруг — догоняет! Усы обиженно топорщатся. «Проше пани, куда же вы исчезли? Нехорошо пренебрегать обществом!» Припал к руке и норовит продолжить это занятие, весьма неумело изображая страсть. «Пан поручик перепутал,— говорю я ему.— Пан принимает меня за барышню из «Континенталя»?» — «Я весь горю!» — шепчет он, утыкаясь носом в рюши моего платья. «Неужели? В таком случае советую вам охладиться в Висле!» Он обхватил меня за талию. Пришлось хлестнуть букетом по усам. Это его слегка отрезвило, но главное, думаю, мой уничтожающий взгляд. Он понял, что я не кокетничаю.

Я не стала возвращаться к обществу, а наняла извозчика и отправилась домой. Мадам Мезенцева потом сделала мне легкий выговор: «Янина, вы вели себя неудачно. Зачем же так обижать наше доблестное воинство?» Я не сдержалась: «Если пани директрисе угодно будет знать мое мнение, то я считаю, что негоже прививать нашим

воспитанницам пагубные привычки!» Она рассмеялась: «Как вы молоды! Лучше эти привычки, чем те, что в чести на бестужевских курсах. Я хочу, чтобы ни одна из моих воспитанниц не стала новой Софьей Бардиной. Вам понятно, Янина?»

Когда три недели назад мадам директриса узнала, что я арестована по подозрению в принадлежности к социально-революционной партии, она чуть с ума не сошла. Представляю, какой у нее был вид, когда в институт прибыл сам начальник Варшавского округа жандармов генерал Кутайсов, чтобы присутствовать при обыске в моей квартирке! Слава богу, жандармы почти ничего не нашли, благодаря Витольде Карпович...

Короче говоря, меня перестали приглашать на пикники, хотя расположения мадам Мезенцевой я не лишилась. По-видимому, она посчитала меня девицей излишне строгих взглядов, а это мне было на руку. По крайней мере, никто не подозревал меня потом в легкомысленном поведении, когда у меня подолгу засиживались Пухевич, Варыньский и Куницкий, составляя программу «Пролетариата», а сторож института Кемпиньский, зная о доверии ко мне начальницы, даже не записывал имена гостей, приходивших ко мне, за что ему потом и нагорело.

Первый раз я увиделась с Людвиком в начале восемьдесят второго года. Встреча была неожиданной. Однажды Тадеуш предупредил меня, что завтра могут быть гости. Я догадалась, что ему нужно конфиденциально переговорить с Пухевичем, может статься, будет кто-нибудь еще. Назавтра стук в дверь — и появляется Варыньский! По всей вероятности, он на мгновение растерялся, ибо пришел первым. «Мне говорили, что пани далека от наших дел. Это так? Подумайте, мы можем навлечь на вас неприятности...» — «Ну, что вы... Я вовсе не...» — я тоже смутилась страшно.— «Не спешите! — он улыбнулся. Какая, однако, у него обаятельная улыбка! — На языке жандармских

протоколов это помещение называется конспиративной квартирой»,— он обвел рукою мое скромное жилище. Тут пришли Казимеж, Тадеуш и Генрык Дулемба, я поставила чай, уже сознавая себя хозяйкой конспиративной квартиры! Мне эта роль в новинку была. В тот раз они говорили о необходимости сплотить разрозненные кружки и направления социалистического движения. А уходя Людвик оставил мне брошюрку: «Почитайте, потом расскажете, что вы об этом думаете...» Это был экземпляр воззвания «К товарищам русским социалистам». В ту же ночь я буквально проглотила этот текст. С того и началось...

Уже после третьей встречи с Варыньским я поняла, что влюблена в него. Я стала неотвязно думать о нем и о том опасном деле, каким он занят, стала ждать его прихода. Я уже знала о том, как его разыскивала варшавская полиция четыре года назад под именем Яна Буха, как все буквально с ног сбились... Ну, и я понимала, конечно, что в его положении нелегала не может быть и речи о какой-то любви. В последнем я ошиблась. Настоящей любви не могут помешать ни жандармы, ни конспирация, ни тюрьма. Более того, опасность настолько обостряет чувства, что делает их воистину захватывающими. Каждая встреча как подарок. Я никогда не знала наверное — придет ли он сегодня, и когда он приходил — это было счастье!.. Но это после. Тогда я попыталась бороться с собою, боясь помешать его работе. Несколько раз мы с ним беседовали наедине. Разговор касался теории Маркса и положения рабочих. Затем он стал давать мне необременительные задания, которые я с радостью, с упоением даже выполняла: доставить записку, оформить квитанции на членские взносы в кружках, перевести на польский язык русский нелегальный текст. Он в ту пору создавал Рабочий комитет, который явился ядром «Пролетариата». Его отношение ко мне было теплым, дружеским, но ни

разу я не заметила, чтобы он переступил невидимую черту, отделяющую товарищество от сердечной привязанности. Мне казалось, что он равнодушен ко мне как к женщине, я даже радовалась этому. А может быть, думала я, он настолько занят работой, что мысль о женщинах вообще не посещает его?

Как вдруг Людвик исчез. Он не появлялся неделю, вторую, третью... Если провал, я узнала бы об этом, такие вещи узнаются сразу. Наконец я осмелилась спросить у Дулембы. «Товарищ Длугий в Швейцарии,— ответил он. — Скоро вернется». Я стала ждать. Действительно, через несколько дней Людвик опять объявился в Варшаве. При следующей встрече я спросила его, зачем он ездил в Женеву? Он ответил, что налаживал контакты с заграничной группой польских социалистов и тому подобное. «Кроме того,— добавил он как-то неловко, не глядя на меня,— там у меня сын...» У меня в глазах помутилось, на секунду стало дурно. Как? Он женат, оказывается? Как же я не догадалась! Боюсь, моя растерянность была слишком на виду. Но он ничего не объяснял, смотрел на меня угрюмо, будто был обижен. «Вот как?..— наконец сказала я.— А я и не знала, что у вас там семья...» — «Там у меня сын»,— повторил он, делая ударение на последнем слове. «Разве ваша жена... Что с ней случилось?» — «Ничего страшного. Мать Тадеуша жива и здорова. Но она не жена мне больше»,— произнес он еще более угрюмо и поднялся, давая понять, что не следует больше говорить на эту тему.

Конечно, я попыталась разузнать об этой истории. Что бы я была за женщина? Ведь я любила его. Тот же Дулемба в своей излюбленной шутовской манере мне объяснил, что да, была у товарища Длугого в Женеве «млода кобета», которая и родила ему сына полтора года назад. Брак с нею он не мог оформить, не будучи гражданином Швейцарии, но, кажется, обещал ей совершить

обряд венчания, как только это представится возможным, «поскольку Длугий — человек шляхетный». Придя домой после разговора с Дулембой, я горько плакала. Я понимала, что обещание Варыньского совершить формальное бракосочетание не может быть практически выполнено при его нелегальном положении. Но мне-то что от этого? И даже слова Людвика о том, что эта неизвестная женщина больше не жена ему, как-то мало утешали. Главное, что я не занимаю никакого места в его сердце.

Я бранила себя нещадно, говоря, что теперь мы с Варыньским связаны одним революционным делом, а значит, никаких личных привязанностей быть не может. Надо встать выше этого! Но... слова словами, а сердцу не прикажешь. Мы не виделись долго — вплоть до его возвращения с Виленского съезда в феврале восемьдесят третьего. Людвик выиграл важное сражение в борьбе за единство партии. Он вернулся окрыленный, на следующий же день пришел ко мне. «Янечка, победа! — схватил и закружил меня.— Как я по вас соскучился! Рассказывайте, рассказывайте скорее, что происходит в Варшаве!..»

У него были такие глаза... Я вдруг увидела в них себя, и я впервые понравилась себе как женщина. Я рассказывала ему о наших делах, он мне — о заграничных... А потом он вдруг как-то обмяк: «Устал очень...» И мне стало его безумно жаль, захотелось прижать его голову к груди... Уходя, он невесело усмехнулся: «Старый волк возвращается в свою берлогу. Там нетоплено, поди, и углы заросли паутиной...» Он тогда квартировал на Мокотовской улице под именем австрийского подданного Кароля Постоля.

А в марте у меня на квартире состоялось совещание актива «Пролетариата», где был избран первый Центральный комитет.

Для меня полной неожиданностью было мое избрание в ЦК. Предложил Дулемба, остальные товарищи его

поддержали. Тут же было решено, что ввиду исключительного удобства моей квартиры как с точки зрения расположения, так и с точки зрения конспирации у меня будет находиться архив партии и его секретариат. Квартира классной дамы института благородных девиц, известного по большей части тем, что в нем воспитывались прекрасные жены военных, была вне подозрений полиции. У мадам Мезенцевой не нужно было искать нелегальщину — исключительно французские журналы мод. С того дня я стала секретарем партии. Надо сказать, что работа эта занимала все мое свободное время. У нас неплохо была налажена отчетность, в секретариат стекались все нелегальные издания, отпечатанные в Варшаве или прибывшие из-за границы контрабандными тропами. Особое место занимали бланки документов, печати. Вскоре мы могли довольно сносно подделать почти любой официальный документ: вид на жительство, справку таможни... Конечно, у «Народной воли» это было отлажено на гораздо более высоком, прямо-таки филигранном уровне, но там и опыт какой!

А шифры!.. Я прямо замучилась с ними, пока привыкла. Все адреса, фамилии, пароли надо было шифровать, причем шифров было много. В переписке между членами ЦК использовался один шифр; в корреспонденции с низовыми кружками — другой; в Петербург, Москву, Киев писали третьим. Вскоре я выучила таблицы шифров наизусть. «Гранит», «Шелгунов» — такие у них были названия. У меня была такая обширная практика, что я с легкостью читала зашифрованные тексты, будто они написаны по-польски.

Мне очень помогали Марья Онуфровна и Витольда Карнович. Особенно последняя. Мы с нею даже гектографированием занимались на моей квартире, валик гектографа я прятала на антресолях. Девушки снимали очень удобную для конспирации квартиру с задним закрытым

двором. Там у нас был перевалочный пункт литературы. Как только мы ее ни прятали: в корзинках, в шляпных коробках, в чемоданчиках и даже под блузками!.. И все время — посетители, большею частью молодые мужчины — рабочие и студенты из кружков. Боюсь, хозяйка квартиры, у которой жили Марья и Витольда, подозревала их совсем в иных занятиях, чем на самом деле!

Честно сказать, я завидовала Марье и Витольде. Они любили и были любимы, первая — Плоского, вторая — Рехневского. Они помогали своим возлюбленным в революционном деле, будучи связанными и идеями, и любовью. У нас же с Людвиком было не так, хотя мы виделись почти каждый день и я каждый день слышала его неповторимый, мягкий, проникновенный голос.

В мае я почувствовала, что мы оба стоим на грани, за которой наши отношения неминуемо должны вступить в новую фазу. Никаких слов не было сказано, мы попрежнему были на «вы», я уже привыкла звать его конспиративной кличкой «товарищ Длугий», а он меня «товарищ Яна» или просто «Яна». Но интонации, но взгляды... Они говорят больше слов. Я чувствовала, что зреет объяснение, причем с его стороны, не с моей. Я бы никогда не решилась.

Во мне все звенело. Я боялась слов и ждала их. Наконец произошел поворот. Да какой!

Людвик вбежал ко мне, запыхавшись, так что я подумала, будто за ним гонятся жандармы. «Что случилось? Опасность?» — «Да... То есть нет, совсем не то, что вы думаете... Яна, мне нужно серьезно поговорить с вами...»

Сердце у меня упало. «Говорите, товарищ Длугий...» — «Я прошу выслушать меня внимательно. От вашего решения зависит многое. Моя жизнь и честь...» — «Я готова».— «Ко мне приехала Анна. Она сидит у меня дома, ждет».— «Кто это?» — не поняла я. «Это...— он не знал,

как назвать ее.— Анна Серошевская из Женевы...» А я все еще не понимала, как дура! «Мать моего сына»,— сказал он безнадежно.

Наконец до меня дошло! «Но... Я здесь при чем? Что вы от меня хотите?» — спросила я почти зло, ибо совсем не таких слов ждала от него. «Я прошу вас, если можно... Не могли бы вы пустить ее, чтобы она... Я не могу оставить ее у себя!» — воскликнул он с какой-то мучительной гримасой. «Почему?» — в моем голосе по-прежнему холод. «Потому что я люблю тебя, Янка! Как ты не понимаешь! Я не люблю ее, я люблю тебя! Теперь тебе ясно?» — «И поэтому Анна должна... у меня жить?» — я совершенно запуталась. «Я прошу тебя, прошу...»

Я согласилась. Он ушел за Анной, а я осталась совершенно разбитой, исковерканной — одни осколки.

Через полчаса он вернулся совершенно другим. Учтивым, холодным, скучным. Он привел женщину с обиженным лицом. Я сразу поняла, что с нею мы не сможем подружиться. Людвик представил нас друг другу. Последовала неловкая пауза. «Пани Янина любезно согласилась, чтобы ты пожила тут»,— обратился он к ней. «Ты считаешь, что это удобно?» — она дернула щекой. У нее было тяжеловатое лицо, чувственные губы. Глаза были красивы.

Из дальнейшего разговора я поняла, что Анна приехала в Варшаву под чужим паспортом на имя Болеславы Фитковской и Людвик мотивировал свой отказ принять ее у себя конспиративными условиями работы. При слове «конспирация» Анна поморщилась. Я видела, как ему неловко с нами двумя. Вскоре он откланялся.

«Вы тоже участвуете в этом сумасшествии?» — спросила она, когда он ушел. «Я не понимаю пани».— «Вы прекрасно понимаете. Вам не жаль себя, времени, сил? Мой брат, талантливый поэт, сейчас в ссылке. Что он совершил? Напал на жандарма в тюремной камере. А мог

бы служить Польше своим талантом... А Варыньский? Бог дал ему все, о чем может мечтать мужчина: ум, красоту, смелость, решительность, энергичность... На что же он тратит эти бесценные качества? На то, чтобы просветить десяток-другой рабочих? Что это изменит?» — «Сразу ничего не изменит, но потом...» — начала я. «Потом, все потом...— устало сказала она, присаживаясь на софу.— А я хочу жить сейчас. У меня всего одна жизнь. Не подумайте, что у меня огромные запросы. Я обыкновенная женщина. Я боюсь политики, мне одиноко и страшно за границей. Я не знаю, чем кормить сына. А мой муж в это время вдали от нас борется за лучшую жизнь для рабочих. Вы, я вижу, не замужем?.. Скажите, почему революционеры так обеспокоены несчастной жизнью чужих людей, а несчастья близких не замечают? Я ведь хочу так немного: чтобы отец моего ребенка жил с нами, чтобы у нас была семья. В конце концов, многие занимаются революцией за границей. Пан Мендельсон, пан Пекарский, пан Длуский. Почему брат Варыньского должен больше беспокоиться о маленьком Тадеке, чем его отец? Вы можете на это ответить?»

«Одному предначертано одно, другому — другое...» — «Отговорки! — махнула она рукой.— Вам не кажется, что скромно работать, зарабатывать на семью, воспитывать детей труднее, чем заниматься социальной революцией? Это требует терпения и стремления к созиданию. Естественно, это не так эффектно, как кричать «Долой тиранов!», наклеивать прокламации на заборы и стрелять в градоначальников. А после произнести яркую речь на суде и в кандалах уйти героем в Сибирь... Вы что, хотите войти в историю?» — «Варыньский уже вошел в историю»,— сказала я. «Да его же арестуют с минуты на минуту и упекут на каторгу! И Тадек никогда больше не увидит своего отца! Разве это не стоит всей вашей социальной справедливости?!» — истерично вскричала она.

Закончив этот неприятный разговор и устроив гостью, я отправилась к Людвику в его квартиру на Новогродской, которую он снял незадолго до этого. Меня колотило. Зачем он это устроил? Неужели хочет испытать меня?

Я нечасто видела Людвика растерянным. Это было непривычное зрелище. Он то становился на сторону Анны, обвиняя себя во всем, то просил снисхождения, доказывая необходимость и полезность своей работы для Польши — раньше он никогда в этом не сомневался. Он говорил, что нужен тут, в Варшаве, без него дело заглохнет, как уже бывало, ему верят рабочие, у него есть перед партией обязательства, в конце концов!.. «Хорошо. Но если бы ты понял, что твой отъезд не повредит делу? Допустим, мы справились бы тут без тебя? Ты бы уехал в Женеву в таком случае?» — «Нет»,— сказал он. «Почему?» — «Потому что я не могу без тебя. Мне нужна ты»,— он привлек меня к себе и поцеловал впервые.

И тут будто рухнула плотина, нами же воздвигнутая. Вся наша сдерживаемая столько времени любовь выплеснулась наружу, смяла и ошеломила нас. Мы оказались в ее власти, несмотря на все запреты и обстоятельства; она делала с нами что хотела, словно мстя нашему разуму, который до поры до времени удерживал ее, строя картонные преграды из всяческого рода условностей. Любовь эта с самого начала была обречена — тем неистовее она была! Горький ее привкус и сейчас у меня на губах...

На следующий день Анна спросила меня, почему я не ночевала дома? Не стесняет ли она меня, вынуждая искать себе пристанища? Я хотела сказать ей правду — и не смогла. Стыдно было лгать, но ранить ее — бесчеловечно. Боюсь, что в этой ситуации основная тяжесть легла на мои плечи. Я находилась между двух огней: пылала любовью к Варыньскому и состраданием к

Анне — и ни один не мог победить. К тому же на моей квартире по-прежнему происходили заседания ЦК, Веслава на них присутствовала, несмотря на равнодушие к нашему движению. Веслава — это конспиративная кличка Серошевской, принятая среди нас.

Мне приходилось хитрить и изворачиваться, что мне несвойственно. Для сторожа квартиры на Новогродской я была сестрою Кароля Постоля, для Людвика — его возлюбленной и соратником, для Веславы — доброй товаркой, выслушивающей жалобы на мужа и проекты его возвращения в семью. Потом она, конечно, стала догадываться — шила в мешке не утаишь, и тогда наша жизнь стала еще причудливее. Это очень нервировало Варыньского. Меня мучает мысль о том, что внезапный и нелепый его провал случился во многом благодаря странной ситуации, сложившейся между нами в последние месяцы. Людвика постоянно мучали мысли о том, как разрубить этот гордиев узел, и он забыл об осторожности. Неоднократные попытки уговорить Веславу уехать к маленькому сыну, оставшемуся в семье Станислава Варыньского, ни к чему не приводили. Она уперлась, как баран, и стала грозить скандалом, то есть намеревалась вынести дело на суд партии. Какая глупость!..

Наверное, я из тех женщин, которые больше любят идею своего возлюбленного, его предназначение — чем его самого. А что тут странного? Разве Людвик и такие, как он, не выражаются полностью в своем деле? Как человек он может быть разным. Может хандрить, бывает вялым и нервным, иногда мне кажется, что он невнимателен ко мне. Эти женские претензии! Я научилась избавляться от них. Это очень просто. Надо только подумать о том, что твоему любимому тяжело — морально и физически. Всю жизнь его обуревает долг: совершить задуманное дело! Всю жизнь он сомневается, способен ли его выполнить? Всю жизнь он ищет пути к цели.

Дело овладевает им полностью — чем дальше, тем больше,— и было бы попросту неразумно ревновать его к нему. Женская любовь должна помогать предназначению, а не мешать ему. Значит, хочешь не хочешь, нужно заражаться той же идеей, нужно становиться товарищем.

Но не оскорбительно ли для женского достоинства становиться товарищем? Уж лучше — пылкой возлюбленной, которой герой будет наслаждаться в редкие минуты отдыха. Не так ли?.. Но я думаю иначе. Поскольку герой более всего на свете, более себя любит свое дело, то и женщину он сможет полюбить только через него. Иногда мне жаль мужчин, обладающих предназначением: они не умеют любить первозданно. Они не умеют наслаждаться, ибо наслаждение требует отрешенности, а отрешиться от своего дела даже на миг они не могут. И все же я никогда бы не предпочла пылкого и самозабвенного любовника мужчине идеи и долга. Вероятно, я тщеславна. Из пылких любовников не получаются герои мировой истории. Естественно, я не имею в виду лишь физический темперамент. Герои — вовсе не второсортные мужчины, но они не умеют забыть все ради любви. Впрочем, мои выкладки умозрительны. Я полюбила Людвика, повинуясь нахлынувшему чувству, я не разбиралась в нем.

...И вот провал. Провал в звездную минуту: только что вышел первый номер партийной газеты, и мы скромно отпраздновали этот успех в ресторане Беджицкой, излюбленном месте наших сходок. Заодно отметили день рождения Людвика. Ему исполнилось двадцать семь лет.

Весть об аресте пришла от Генрыка Дулембы. Как он казнил себя, что отпустил Людвика одного на встречу с Варварой Шуленниковой на Рымарскую! Варвара — представитель «Красного Креста» партии «Народная воля». Людвик спас ее от ареста, но сам попался. Я не успела узнать подробности — Варвара в тот же день уехала в Киев.

А через три дня взяли меня, но странно! — это никак не было связано с провалом Людвика. Простое совпадение во времени. Результатом взятия Варыньского были аресты Плоского и Пухевича как лиц, с которыми поддерживал сношения Кароль Постоль, что было зарегистрировано в домовой книге сторожа на Новогродской. Мое подлинное имя там не фигурировало. Своим арестом я обязана некоему Никвисту — человеку, которого я ни разу в жизни не видела. Его киевский адрес появился у меня случайно, он был дан той же Варварой Шуленниковой для связи с киевскими народовольцами, в основном для материальной помощи друг другу. Никвист посылал письма и переводы в Варшаву на имя Леонии Каминьской, до востребования. Под этим именем я получала корреспонденцию.

Когда Никвиста в Киеве арестовали, решили проверить — кому он посылает письма и деньги. Первого октября вечером я зашла на Главную почту и, как всегда, назвавшись Каминьской, получила письмо. При выходе меня взяли. По дороге в участок я попыталась уничтожить компрометирующие меня бумаги, но безуспешно!

По счастью, проезжая в полицейской карете по городу, я увидела одного из членов нашей партии. Это был рабочий Форминьский, один из немногих стариков, преданных организации. От него весть об аресте дошла до товарищей. Я предполагала, что Форминьский сможет оповестить руководство партии, прежде всего Рехневского, а тот примет меры, чтобы перенести секретариат партии в более безопасное место из моей квартиры. Для этого я решила не называть своего имени, чтобы выиграть время, благо никаких документов, подтверждающих мою личность, при мне не оказалось. И этот план удался! Уже на следующий день ранним утром ко мне на квартиру пришла Витольда Карпович. Сторож Кемпиньский знал ее в лицо и впустил беспрепятственно. Витольда зашла

ко мне и стала жечь бумаги в печке, а детали гектографа и кое-какие нужные документы спрятала в чемоданы. Веславы в квартире не оказалось — после ареста Варыньского она переменила жительство. Витольде удалось благополучно закончить работу, и Кемпиньский даже помог ей донести чемоданы до извозчика. Жандармы нагрянули через несколько часов, но уже ничего не нашли. Имя же мое раскрылось после того, как директриса Мезенцева подала в полицию запрос об исчезновении своей подчиненной. Тогда я и узнала подробности, происшедшие после моего ареста. На первом же допросе мне поведал о них следователь майор Секеринский...

Постскриптум

Дело Александры Ентыс будет решено административно. По высочайшему утверждению она получит пять лет ссылки «в отдаленнейших губерниях Сибири» и отправится туда летом 1885 года.

В Сибири она познакомится с русским революционером Булгаковым и станет его женою. Позднее примкнет вместе с ним к партии социалистов-революционеров. Умрет в 1920 году в Ростове-на-Дону.

Глава пятнадцатая.
ФЕЛИКС

Ноябрь 1883 года

Феликсу Кону исполнилось девятнадцать лет, но на вид ему можно было дать не больше шестнадцати. Это обстоятельство чрезвычайно затрудняло жизнь Фису, как звали его товарищи по гимназии. Тонкая шейка, заостренный подбородок, на котором еще не пробивалась растительность, огромные черные глаза, которые больше

пристали бы девице, куриная грудь, выпирающие на суставах косточки... Ах, как хотелось быстрее стать мужчиной! Почему у его приятеля Станислава Пацаповского и рост удался, и голос погуще, и на щеках нежные завитки, которых, правда, еще не касалась бритва?..

Нельзя ожидать мужества, надобно его воспитывать! Фис читал книги об античных героях и знал, что крепость духа способна восполнить слабость тела.

С весны он и Пацаповский были участниками социалистического кружка. Странно, что Феликс не сказал матери. Знал о ее участии в деле пятилетней давности, но пожалел: сестра Хелена с мужем Зыгмунтом Хернигом лишь недавно вернулась из Сибири вместе с братом матери Максимилианом Гейльперном. Хватит этих переживаний!

Тогда же под страшным секретом Людвик Савицкий сообщил, что в Варшаве снова действует легендарный Людвик Варыньский, который вместе с Казимежем Пухевичем и Куницким основал партию «Пролетариат». Однако Савицкий почему-то говорил о Варыньском без восторга, осуждал за авантюризм.

Первое же публичное выступление Варыньского, которое стало известно всей Варшаве, правда, без имени автора, повлекло за собою необходимость выбора — и выбора мучительного.

Это была листовка против Бутурлина, которую Фис встретил с восторгом, получив ее буквально из рук в руки на улице от веселого коренастого человека с пышными усами и заостренным носом.

— Благодарю пана,— растерянно произнес Феликс.

— На каторге будете благодарить, паныч,— широко улыбнулся странный тип.

Людвик Савицкий, который был близок к Профессору, раскритиковал листовку в пух и прах. Но Феликсу нравилось. «Желают борьбы — будут ее иметь!» В этом

что-то было: сила, уверенность, задор. «Какого роста Варыньский?» — спросил он у Людвика. «Длинный,— ответил тот. — У него и кличка такая». Феликс вздохнул украдкой.

Савицкий указал на то, что рабочие не готовы к таким лозунгам, что это чистейшей воды демагогия и игра на чувствах, а призыв пролить кровь в борьбе с властями — безответственное подстрекательство.

— Неправда! — вспыхнул Фис. — Он готов погибнуть за народ!

— Знаешь, что он сказал, когда Пухевич спросил: «А если Бутурлин не отменит распоряжения?»

— Что?

— «Тогда мы его убьем». Ты убил бы человека, будь он хоть обер-полицмейстер?

— Не-ет... — оторопел Феликс.

Он знал, что не трусость продиктовала его ответ; он мечтал сложить голову за правое дело с четырнадцати лет, когда сестра попала в Десятый павильон. Но самому убить... К этому Фис готов не был.

Когда образовалась «Солидарность», они с Пацановским встали в ее ряды.

Впрочем, что значит «встали в ряды»? Красивые слова Людвика Савицкого. На самом деле рядов что-то не наблюдалось. Положим, в мае-июне Феликс со Станиславом держали экзамены на аттестат зрелости во второй Варшавской гимназии; им не до социализма было — одолевали греческий с латынью, древняя история и российская словесность. Но потом началась скука. Лето тянулось медленно, жарко и лениво; пыль поднималась в улочках Старого Мяста и долго стояла в раскаленном воздухе; Висла, казалось, усохла и обнажила длинные песчаные косы на Саской Кемпе. Раз в две недели Кон и Пацановский посещали сходки «Солидарности». Обычно они происходили на свежем воздухе за Бельведерской

заставой или на Новой Праге. От этих сходок и чтения брошюр отдавало талмудизмом. Крепости духа не прибавлялось.

А в это время крамольный «Пролетариат», поставивший в свою программу террор, процветал и ширил свои ряды; во всяком случае, его присутствие в Варшаве становилось все более заметным — хотя бы по оживлению околоточных и городовых! Не то что «Солидарность». «Скоро мы будем собираться на Марымонте»,— мрачно пошутил Пацановский, намекая на осторожность Пухевича, рекомендовавшего избирать для сходок самые отдаленные места, а Марымонт — дальше ехать некуда!

«Пролетариат» обозначал свое присутствие и листовками. Вскоре Кон узнал, что взамен отданной Пухевичу типографии, в которой тот, кстати, кроме программы партии и одного умеренного воззвания, больше ничего не публиковал и не собирался, пролетариатчики уже в июне обзавелись приличным станком с помощью того же Марцелия Янчевского, народовольца. Судя по всему, им не хватало шрифта на большие издания, потому ограничивались короткими и хлесткими воззваниями, как видно, писанными рукою Варыньского: воззвание «По случаю коронации Александра Третьего» и манифест «К работающим на пашне». Кон читал эти издания ревниво, искал теоретические ошибки — и находил их! Но «не ошибается тот, кто ничего не делает». Похоже, Пухевич избрал именно эту тактику — не ошибаться, сиречь бездействовать.

Феликс сгорал от нетерпения, жаждал живого дела. Поступление на юридический факультет было вопросом решенным, а вот партийная деятельность представляла собою сплошную проблему. Варыньский словно насмехался над ними, проводя непрерывные собрания и сходки, слухи о которых докатывались через Пашке или Сливиньского, которые сами уже, кажется, посматривали в

сторону «Пролетариата», собираясь сбежать туда под благовидным предлогом. Один Профессор в своей кабинетной тиши, уединившись от созданной им партии, ничего не замечал и по-прежнему давал устные наставления доверенным лицам — как, где и когда говорить с рабочими.

В августе в Варшаву приехал Куницкий; работа в «Пролетариате» еще более оживилась. По слухам, готовился к печати первый номер большой газеты, ибо Куницкому удалось привезти несколько пудов шрифта. У Феликса руки чесались: нелегальная газета в Варшаве! Да такого не бывало со времен январского восстания! Вот бы поучаствовать в ее издании! Кроме всего прочего неискоренимый патриотизм, имевший в семье Конов богатые традиции, науськивал: хорошо бы обогнать русских в конспирации! «Народная воля», кажется, разваливается на глазах, центральный орган выходит через пень-колоду, а тут в Варшаве появляется польская нелегальная газета! Феликс буквально мечтал о ней, забывая, что она издается конкурирующей партией, с которой не было вражды, существовали даже отношения взаимопомощи, как между «Черным переделом» и «Народной волей», но все же, все же...

В сентябре стало известно: газета вышла! Называется, как и партия, «Пролетариат». Через несколько дней Феликс увидел свежий оттиск. Его принес на сходку бывший последователь Пухевича рабочий Теодор Каленбрунн. Он еще в начале лета ушел в «Пролетариат», теперь явился на собрание, чтобы агитировать товарищей сделать то же.

Феликс понял, что ему это удастся.

Ужасно расстроенный вернулся он домой с Новой Праги, пробрался в свою комнату — дело было поздним вечером. Как вдруг в дверь постучали. Феликс вздрогнул: кто бы это мог быть?

Вошла мать. Глаза ее были заплаканы.

— Что с тобой, мама? — спросил Феликс.

— Ты слышал о Варыньском? — спросила она.— Это был главный организатор кружков, когда твоя сестра и Макс пошли в Сибирь. Я его хорошо знала, встречалась в Кракове...

— Я слышал о нем, мама...— осторожно отвечал Феликс.

— Его сегодня арестовали в Варшаве.

— Как?! — вскричал он, вскакивая.

— Да, представь себе. Оказывается, он уже давно здесь. Я и не знала...

— Кто тебе сказал? — умоляюще спросил он, надеясь на ошибку.

— Пани Зофья Щепковская. Она видела все своими глазами и была свидетельницей в полицейском циркуле...

И пани Паулина Кон рассказала сыну то, что стало известно от приятельницы, выслушавшей в участке показания лиц, замешанных в деле. Она своими глазами видела опознание задержанного.

Как показал в полицейском циркуле владелец млечарни на улице Рымарской близ Банковой площади Лейзер Бутлов, сегодня в три часа пополудни к нему в лавку вошел молодой человек лет двадцати семи, одетый весьма прилично, в пенсне и с бородкой. На нем было светлое летнее пальто, брюки со штрипками, на голове шляпа-канотье. В руках молодой человек имел пакет, перевязанный бечевкой...

По словам Лейзера, молодой человек очень спешил и, не заказывая ни кофе, ни взбитых сливок, спросил у него лишь почтовых марок, на что Бутлов продал ему шесть штук. Тогда он, отложив пакет в сторону, пристроился за конторкой и, вынув из кармана конверт, надписал на нем адрес и наклеил марки. Бутлов заметил, что адрес был парижский. После чего молодой человек, торопясь, запечатал письмо и выбежал вон из лавки, оставив перевязан-

ный пакет на конторке. Бутлов решил на всякий случай поинтересоваться содержимым пакета...

— Какой негодяй! — вырвалось у Феликса.

...Там оказалось большое число свежеотпечатанных листовок, на которых Бутлов прочитал текст песни «Варшавянка». Лавочник испугался. В это время в лавку зашел сосед Бутлова молодой Янкель Вальд, содержащий в этом же доме некое сомнительное заведение «для господ офицеров», хотя посещают его, в основном, унтеры. Девочки из этого заведения часто завтракают в млечарне Бутлова.

Лейзер показал ему листовку, но в это время вернулся запыхавшийся молодой господин. Увидев, что пакет распечатан, он с досадою выхватил его из рук Бутлова, выразив при том крайнее раздражение тем, что пакет вскрыт. Бутлов отвечал, что искал адрес папа, чтобы переправить ему забытую вещь. Господин круто повернулся и выбежал из млечарни.

Янкель Вальд последовал за ним и заметил, что молодой господин зашел в кондитерскую лавку Квециньского в этом же доме. Тогда Янкель нырнул в парадную и постучал в квартиру закройщика Абрама Софы. Тот, по счастью, оказался дома, и Янкель послал его за околоточным, а сам с Бутловым принялся сторожить вход в цукерню Квециньского.

Софа побежал на угол Лешно и Тломацкой, где обычно находился околоточный Жвавчук, и рассказал тому, что замечена подозрительная личность. Околоточный не хотел покидать свой пост, ожидая проезда генерал-губернатора, но Абрам сказал ему о листовках. Тогда Жвавчук побежал на Рымарскую и вместе с Бутловым вошел в цукерню. Вальд и Софа остались на улице.

— Пани Щепковская сидела в той самой цукерне и видела все своими глазами,— продолжала пани Паулина.— Полицейский вырос в дверях, а за ним какой-то про-

тивный тип с длинным носом. Тип указал на молодого человека, пришедшего незадолго до того и беседующего с молодой дамой за столиком в углу. Пани Щепковская заметила, что дама пришла раньше и в ожидании господина выпила чашечку кофе. Полицейский приблизился к столику и потянулся к пакету, лежащему на краю стола. Однако молодой господин вскочил на ноги, успев смахнуть пакет на пол, и оттолкнул околоточного. «Беги-те!» — крикнул он даме, вступая в драку с полицейским. Дама выскользнула на улицу. Видимо, ей удалось скрыться, потому что в участок привели лишь молодого господина... Он вырывался, кричал, что он не злодей, а политический, но Бутлов, Вальд и Софа помогли околоточному скрутить его... В участке выяснилось, что это был Варыньский. Пани Щепковская, которую попросили пройти туда свидетельницей, рассказала, что у него нашли паспорт на имя австрийского подданного Кароля Постоля, но в участке имелась фотография Варыньского, которого разыскивают с семьдесят восьмого года. Увидев ее, молодой господин сам признался, что он — Людвик Варыньский...

— О боже, как нелепо! — проговорил Феликс.

— Я стыжусь, Феликс, что это сделано руками людей нашей национальности,— тихо проговорила пани Паулина.

— Это сделано руками лавочников, мама! — закричал Феликс.— Лавочники одинаковы, кем бы они ни были — русскими, поляками, евреями!

Это произошло двадцать восьмого сентября.

Феликс не спал всю ночь. Еще и еще раз он проигрывал в уме картину ареста, отмечая с болью — где Варыньский ошибся и как можно было бы спастись. «Ах, если бы я был рядом! — думал Феликс.— Неужто мы вдвоем не отбились бы от этих грязных свиней!» Больше он не колебался. «Пролетариат» потерял вождя — поте-

рял в тот самый момент, когда партия расправила плечи, дела ее находятся в расцвете, она стала реальной общественной силой. И в этот момент я останусь в стороне? Я буду влачить жалкое существование в «Солидарности»? Нет и еще раз нет! Что же касается того единственного пункта программы, из-за которого Кон оказался вне «Пролетариата» — пункта о терроре,— то что ж делать? Придется принять его, тем более что он, похоже, остался лишь на бумаге. В самом деле, за год своего существования партия не совершила ни единого покушения... Партия по-прежнему делала ставку на пропаганду и агитацию среди рабочих. А раз так, место Феликса — там!

На следующее утро он рассказал о случившемся Пацановскому. Станислав угрюмо засопел. «Непременно напишет стихи»,— подумал Кон, пряча улыбку. Он знал, что товарищ сочиняет стихи и мечтает стать поэтом. Как знать, может быть, создаст свою «Варшавянку», как это сделал Вацлав Свенцицкий!..

В первых числах октября они связались с Куницким. К тому времени были арестованы еще два члена Центрального комитета — Плоский и Янечка Ентыс. Попал в Цитадель и Пухевич, как лицо, имевшее сношения с австрийским подданным Каролем Постолем, о чем гласила запись в домовой книге на Новогродской, где квартировал Постоль. Но Пухевича вскоре выпустили, не найдя против него улик. Из членов ЦК в Варшаве находились теперь лишь Куницкий, Дембский и Дулемба. Тадеуш Рехневский оставался в Петербурге, занимаясь делами «Народной воли», в которой происходило что-то непонятное. После того как во главе партии оказался Дегаев, дела пошли странным образом: крупные провалы происходили как бы на фоне упрочения партии и централизации руководства. Кон следил за «Народной волей» пристально, читая регулярно «Листок Народной воли», издающийся в Варшаве Янчевским.

По всему выходило, что вождем «Пролетарната» становился Станислав Куницкий. Кажется, новое пополнение партии ему понравилось, в особенности Пацановский, привлекший внимание литературными способностями. Партии остро не хватало интеллигентов, способных написать статью или воззвание. Сам Куницкий, увы, плохо владел польским.

Он назначил Кона и Пацановского агентами ЦК второй ступени, что означало право действовать от имени ЦК и выполнять его распоряжения, если это не противоречит их убеждениям.

Уточнение окончательно успокоило Феликса: террором они заниматься не будут! Уже в ноябре молодые агенты с кличками Стожек и Михалек с головой окунулись в работу.

Постскриптум

Феликс Кон по приговору военного суда получит десять лет и восемь месяцев каторги, которую будет отбывать на Каре вместе со своими товарищами по партии Дулембой, Рехневским, Маньковским и Люри. По дороге на каторгу Кон и Рехневский сумеют написать отчет о суде, который попадет в нелегальную печать России, будет издан и за границей.

После Кары Кону предстоят долгие годы ссылки в Восточной Сибири, где он познакомится с В. И. Лениным. По возвращении на родину Кон станет заметным участником революционного движения, одним из руководителей Польской социалистической партии-левицы. После Октябрьской революции Кон вступит в ряды РКП(б), будет выполнять ответственную работу в Коммунистическом Интернационале. Последние годы жизни будет руководить Всесоюзным комитетом радиовещания, заведовать отделом Наркомпроса РСФСР, редактировать журнал

«Наша страна». Умрет Феликс Яковлевич Кон в Москве, в 1941 году.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

Арест Людвика Варыньского в сентябре 1883 года явился переломным моментом в истории «Пролетариата». Отныне руководство партией практически переходит в руки Станислава Куницкого, а Людвик Варыньский до конца дней своих обречен вести борьбу в тюремных застенках.

Ежи Таргальский пишет:

«Летом 1883 года окончательно выкристаллизовалась организационная структура партии «Пролетариат». Основу партийной организации составляли кружки. Члены кружков, вносящие взносы один раз в две недели, обязаны были исполнять все решения партийных инстанций, распространять партийную литературу, участвовать в экономических и политических акциях, а также влиять на беспартийных. Кружком руководил организатор. Кружки данного района образовывали секцию, которой управлял центральный кружок для данной социальной среды. В организации имелось четыре независимых друг от друга секции: интеллигентская, рабочая, ремесленная и секция подмастерьев. Их представители входили в состав Рабочих комитетов, осуществлявших руководство партией в данном месте. Важнейшие решения Рабочих комитетов подлежали утверждению Центрального Комитета. Члены Центрального Комитета и его агенты принимали участие в заседаниях Рабочих комитетов.

В начале июня 1883 года при помощи Марцелия Янчевского, который заведовал типографией «Народной воли», «Пролетариат» основал в Варшаве собственную типографию. Она находилась на улице Новолипье, 51, в квартире вдовы русского офицера, занимая помещение, прилегающее к танцевальному залу, который содержал как

совладелец член «Пролетариата» Эдмунд Выгановский.

Пятнадцатого июня была выпущена первая листовка, отпечатанная в собственной типографии и посвященная коронации царя Александра Третьего. Определяя его как продолжателя деспотичной политики его предшественников, автор воззвания Людвик Варыньский призывал передовую часть общества встать под знамена партии для борьбы за свободу. «Только шляхта и буржуазия,— писал он,— принимают сторону нынешней монархии, видя, что для защиты их интересов она распоряжается миллионом средств... Граждане! Знамя, поднятое социально-революционной партией,— единственное знамя, под которым собираются враги царизма и эксплуатации, политической и экономической неволи. Определяйте ваше место в борьбе, которую мы ведем вместе с русскими революционерами! Время национальной розни минуло; идея свободы должна сплотить в едином строю всех истинных своих приверженцев!»

Варыньский считал необходимым привлекать к борьбе с царизмом и эксплуатацией, общественно-политическим гнетом не только рабочий класс, но и весь трудовой народ, а также отдельных, наиболее сознательных представителей интеллигенции и власть имущих. Он добивался взаимодействия и союза с ними на определенных условиях, то есть на признании непролетарскими группами в классовом обществе революционных и социальных целей борьбы, не идя на компромиссы в сфере идейных и организационных принципов. Варыньский обращал свое внимание прежде всего на крестьян и ремесленников. Он видел в них союзников рабочего класса в борьбе за социализм.

Двадцать четвертого июня 1883 года в типографии «Пролетариата» вышло написанное Варыньским воззвание, озаглавленное «К работающим на пашне. Манифест Центрального комитета социально-революционной пар-

тии». Талант агитатора, присущий Варыньскому, в полной мере выразился в словах «Манифеста».

«Крестьяне! Давно минули времена, когда паны силою или хитростью отобрали у вас землю, на которой трудились ваши деды и прадеды, и сделали из вас своих рабов. Сегодня едва ли половина из вас что-то имеет, и лишь один из пяти доволен своим положением. Вам нужна земля! Кто даст вам ее? Кто облегчит вашу долю? Может, паны? Нет, отнятого никто добровольно не отдаст. Может, царь? Не даст вам царь земли. Вместо нее наложит на вас новые тяжкие подати, уведет со двора последнюю скотину... Царь сам вызывает вас на борьбу, он хочет и дальше душить вас, всегда и везде укреплять и оборонять панскую власть. Готовьтесь к борьбе с царем, ибо вас она не минует, готовьтесь поскорее, ибо вот-вот вспыхнет она!

Мы, социалисты, поднялись на борьбу во имя ваших интересов и готовы уничтожить все, что мешает трудовому народу. Как рабочим городов фабрики, так и вам, крестьянам, землю, а всем — свободу даст будущая революция... В минуту революции мы будем с вами; вы узнаете нас, ибо мы одни станем говорить: земля должна принадлежать тем, кто ее пашет, фабрики — тем, кто в них работает. Вставайте на борьбу — этим вы ускорите полную нашу победу над врагами!..»

«Пролетарит» занимался массовым распространением «Манифеста» в деревнях... Во время религиозного праздника в Ченстохове, на который, по традиции, собирались тысячи паломников, специально выбранная группа пролетариатцев раздавала экземпляры «Манифеста» в городе и предместьях...

Но настоящим триумфом партии был выпуск первого номера газеты «Пролетариат». Вот что пишет об этом органе польских социалистов советский историк А. М. Орехов.

«...Изданная на некачественной бумаге, несовершенная в полиграфическом отношении, с бросающимися в глаза многочисленными опечатками, с подчас нечитабельным шрифтом, словом, со всеми атрибутами спешки, вызванной конспиративными условиями, газета тем не менее вызывает у нынешнего историка чувство неподдельного изумления и уважения: столько мужества, убежденности и самопожертвования стоит за каждой ее строкой.

Газету печатали А. Ковальский, в недавнем прошлом участник галицийского рабочего движения, и Э. Выгановский, редактировали Л. Варыньский, Э. Плоский и Ст. Куницкий.

Материалы газеты группировались в несколько отделов. Самым обширным был организационный отдел, содержавший официальные заявления ЦК, воззвания и листовки партии, отчеты о партийных финансах, некрологи деятелей польского социалистического движения, хронику обысков и арестов, предупреждения об изменниках и провокаторах. Значительное место уделялось хронике рабочего движения, распадавшейся на две части — посвященную Королевству Польскому и заграничную. В первую входили также материалы о русском народовольческом движении. Третья группа материалов — редакционные и программные статьи, поясняющие политические акции партии... Наконец, была еще небольшая группа литературных материалов — произведения нарождавшейся рабочей поэзии и песни.

Первый номер газеты открывался сообщением ЦК «Пролетариата» о полном организационном размежевании партии с группой «Солидарность». Затем следовала вступительная редакционная статья с кратким изложением целей газеты: служить делу освобождения польского рабочего класса от капиталистической эксплуатации...

Насущные вопросы движения поднимала вторая ре-

дакционная статья, принадлежавшая, по-видимому, перу Л. Варыньского. В ней предпринята попытка обобщить недолгий путь, пройденный партией. Статья указывает, что первопричиной появления социалистов явилась капиталистическая эксплуатация и политический гнет самодержавия. Стремления националистически настроенной интеллигенции овладеть руководством движения (имелась в виду, очевидно, патриотическая организация А. Шиманьского) не увенчались успехом. «Сегодня рабочий начинает понимать, что только международная социальная революция даст ему полное освобождение, что эту революцию он может совершить только собственными силами». Польский рабочий видит, говорится в статье, что помочь ему может только «вышедшая из его недр и воспитанная в классово-экономической борьбе рабочая интеллигенция, единственная настоящая выразительница его идеалов, стремлений и революционных принципов». Социалисты стремились разъяснить рабочим сущность капиталистической эксплуатации и неизбежность краха капитализма, указать на объективную роль масс в историческом развитии. Борьба, понесенные социалистами жертвы показали, что одной пропаганды недостаточно, что «пропаганда должна всегда сопровождаться агитацией и борьбой с угнетением». Это принципиальное положение, отмечала газета, принято партией «Пролетариат».

И еще один вывод следует сделать польским социалистам, суммируя накопившийся опыт, отмечалось в статье. Необходимо централизовать движение путем создания «узкой организации», то есть партии. Подчеркну, что речь в данном случае идет именно о партии, а не о заговорщической организации бланкистского типа. Каждый член организации должен подчиняться партийной дисциплине и находиться под контролем партии. «Опыт убедил нас, что децентрализация движения, полная незави-

симость групп и личностей и федеративная их связь ведут только к дезорганизации, непорядку, обнаруживая пути и способы действия и открывая врагу широкую возможность внедрения в организацию своих сторонников и шпионов». Несомненно, тут сказалось критическое освоение исторических уроков русского народовольческого движения...

Вскоре после выхода из печати первого номера газеты партия «Пролетариат» потеряла своего признанного лидера Л. Варыньского... Подвела его собственная неосторожность. Вслед за этим в течение нескольких дней охранка арестовала Э. Плоского и А. Ентыс. Партии был нанесен тяжелый удар, от которого она не смогла оправиться. Положение усугубилось тем, что Э. Плоский, находясь в руках жандармов, растерялся и дал подробные показания. Сентябрьскими арестами 1883 года заканчивается первый период деятельности партии «Пролетариат»...»

Глава шестнадцатая.
ЧЕРНЫЙ

Февраль 1884 года

Куницкий вышел на набережную Сены и кинул взгляд вправо. За углом открывалась большая площадь; вдоль набережной, будто по линейке, росли каштаны, сквозь голые ветки которых открывалась перспектива мостов с разнообразным количеством пролетов: ближайший — в один пролет, следующий — в четыре, а за ними — в три. Количество мостов удивляло Стаха, привыкшего в Варшаве к одному, ведущему из Старого Мяста на Прагу, не считая, конечно, железнодорожного. Да и в Петербурге мостов немного сравнительно с Парижем — через Неву, разумеется...

Куницкий плохо знал Париж, французский язык — чуть лучше. Тем не менее, остановив какого-то господина, он уверенно осведомился о местонахождении Нового моста, где у него назначена была встреча с Лопатиным. Ему передал вчера Тихомиров, что Герман Александрович будет ждать его в полдень на набережной близ моста Генриха Четвертого, который именуется еще и Новым.

Господин указал направление, и Стах не спеша пошел по набережной вдоль бесчисленных лотков букинистов, которые, пользуясь солнечной погодой и приближением весны, развернули свои убогие сооружения самого разнообразного вида, невзирая на скудное количество покупателей. До встречи оставалось полчаса, а Новый мост, как выяснилось, был минутах в десяти ходьбы, так что Куницкий часто останавливался у лотков, рассматривая книги. Ему хотелось прийти минута в минуту, дабы показать Лопатину свою обязательность, столь необходимую для дальнейших отношений с ним лично и с «Народной волей».

Он не виделся с Лопатиным с осени прошлого года, когда народовольческий Петербург притих, ожидая покушения на Судейкина, а бывший друг Куницкого Дегаев, который в свое время ввел его в партию и от которого не было тайн, включая дела «Пролетариата», вдруг сделался из руководящего члена Исполнительного комитета провокатором охранки, вернее, как оказалось, совмещал обе функции. Правда, это «вдруг» было неожиданным лишь для Куницкого; в Петербурге знали с лета, а за границей и того дольше. Лопатин сказал, что Дегаев признался Тихомирову и Ошаниной в предательстве, был приговорен к смерти и помилован в обмен на обещание устранить Судейкина. Однако знал об этом ограниченный круг лиц, Лопатину не сказали; он сам со свойственной ему железной логикой и нравственной интуицией раску-

сил предателя, и с той поры Дегаев понял, что ему не увильнуть от обещанного.

Первой мыслью Куницкого было — убить Дегаева. В конце концов, решение заграничного центра ему не указ. Ежели его не предупредили, то он волен действовать на свой страх и риск. Но тогда оставался Судейкин, а добраться до него без Дегаева во сто крат труднее. А что, если подполковник уже осведомлен о «Пролетариате» и ждет лишь удобной минуты? Получалось, что для дела выгоднее устранить Судейкина, Дегаеву же сохранить жизнь, как обещано. Стах, не колеблясь, вызвался участвовать в террористическом акте. Ему было поручено сопроводить Дегаева после покушения, если оно удастся, из Петербурга в Либаву, где их встретит Рехневский и посадит Дегаева на пароход.

Стах хорошо помнил эту ночь в темном купе поезда Петербург — Рига, когда они с Дегаевым сидели друг против друга, не сомкнув глаз и не разговаривая. Куницкий сжимал в кармане револьвер; он дрожал от возбуждения, готовый убить Дегаева при малейшей попытке к бегству. Однако тот не выказывал такого желания, напротив, был на удивление спокоен,— особенно если иметь в виду зверскую картину покушения, о которой Куницкий узнал позднее: Судейкина после выстрела Дегаева добивали ломами Стародворский и Конашевич... Стаху этого хватило бы на неделю нервических припадков. Однако Дегаев сидел насупясь, будто размышляя совсем о другом. Уже утром, когда подъезжали к Риге, хмыкнул: «Они поймут — какого дурака сваляли!» Куницкий не стал переспрашивать, боясь сорваться. Посадка на пароход прошла без сучка и задоринки; Рехневский, как всегда, был до тошноты пунктуален.

И вот вчера в Париже Дегаев нашел его сам, пытался поговорить. Удивительно, что он не боится находиться здесь, когда в Париже проходит народовольческий съезд

и обсуждается, по сути, один вопрос: как восстановить партию, разрушенную предательством Дегаева? Сергей был пьян, пытался душу излить. Болезненно, маниакально повторял, что его неправильно поняли, что он придумал совершенно новый путь, а его сочли предателем... Куницкий слушал брезгливо, но что-то задевало его в этом пьяном бреду, какая-то струна души отзывалась на бессвязные прожекты Дегаева. Под конец Дегаев вымолвил с трудом: «Стас, запомни... Я гений...» Куницкий вырвал руку, ушел, не оборачиваясь.

Пожалуй, это единственная неприятность, которая случилась с ним здесь, в Париже, не считая полученного тремя днями раньше известия об аресте Рехневских под Киевом. Тадеуш и Витольда сочетались браком и отправились в небольшое свадебное путешествие: решили совместить приятное с полезным. В Киеве они встречались с Якубовичем, у того же на хвосте сидел шпион. Обидно... После январского ареста Генрыка Дулембы — это серьезнейшая потеря для партии. В Центральном комитете остались лишь Дембский и Стах, имевший партийную кличку Черный.

И все же Куницкий был доволен и с уверенностью смотрел в будущее. Надо лишь изменить тактику, преодолеть некоторые ошибочные воззрения — и можно бороться дальше. Эмиграция его поддержала, что было большой радостью. Спасибо пани Янковской; Стах не ожидал, что она с такою энергией возьмется помогать ему. А как умна, как миловидна! Он вспомнил Теодору Русецкую, ему сделалось неприятно. Зачем он допустил до себя эту странную одинокую женщину, нашедшую приют у Бардовских? Добро бы красавица... Нет, пани Янковская, несмотря на то что ей, как и Теодоре, явно за тридцать, может свести с ума любого мужчину. Чем и занимается, как видно, подумал он, припомнив общую беседу в редакции «Пшедсвита» и то напряжение между Дикштейном

и Мендельсоном, которое висело в воздухе. Впрочем, ближе к делу, Стах. Через пять минут тебе предстоит важный разговор с Лопатиным.

Он издали заметил плотную, добротную фигуру Германа Александровича у парапета набережной рядом с мальчишкой-рыболовом. Лопатин что-то увлеченно объяснял этому гамену, насаживая на крючок наживку. Куницкий остановился, взглянул на часы. Еще рановато... Нужно появиться секунда в секунду. Он оперся на парапет и скользнул взглядом по мутным водам Сены. Тишина и спокойствие солнечного, теплого городского утра вдруг проникли ему в душу, дошли до сознания. Как славно!.. Жить бы и жить в Париже, а он спешит в Варшаву, где шпики на каждом углу.

Тот разговор в «Пшедсвите», во многом благодаря пани Янковской, закончился триумфально. Куницкий никак не ожидал такого исхода, не рассчитывал и на половину победы. Пекарский и Длуский со своею идеей общепольской партии, не имеющей касательства к русскому движению, остались в меньшинстве. Мендельсон, Янковская, Дикштейн и Цезарина Войнаровская, успевшая побывать в тюрьмах России и Австрии и недавно приехавшая в Женеву, приняли платформу «Пролетариата» и согласились с тем, чтобы «Пшедсвит» стал официальным органом партии, подчиняясь Центральному комитету! Фантастика... Как он мог рассчитывать на это? Мало того, договорились, что женевские товарищи возьмут на себя издание теоретического органа партии «Валька кляс», то есть «Борьба классов». Куницкий искал в этом какой-то подвох. Они же знают, что Центральный комитет — это, по существу, один человек, потому что второй, Олек Дембский, сидит в подпольной типографии на Налевках почти безвылазно, опасаясь ареста. Он даже к Беджицкой не приходит, не говоря о квартире Бардовских!

Вероятно, эмигранты почувствовали после размолвки

с Варыньским, что главные события происходят в крае. Зарубежная печать имеет вес только в том случае, если на месте, в Варшаве, существует крепкая организация. Иначе это — сотрясение воздуха.

Таким образом, Стаху удалось превзойти самого Варыньского в переговорах с эмиграцией, а это — он понимал отчетливо — поднимало его престиж в партии на новую высоту.

А буквально вчера он совершил второй подвиг, который тоже не удалось полтора года назад совершить Людвику. Он практически договорился с «Народной волей» о революционном союзе. Состоялся разговор с Тихомировым и Ошаниной. Стаху взялась помочь в нем та же пани Янковская, хорошо знавшая русских.

Тихомиров произвел на Стаха сложное впечатление. У Льва Александровича был усталый вид, он долго жевал губами между фразами, потом, словно нехотя, ронял их. Поляков он, конечно, не любит. У Варыньского было сходное мнение. Естественно, прямо не говорится, но каждая морщинка на лице об этом вопиет. Людвик, вернувшись год назад из Парижа, сказал с досадой: «У него тембр голоса монархический». Тогда Стах, грешным делом, подумал, что Варыньский обижен холодным приемом, оказанным ему в Париже. Но вчера убедился: Людвик был прав. Кстати, Куницкий спросил мнение Тихомирова о Варыньском, когда зашла о нем речь. Тихомиров, опять пожевав губами, ответил, что Людвиг Северинович безусловно неглуп, храбр и в своем роде, чисто по-польски, энергичен... Однако чересчур легкомыслен. Что означает это «чисто по-польски»? В общем, как ни крути, сквозит недоброжелательность — не столько к Варыньскому, сколько к полякам вообще.

Стах вновь кинул взгляд на часы. Оставалось три минуты. Он деловою походкой направился к Лопатину.

Герман Александрович в это время, перегнувшись

вниз, с азартом наблюдал, как гамен пытается вывести из воды попавшую на крючок рыбешку. Сам мальчишка лежал животом на гранитном парапете и, намотав леску на палец, водил ею из стороны в сторону. Глаза его горели, ноги в разбитых ботинках дрыгали в воздухе.

— Погоди, тихонечко, тихонечко...— по-русски, забывшись, руководил им Лопатин.— Да не свались ты! — поймал он мальчишку за ногу, когда тот чуть было не клюнул носом в реку. Дружными усилиями они вытянули наверх плотвичку с половину фунта.

Куницкий уже стоял рядом, улыбаясь.

— Здравствуйте, Герман Александрович,— кивнул он.

— Рад видеть, Станислав Чеславович,— Лопатин пожал ему руку, с гордостью указал на рыбку: — Какова?

Он потрепал мальчишку по плечу, сказал ему что-то по-французски; в ответ тот рассмеялся и кивнул: «Уи, мсье!..» Затем они направились по набережной к мосту Генриха Четвертого: два хорошо одетых господина в цилиндрах — один молодой, другой постарше,— совершающих неспешный променад за легкой дружеской беседой.

Прежде всего Куницкий исполнил поручение народовольцев: передал Лопатину паспорт для Саловой на имя Драгины Джюриц, приобретенный в Гейдельсберге две недели назад вместе с паспортом ее мужа Драголюба Джюрица, который он оставил себе.

— Стало быть, Неонила Михайловна официально будет считаться вашей женою? — улыбнулся Лопатин.

Стах пропустил шутку мимо ушей. Он уже приготовлялся к речи, которую обдумывал еще в Варшаве, а вчера, после встречи с Тихомировым, окончательно прояснил по всем пунктам. Что бы там ни говорили, они с Лопатиным сейчас — главные фигуры русской и польской партий. Следовательно, надобно договориться лично и конфиденциально.

— Герман Александрович, вы читали «Общие основа-

пия»? — осторожно начал он, имея в виду обсуждаемые на съезде народовольцев «Общие основания программы и организационной деятельности Центрального комитета социально-революционной партии «Пролетариат», составленные им еще в Варшаве и принятые активом партии в январе, на квартире Бардовского.

— Читал,— кивнул Лопатин.

— Ну и?..— вопросительно склонил голову Куницкий.

— Гладко было на бумаге...— неопределенно проговорил Лопатин.

— Не понимаю.

— Это я так. Шучу,— Лопатин улыбнулся, всею грудью вдохнул свежий воздух.

— Простите. Мне сейчас не до шуток! — довольно резко оборвал его Куницкий.

— Это вы меня простите, Станислав Чеславович,— серьезно проговорил Лопатин.— Я вас слушаю. Просто у меня недоверие к бумагам. На бумаге всегда одно получается, а в жизни — другое.

— Вот я и хочу договориться практически,— подхватил Стах.

— Это дело.

— Тогда, с вашего позволения, я кратко обрисую вам обстановку в «Пролетариате» на текущий момент. Простите, если я не буду называть некоторых фамилий...

— Можете не предупреждать. С конспирацией несколько знаком,— насмешливо ответил Герман Александрович.

Куницкий покосился на него. Точно кипятком, обожгла мысль: неужто он выглядит в глазах Лопатина мальчишкой? Нет, Герман Александрович опять стал серьезен и внимателен.

Куницкий кратко поведал ему о последних событиях в Варшаве, наступивших после ареста Варыньского: разгром рабочих кружков в октябре — ноябре прошлого года,

арест ряда лидеров и членов ЦК, выпуск подпольной литературы — трех номеров «Пролетариата», воззваний и брошюр, после чего и в типографском деле наметился застой.

— Теперь очевидно, что Варыньским был выбран неправильный курс на создание рабочей партии в том смысле, что она должна была преимущественно состоять из рабочих,— сказал Куницкий.— Я ставлю вопрос поиному: партия для рабочих, а не из рабочих. Кадровая партия интеллигентов, защищающая интересы пролетариата. Но этих интеллигентов нет! Варыньский в свое время разошелся с Пухевичем, имевшим влияние на интеллигенцию, разругался с Крусиньским, к которому прислушивались студенты, в результате теперь интеллигентов в партии можно по пальцам пересчитать! Некому написать статью, воззвание! Я имею, кроме Дембского, двух бывших гимназистов по кличке Михалек и Стожек — очень преданные и деловые юноши. Есть еще агенты Центрального комитета в Згеже, Белостоке. Несколько бывших студентов в «Боевой дружине» и «Красном Кресте». И все! Приходится привлекать сочувствующих партии либералов...

Он вспомнил о Петре Васильевиче Бардовском с некоторой виною: пожалуй, зря он назвал его «либералом». Впрочем, Лопатин Бардовского не знает...

— У меня есть русский мировой судья, ему под сорок, сторонник республики, конституционалист... Очень активно нам помогает в последнее время. И его жена тоже.

— Коронный мировой судья? — удивился Лопатин.

— Вот именно. Прекрасной души человек, мы у него как дома. Собирает для нас средства среди офицеров в Модлине. Недавно написал по моей просьбе «Воззвание к военным», мы собираемся его печатать листовкой...

Лопатин только головой покрутил.

Далее Стах, не называя фамилий, рассказал о своем

резерве — деятелях, которых он собирается привлечь к работе, кооптировав в ЦК, ежели они приедут в Варшаву. Среди них были Людвик Янович, с которым он познакомился только что в Париже, и Зофья Дзянковская из Киева, помощница Варыньского еще по «делу 137-ми»...

— Все это прекрасно,— сказал Лопатин.— Но что же получается? Партия заговора?

— А что вы можете еще предложить в русских условиях? — парировал Стах. — Любая попытка массовости тут же влечет провалы. Провокаторы плодятся, как...— он не сразу подобрал нужное сравнение.— Как зайцы!

— Зайцы? — Лопатин поднял бровь.

Стах смешался; не станешь же объяснять, что сыграл нелепую шутку польский язык: «предатели» по-польски — «здрайцы», чисто звуковой перенос!

— Как кролики,— поправился он.— Но мы не намерены этого терпеть. В самом скором времени мы начнем расправу над ними. Здесь мы должны быть беспощадны!

Лопатин уклонился от разговора о терроре. Как видно, его интересовало другое.

— Ну, а скажите, Станислав Чеславович, на что вы рассчитываете, создавая партию заговора? Расчет Варыньского на создание массовой рабочей партии — верен он или нет — мне понятен. Такая партия со временем может взять в руки государственную власть. А к чему может привести тактика бланкизма?

— К тому же,— быстро ответил Стах.

— Каким путем?

— Путем устранения реакционных деятелей и замены их прогрессивными.

— Ждите...— сказал Лопатин.— Что-то не видно, чтобы нынешний Александр был прогрессивнее своего отца.

— А ежели помочь установить нужного деятеля, Герман Александрович? — вкрадчиво проговорил Куницкий.

— То есть как? — не понял Лопатин.

— Вы «Конрада Валленрода» читали? — вместо ответа спросил Стах.

— Мицкевича? Читывал...

— Я не раз думал, почему именно польский гений смог родить поэму о Валленроде? Русскому бы в голову не пришло, уверяю вас! Поляк с детства воспитан в сознании, что он окружен враждебными и могущественными силами, с которыми бесполезно бороться открыто. Тогда на ум приходят другие возможности: хитрость, изворотливость, даже предательство... Может ли недостойная тактика привести к достойным результатам?

— Нет,— отрезал Лопатин.

— Погодите, Герман Александрович! Мицкевич показал, что может. Перед Конрадом преклоняешься, это человек идеи, готовый пожертвовать даже добрым именем ради нее. Жизнью жертвовать легче, чем добрым именем, как вы находите?

— Тут вы правы,— согласился Лопатин.

Ободренный Стах, чувствуя прилив вдохновения, начал говорить. Эти мысли давно не давали ему покоя, с тех пор, как узнал об истинном лице Дегаева, вплоть до вчерашнего дня, когда услышал от него: «Запомни... Я гений!» Была в этой фантазии Куницкого некая извращенная красота, так что Герман Александрович поначалу слушал со вниманием и живостью, но постепенно лицо его мрачнело, он уткнул нос в бороду и шел рядом со Стахом, не взглядывая на него, а уперев глаза в каменные плиты набережной. Он молчал, а Куницкий, почти забыв о собеседнике, говорил о сокровенном — о тех средствах, что, быть может, будут оправданы ослепительной, высокой целью...

— ...Представим себе образованного, честолюбивого и талантливого юношу, с детских лет ощутившего несправедливость общественных уложений и желание отдать силы, а если потребуется, то и жизнь делу освобождения

народа. Его не нужно представлять, он перед глазами! Это Михайлов или Желябов, умнейшие, волевые люди, это вы, Герман Александрович, не сочтите за лесть, это тот же Людвик Варыньский. Список можно продолжить. Что делает такой человек, избирая жизненный путь? Он идет на борьбу с правительством. Эта борьба, тайная по методам, является тем не менее явной по сути: революционер служит своему делу пером или кинжалом, не отрекаясь от своих убеждений и, если нужно, идет за них на эшафот и каторгу.

Но представим себе человека, отрекшегося от своих убеждений, а вернее сказать, спрятавшего их так глубоко, что об этом никто, кроме него самого, не знает. Делом же своим он изберет отнюдь не борьбу с правительством, а всемерную помощь ему. И он будет идти вверх по служебной лестнице, занимаясь любым из доступных ему государственных дел: дипломатией ли, финансами, судом, полицейскими делами, на худой конец... Не исключено, что он взойдет на вершины, ибо он талантлив, а движет им не только честолюбие и корысть, но и желание принести пользу народу. Не правда ли, став высшим сановником, приближенным к государю, он будет способен в удобном случае совершить государственный переворот и стать во главе государства. А уж тут он не упустит своего часа. Он станет диктатором! Он распорядится страной так, как велят ему справедливые юношеские убеждения. Он один сделает то, чего не добивались никакие партии и заговоры! Конечно, может статься, ему понадобятся единомышленники, особенно на последнем этапе взятия власти. Он их отыщет, ибо он умен, темпераментен, красив, черт побери! К нему тянутся, в него верят. Он уничтожит старую государственную машину, приведшую его на верхушку, и создаст новую... Почему вы усмехаетесь? Этот путь достаточно фантастичен, но не более, чем убийство коронованной особы. Правда, он требует

многих лет жизни, самоотречения и терпения, но вы уверены, что революцию можно совершить в более короткие сроки, чем одна человеческая жизнь?

Помечтаем еще немного. Представим его блестящим государственным человеком еще при старой власти, которую он ненавидит, но служит ей с преданностью, позволяющей продвигаться вверх. Это совсем не то, что партийный человек в глубоком подполье — нищий, бесправный и разыскиваемый. Нашему революционеру утром подают карету, и он едет в департамент, в министерство, во дворец с новым указом или всеподданнейшим докладом. От него зависят люди и жизни. Поставим его в крайнее обстоятельство. Представим его, например, прокурором губернской судебной палаты на одном из этапов его карьеры. И вот перед ним — его единомышленники, обвиняемые по политическому делу, по той же двести сорок девятой статье. Он должен потребовать их казни, чтобы заслужить повышения. И он требует...

— Дегаевым пахнет! — вдруг прервал его Лопатин да с такою мрачностью и силой, что Куницкий остановился с разбега, будто налетел на чугунную тумбу.

— Но я не о предательстве говорю... Я о высшей цели...— попытался оправдаться Куницкий, но Лопатин повторил так же жестко:

— Дегаевым пахнет!

— Впрочем, это игра ума,— упавшим голосом промолвил Стах.

— Не в бирюльки играем, Станислав Чеславович,— заметил Лопатин.

Еще мгновенье — и Куницкий бы вспылил, покинул бы своего собеседника,— как вдруг Лопатин, кинув взгляд на очередной лоток букиниста, оторопело вымолвил:

— Надо же...

Он подошел к лотку, снял с него книгу без перепле-

та, с неразрезанными страницами. Куницкий прочитал на обложке: «Капитал». Это было первое издание труда Маркса в России.

— За двенадцать лет никто не разрезал...— огорченно сказал Лопатин, покупая книгу.— Я сей труд переводил,— просто объяснил он, пряча книгу за отворот пальто.

— Вы?! — изумился Куницкий.

— Жаль, что Мавр не пользуется успехом...— вздохнул Герман Александрович, бросая укоризненный взгляд на Куницкого.— Мудрено писал, как вы находите? Впрочем, говорят, что ваш Ян Млот сделал отличный пересказ в брошюре «Кто чем живет?».

И Лопатин, как ни в чем не бывало, снова пошагал по набережной. Стах устремился за ним, ругая себя за то, что заговорил о сокровенном и непонятном для Лопатина. Что ж, перейдем к обсуждению пунктов соглашения с «Народной волей», подумал он, догоняя крупно шагавшего вдоль Сены человека с торчавшей из-за лацкана пальто пухлой книгой...

Постскриптум

Куницкий будет арестован в Варшаве через пять месяцев. Спустя еще полтора года его повесят по приговору Варшавского окружного суда.

Германа Александровича Лопатина арестуют в октябре 1884 года в Петербурге. Он будет осужден по так называемому «делу двадцати одного» на вечную каторгу, заточен в Шлиссельбург.

В 1905 году, отбыв в Шлиссельбургской тюрьме восемнадцать лет, Лопатин выйдет на свободу.

Умрет в 1918 году.

Глава семнадцатая.
ШИМОН

Июнь 1884 года

...Кажется, его предали. Может ли это быть? Давай проверим, Шимон, с самого начала. Откуда же начинать? С ветхозаветных времен? С изгнания Иосифа?.. Но у нас не так много времени. Неужто Марыня его предала?

Он подошел к двери гостиничного номера, прислушался. В коридоре было тихо. Зачем-то закрыл дверь на ключ, а ключ положил в карман. Шаг в правильном направлении, подумал он. Главное, чтобы ему не помешали.

Отель назывался «У лесника». Берн еще хуже Женевы. Дикштейн приехал по просьбе местного рабочего клуба, чтобы прочитать доклад. Впрочем, почему Дикштейн? Приехал Ян Млот, автор популярной брошюры «Кто чем живет?». Откровенно говоря, он был рад этой поездке. После возвращения Мендельсона из Пруссии жизнь его в Женеве стала невыносимой.

Неужели он всерьез рассчитывал на Марью? Нет, Шимон не такой идиот. Но когда рядом не было Станислава, она дарила его дружеским вниманием, нежностью... Или ему казалось? Мендельсон вернулся и забрал то, что принадлежит ему по праву. А ведь ты надеялся, Шимон, что Станислава выдадут русским и упекут в Сибирь! Фу, как гадко... Надеялся, признайся хоть себе! Трус несчастный!.. Думал, что тогда Марыня наконец будет твоей.

Его взгляд упал на раскрытый чемодан. О, Шимон знает — что хранится в кармашке с внутренней стороны верха! С некоторых пор эта нужная вещь всегда при нем.

Однажды ему показалось, что Марья может его полюбить. Лишь однажды. Владислав Янковский сидел в Киеве, Мендельсон — в познаньской тюрьме, Варыньский скрывался от жандармов в Варшаве. Марья осталась одна.

Рядом вздыхал и краснел Шимон. И она приблизила его к себе. Или это ему почудилось? Пожатья рук сделались продолжительнее и теплее, иной раз она касалась ладонью его щеки, и Шимон обмирал от счастья...

Зимой явился Станислав, и Марья вернулась в отношениях с Шимоном к прежней товарищеской корректности. Но ему же некуда возвращаться! Он любит ее!

Теперь — конец. Вчера он понял. Разговор с Мендельсоном все прояснил. Шимон сбежал от их любви в Берн, но Станислав явился за ним. Что им нужно от него?! Оказалось, всего-навсего — отказаться от доклада, то есть уступить его Мендельсону. Как?! Почему?! Разве тебе мало, Станислав, что у тебя Марыня?! Так он не сказал, конечно, побоялся. Потому что он трус, он слишком хорошо знает эту свою черту.

Мендельсон заявил, что доклад должен читать не просто представитель «Пшедсвита», а его главный редактор, то есть он. Мол, это не частное дело Дикштейна, а политическая акция польских социалистов. Марья вполне одобряет такое решение. Дикштейн чуть не заплакал: «Марья одобряет?..» Его будто по щеке ударили.

Шимон не уступил доклада. Он не ожидал от себя такого поступка. Наверное, он впервые в жизни проявил характер.

Точнее, в первый и последний раз, подумал он, снова бросая взгляд на кармашек чемодана, оттопыривающийся в том месте, где лежал пакет.

Они с Мендельсоном наконец поговорили начистоту. Это был трудный разговор. Вот уже сутки, мучаясь и страдая, Шимон вспоминал все детали этого объяснения, все свои слова и доводы, потому что, как ни странно, Мендельсон почти ничего не отвечал ему. Станислав молчал или ограничивался короткими репликами. Он вел себя с ним, словно с сумасшедшим, подумал Шимон. Сумасшедшим не возражают.

Но он в здравом уме. Вполне. У него хватает рассудка, чтобы трезво оценить положение и найти его безвыходным. Жаль, что рядом нет Варыньского, он один мог бы его спасти.

Так о чем же они говорили со Станиславом?.. Об отвлеченных вещах. О любви к Польше, например. И о зависти говорили. Любовь и зависть. Самые важные для него слова, подумал он.

...Ты завидовал с тех пор, как помнишь себя, а помнишь ты себя рыжим конопатым мальчишкой со всеми чертами нашей несчастной народности. Трушка уже сказал тебе в Познани, когда ты кинулся туда вслед за Марьей и Станиславом: «Посмотри в зеркало. Разве с такой мордой можно пропагандировать среди польских рабочих?» Молодец Трушка. Молодец. Поставил тебя на место...

Ты имел несчастье до поры до времени не догадываться о том, что не имеешь права любить Польшу. И ты любил ее так, как умел, то есть считал своей матерью. Впрочем, к матери ты относишься не так нежно, Шимон. Ты плохой сын. Господи, ты кругом плохой, куда ни кинь! Но Польшу ты любил, ты и сейчас ее любишь, что бы ни говорил Мендельсон.

Трус проклятый, зачем ты не поехал с Людвиком в Варшаву?! Боялся Десятого павильона. Разве сейчас ты лучше чувствуешь себя в этом отеле?..

Шимон снял крышку с керамического сосуда, стоящего на столе. Заглянул в него, потом зачем-то понюхал. Вода. Это то, что нужно. И стакан рядом. Это то, что нужно.

...Первый раз ему намекнули на то, что он не имеет права любить Польшу, в гимназии. Брат Самуил отвел его к директору второй Варшавской гимназии. «Посмотрите нашего мальчика, он способный ребенок». Директор принял его — способности бросались в глаза. Еще свежа

была память о восстании. Как-то раз дети на прогулке затянули «Еще Польска не згинела...». Учитель пан Сосновский, озираясь, поднял ладони: «Тише, дети, тише... Могут услыхать...» А сам руками, как бы успокаивая, дирижировал. Вдруг увидел, что Шимон тоже поет, нахмурился: «Дикштейн знает наизусть наш гимн? Похвально...» Оказывается, это был «их» гимн. Шимон не понимал, почему ему отказывали в праве любить отечество.

И об этом говорили с Мендельсоном. Станислав надменно спросил: «Зачем тебе это нужно?» Он по-прежнему считал эти разговоры пустыми. «Родина там, где можно работать»,— сказал он.

...В университете ты уже очень хорошо знал, Шимон, что можно и чего нельзя. Тебе нельзя было любить польские песни и стихи, потому что ты их «не можешь понять». Но кто смел заглянуть тебе в душу?.. И тут появился человек, которого ты потом подло предал. Появился Варыньский. Социализм — не отвлеченная идея. Это человек, который ее несет. К моменту знакомства с Людвиком ты уже считал себя социалистом, пытался переводить Маркса. Тебе казалось, что ты нашел свою философию, ставящую знак равенства меж людьми всех национальностей. Тебе затруднительно выражать свою любовь к Польше? Что ж, ты будешь любить Интернационал! Идиотические спекуляции незрелого ума. Людвик не открывал, что все люди — братья, он показал примером, что это возможно. Рядом с ним ты не чувствовал себя евреем, Шимон! Но кем же тогда? Да ты просто не задумывался об этом рядом с Варыньским. Национализм — это гадко. Ты был поляком, евреем, русским одновременно в той пропорции, какой наделили тебя природа, воспитание, историческая условность. Русским ты был, Шимон, поскольку Варыньский из России. Это счастье, что он из России, только в украинских степях могла родиться натура такой широты и силы...

Он размышлял, а руки и тело делали то, что должны были делать. Они подготовляли неизбежный финал, к которому Шимон давно приближался.

...И ты стал завидовать Варыньскому. Любовь и зависть слились в одном сосуде, образовав яд, отравляющий твое сердце...

Он вытащил пакетик из кармана в верхней крышке. Вощеная бумага, тонкая бечевка... Попытался порвать бечевку, она не поддалась. Зачем спешить, Шимон? Возьми ножницы. У тебя есть время на то, чтобы обрезать бечеву.

Из свертка высыпались на скатерть, скользя друг по другу, прямоугольные бумажные пакетики с порошком внутри. Он придирчиво осмотрел их: хватит ли? О да, здесь с запасом...

Только с Варыньским он не боялся ходить в рабочие кружки. Однажды по дороге в Вилянув, где была назначена сходка, он спросил, не помешает ли Людвику своим присутствием. Варыньский не понял, он был озадачен. «Чем ты можешь помешать, Дыпька?» Шимон застеснялся, обвел пальцем свое ненавистное лицо. Людвик расхохотался, но вдруг сделался серьезен. «Бедный Дыпьо, не стыдись своего лица. Стыдись только мыслей». Шимон запомнил эти слова на всю жизнь.

«Стыжусь, стыжусь своих мыслей и своего лица...»

Он предал его, убежав из Варшавы в апреле, шесть лет назад. Предал, что бы ни говорил Варыньский. Шимону было стыдно, ведь Людвик рассчитывал на его помощь. Людей не хватало, Филюня разрывалась на части, из Петербурга спешили на помощь эмиссары польских кружков. А он сел в поезд, прижимая к себе чемоданчик.

Проезжая над Вислой, он увидел стаю белых голубей, он как сейчас помнит. Они взлетели с какой-то крыши Старого Мяста и летели дружной стаей — турман впереди, остальные за ним. И вдруг один отвалился в сторо-

ну, снизил высоту и полетел вдоль берега, рассеянно хлопая крыльями — жалкий и никчемный... Стая даже не заметила этого и, сделав в апрельском небе упругий разворот, полетела дальше. А тот, одинокий, затерялся в купах дерев, сгинул... Шимон подумал тогда, что он — как тот голубь...

— Отщепенец. Ты знаешь это русское слово? — спросил вчера он Мендельсона.

Как одиноко в этой Швейцарии! Теперь у него не осталось никого. Людвик сидит в Цитадели и пойдет этапом в Сибирь, если, не дай бог... Нет, не надо думать об этом! Марыня... Вспомнит ли она о нем?

А руки уже выложили на стол стопку бланков отеля с фирменным клеймом, поставили чернильницу. Надо написать подробно, чтобы его верно поняли. Надо никого не обидеть. Нет-нет, Станислав, о тебе ни слова. Это низко — мстить товарищу в предсмертном письме... Вот он и назвал это слово. Смерть. Предсмертное письмо.

Что ж, Шимон, ты давно готовился, пора испытать себя.

Выхода нет другого. Ты знаешь.

Он опять вспомнил Варыньского, его улыбку. Людвик никогда бы так не сделал. Он никогда бы не признался в поражении, потому что у него не может быть поражений. Даже если его повесят, это станет победой! Он предназначен побеждать смерть даже гибелью своею, потому что после него останутся слава и дело. Тебе же, Шимон, нужно сдаться перед смертью.

Он высыпал на клочок бумажки содержимое первого пакетика, распечатал второй, третий. Горка мельчайших белых кристалликов росла. Он совершенно безобиден на взгляд, этот морфий. И это не больно, ты узнавал. Это напоминает сон. Ты даже в смерти боишься боли. Впрочем, это глупо: узнавал... Разве кто-нибудь вернулся с того света?

Он уже не нужен Марыне, не нужен «Пшедсвиту», не нужен «Пролетариату». Да и что «Пролетариат» без Людвика? Группа бланкистов? Он вспомнил заговорщицкий взгляд Куницкого, блеск его очков, холодные пальцы. Шимон отогнал это воспоминание, ибо пора было приступать к исполнению приговора над собой.

Он сел за стол. Слева стоял стакан с водою, рядом на бумажке — смертельная доза морфия. Шимон придвинул к себе бланк отеля «У лесника», начал писать.

«А. Мотивы.

Возможно ли, чтобы во мне не было ничего хорошего? Может быть, судьба заранее приговорила меня ко все большему и большему падению?.. «Переломи себя, забудь самодовольство, вырви из души себялюбие, забудь о себе, возьмись за дело!» — легко это говорить...

Но можно ли, имея слабую волю, переломить то, что в течение веков передавалось по наследству? Нет, невозможно, ибо фатум сильнее человека.

С 1878 года меня неустанно преследует мысль о самоубийстве. В 1879 году, в апреле, она вновь появилась, потом я ее долго не ощущал. В 1881 году, в августе, она заявляет о себе в полную силу — и приводит 14 августа к первой попытке, которая, к сожалению, не удалась. Всю зиму 1882 года — одна попытка за другой, правда, неудачные; к ним даже не приступал, но неустанно готовился — от хлороформа к петле, потом к морфию. В октябре 1882 года — новая попытка. В течение некоторого времени — летом 1883 года — затишье, и вот с конца 1883 года до сегодняшнего дня у меня бесконечное желание убить себя. По-видимому, это необходимость, которая пойдет на пользу как мне, так и делу...»

Шимон задумался. Не зачеркнуть ли последнюю фразу? Как может самоубийство пойти ему на пользу? Он покосился на морфий. Маленькая египетская пирамидка, а за нею — вечность. Он оставил фразу.

Далее он покончил с делами, написал о переводах, которые обещал Майеру. Внезапно его окатил страх, потом вдруг стало весело. Он приписал внизу по-немецки: «Я отравлен прусской кислотой». Подумал, перевел фразу на польский.

Теперь предстояло самое главное. Мотивы никого не интересуют. Он уходит, кому нужны его мотивы? Но каким он уходит? Шимон отбросил исписанные листы, они, колеблясь в воздухе, опустились на пол.

Он придвинул к себе чистый лист. Решительно написал:

«Б. Исповедь последней минуты.

Я самым гнуснейшим образом низок, вся моя жизнь в последнее время — это полоса обманов, лицемерия, фальши. Окруженный людьми, которые не питают ко мне ничего плохого, кроме теплых чувств, я плачу за них завистью, за доверие — изменой, предавая таким образом все человеческие чувства. Моя доброта и мнимая искренность были ширмой, ханжеской ширмой морального опустошения, в котором не было ничего, кроме обычнейших желаний и удовлетворения пошлых потребностей. Без желания работать, без хотя бы малого стремления, без самого небольшого идеала я жил со дня на день, обманывая всех и себя, уверенный в глубине души, что я низкая тварь. Не припомню почти ни одного поступка, который можно было счесть благородным... Я даже не искал забвения в страстях, поскольку их не имел. Без сил и малейших усилий я погружался в нравственную грязь, из которой даже рука друзей не сможет меня вытянуть. Я пал так низко, так низко, что не знаю — найдется ли подлость, на которую я не был бы способен, на которую меня было бы невозможно толкнуть, которой бы я собственноручно не совершил...»

Перо остановилось. О, как он ненавидел себя сейчас! Шимон поднялся, почему-то ему не хотелось выпивать яд

сидя. Он взял бумажку с пирамидкой двумя пальцами, высунул язык — и тут же память некстати подсунула ему эпизод из детства — ангину, врача Футерляйба — нет, мимо, мимо! Он высыпал морфий на язык и тут же глотнул из стакана. Обыкновенный горький порошок. Лекарство. Лекарство от неудавшейся жизни.

Теперь надобно спешить. Он снова уселся на стул, схватил перо.

«Я принял морфий. Я сам удивляюсь своему мужеству — я совсем не испытываю страха и опасений, будто смерть не придет. Я думаю о Марье и о том, о чем попрошу ее, когда буду умирать. У меня в глазах слезы при мысли о себе, впрочем, я ничего пока не ощущаю. Я решился на смерть бесповоротно, лишь бы мне не помешали умереть. Лучше честная смерть, чем скверная жизнь без цели, без содержания. Я хотел написать имя бога, но зачеркнул. Не могу. Лишь бы умереть, только бы умереть, я не хочу жить, не хочу!

Марьюшечка, единственная, дорогая, ты была единственным существом, которое я любил на земле — так, как я мог любить — грязно, низко, но я тебе всем, всем был обязан и без тебя не смог бы жить дальше. Марьюшечка! Не сердись на меня, я был низок, но в глубине души всегда чувствовал, что я честный человек. Я не ожидал, что так спокойно приму яд. Я хотел бы еще раз увидеть тебя, хотя бы один раз. Нет, я не могу жить так, как жил до сих пор! Это мерзкая, бессмысленная жизнь. Это совсем не жизнь. Не призывайте меня назад, потому что я не хочу, потому что не хочу, я умру спокойно, умру честным.

Марья дорогая, любимая! Живи как можно дольше и как можно счастливее. Ты нужна для дела, для наших заключенных, для стольких людей. Я принял еще немного морфия, чтобы наверняка. Я еще не чувствую приближения смерти. Мне кажется, что она даже не наступит, но

за мною должны прийти, ведь должны прийти в самом деле.

Я доволен собой, одно только хотел всем...»

Он остановился, с удивлением посмотрел на лист. Буквы получались какими-то вытянутыми, страшными. «Они резиновые»,— подумал он, отшвыривая незаконченный листок и придвигая к себе новый. Пол вокруг него был уже усеян исписанными наполовину и на одну треть листами. В голову что-то толкнуло изнутри. Мягкий усыпляющий удар, потом кружение. Но он еще не все сказал...

«...Я умираю по собственной вине. Я умираю, потому что низок, мне надоело ломать комедию честного человека, а непорядочным, низким я жить не хочу. Нет — я повторяю всем честным людям эти слова, которым смерть придает вес,— нет другой причины смерти.

Я не хочу, не хотел быть низким, не хотел, не хотел.

Моей самой страшной виной было то, что я был слаб, я не мог ни полюбить дела, для которого работал, ни людей, которые меня окружали. Я был самый подлый из эгоистов, но я не хотел им быть, не хотел, не хочу.

Марынечка, дорогая, единственная! За твою доброту ко мне, за дружескую любовь, за твое благородство — тысячу, тысячу раз благодарю. Если бы я знал, что можно унести с собою в могилу мою благодарность, я бы ее взял. Ты самая моя дорогая, самая моя единственная. Прости, что я осмеливаюсь сейчас говорить эти нежности, но ведь это в последний раз!..

Кровь приливает к голове, и странная вещь — я не ощущаю никакого страха, никакой боязни смерти. Пускай приходит, пускай приходит как можно скорее, как можно скорее. Только кровь бьет сильно, сильно, крепко, крепко.

Моей матери: если я ее обидел, прошу простить.

Я был низкий, неблагодарный ко всему, ко всем, поэтому я умираю.

Моим товарищам в тюрьме поклоны и рукопожатия. Трушку я целую крепко от всего сердца...»

Ему показалось, что все. Он написал крупными буквами по-русски *«Не поминайте лихом!»*. Это Людвику. Это ему.

Нет, время есть еще. Еще можно объясниться. Они не поняли, они подумают, что... Стучат в дверь? Нет, я занят. Я занят важным делом. Самым важным в жизни. Смертью.

Он снова склонился над листом.

«Кровь стучит в висках все сильнее, все крепче. Я смерти не боюсь, не боюсь, не боюсь. Может, было бы лучше на баррикадах, но ничего не поделаешь — лучше умереть честным человеком. Марынечка, моя дорогая, моя единственная! Марынечка! Прости мне все плохое, что я когда-нибудь мог тебе сделать, и то безумие, которое наверняка...

Надо мне было выбрать другое место. Нужно было ничего не писать. Но это ничего.

Кровь приливает все больше, все сильнее. Ничего, я не боюсь смерти — нет, нет, лучше умереть, чем жить так подло, так низко, как я жил.

У меня кружится голова. Я прощаюсь с вами со всеми, с теми, которые любили меня, но я им не мог платить любовью, потому что был подл, подл — прощайте, прощайте, прощайте!

Если бы кто-нибудь пришел ко мне, прежде чем я потеряю сознание. Я был бы счастлив, если бы мог увидеть Марью, Казя, чтобы я мог с ними попрощаться. Я был бы счастлив, но не верю. Голова у меня кружится, кружится бесцельно, без необходимости, без... Кровь бьется в голове, тошнит, мне... тяжело. Кружится все около меня. Кажется, на этот раз не комедия, не комедия. Я, кажется, на этот раз впервые в жизни серьезен.

Почему я умираю.

Потому что я был тщеславным, ленивым, лживым, фальшивым, потому что низость моя камнем висела над жизнью, потому что у меня нет и следа человеческих чувств, потому что я не хочу жить бессмысленной жизнью. Лучше умереть и сохранить в других память о моей жизни, еще незапятнанной, чем жить неизвестно на что, неизвестно зачем...»

Перо остановилось. В дверь стучали все громче, но Шимон уже не слышал этого.

Постскриптум

Пани Марья Янковская распорядится доставить тело Дикштейна в Женеву и похоронить его на кладбище Каруж рядом с могилой Казимежа Гильдта.

Глава восемнадцатая.

ПАНИ МАРЬЯ

Август 1884 года

Какое ужасное лето! Не успели похоронить несчастного Дикштейна, как из Варшавы пришло сообщение об арестовании Куницкого с архивом Центрального комитета на квартире Бардовского. А теперь приехал Дембский, который привез новые известия и подробности.

Марья с нетерпением их ждет... От всех этих ужасов у нее мигрень третьи сутки. Вдобавок Станислав уехал в Париж, она же сама его и послала, чтобы он присмотрел там квартиру. После самоубийства Шимона пани Марья не может жить в Женеве. Здесь слишком много теней.

Неужели она виновата в этой смерти? Ее товарищеское отношение и дружеское участие к мужчинам постоянно принимаются ими за любовные знаки. Но она не умеет быть холодной! Коли она хорошо относится к мужчине, то поневоле ласкова с ним. Не означает же это, что она непременно хочет его соблазнить! Но мужчины так часто путают одно с другим, и все из-за своего самомнения. Пани Марья понимала самомнение у мужчин такого достоинства, как Варыньский или Мендельсон. Но самомнение Эразма? На чем оно держалось?.. Что же касается Дикштейна, то тут, к сожалению, другой случай. Самомнением он не страдал, отнюдь: скорее наоборот. Полный набор комплексов. Но в отсутствие Варыньского и Мендельсона он стал ей ближе, они часто разговаривали, вместе обедали, он с увлечением рассказывал ей о беспозвоночных... Бедный Шимон! Не знала же она, что он такой чувствительный! Она невольно оказывала ему знаки внимания, отвечала на пожатья рук... Она не умеет по-иному! Если она видит, что мужчина влюблен, она дает ему маленькую надежду, иначе бесчеловечно.

Шимон был одинок, вот этого она не учла. Это ошибка. Все мы в достаточной степени одиноки, особенно в эмиграции, но Дикштейн со своею застенчивостью, заиканием и непрерывным самокопанием был одинок втройне. И все же он не ребенок, она не могла за него отвечать!.. Вот пример мужчины, наделенного недюжинными интеллектуальными способностями, но не нашедшего свое предназначение. Его бросало из науки в революционную борьбу и обратно. Вечно был собою недоволен, считал себя недостойным любви и дружбы... А как он оговорил себя в предсмертном письме! Чудовищные преувеличения весьма обычных человеческих слабостей, которые свойственны всем. Если Шимон подл, то что тогда сказать о... Пани Марья усмехнулась, она даже мысленно не назвала имя.

В дверях показалась горничная Жаклин и, сделав

книксен, доложила, что просит принять пан Дембский. Марья кивнула, в ожидании гостя уселась в кресло к ломберному столику, за которым они иногда коротали время с Мендельсоном, играя в кости.

Олек Дембский вошел, озираясь и ступая с носка пугливым шагом. Желтые мешки под глазами, дряблая бледная кожа, в глазах нездоровый блеск. Черные волосы и черная борода. Марья его не узнала. Он всегда был блондином. Уже успел приодеться по здешней моде, но платье на нем топорщилось, будто с чужого плеча. Пока Олек шел по ковру к Марье, он дважды резко оглянулся. Поцеловал ей руку как-то судорожно и остался стоять, не понимая, что ему следует делать дальше.

— Прошу садиться,— радушно кивнула ему Марья, несмотря на то, что сильно болела голова.

Дембский уселся на краешек кресла, свалив коленки в сторону, и сразу стал похож на больную встрепанную птицу. Марья дала ему несколько секунд, чтобы прийти в себя, потом начала расспросы.

Он отвечал сначала кратко и, как ей показалось, неохотно, потом разговорился. Скоро Марья поняла причину пугливости Олека, и почему он брюнет, и откуда у него такой нездоровый цвет лица...

Дембский уже месяц находился в бегах; он без остановки и отдыха нелегально перемещался, меняя внешность и пользуясь разными паспортами: Петербург, Варшава, Лодзь, Вильно, снова Варшава, Либава, наконец Женева. Здесь можно было вздохнуть спокойно, здесь не было жандармов. Но привычка пугливо оглядываться осталась. А до этой бешеной гонки Олек несколько месяцев подряд сидел в типографии «Пролетариата» на улице Налевки, 22; выпускал листовки и газету партии, почему и приобрел такой землистый цвет лица.

Но если бы дело было только в его здоровье! Или в личной безопасности. Все гораздо хуже: «Пролетариат»

более не существует. Именно так, пани Марья, вы не ослышались...

Дембский судорожно сглотнул слюну.

Он начал с марта, с отъезда Куницкого, когда казалось, что дела партии идут блестяще, несмотря на аресты. Куницкий вернулся в Варшаву победителем, он сумел сделать то, чего не удавалось Варыньскому: договориться с «Народной волей». Пани Марья это знает, ведь она была участницей тех переговоров, не так ли?..

Янковская кивнула. Боже мой, этот самоуверенный мальчик с южным темпераментом тоже в Цитадели... Она поежилась. Ей пришла в голову мысль, что она приносит несчастье мужчинам, которые ищут у нее помощи или понимания.

В апреле в Варшаву приехал Людвик Янович. Пани Марья его знает, он долгое время гостил в Женеве, знакомясь с западноевропейским социализмом. Необычайно вдумчивый и скромный человек... Янович хотел создать студенческий кружок для подготовки интеллигентских кадров для «Пролетариата». «Странная картина, пани Марья,— хрипло сказал Дембский.— Рабочих в партии хватает, а руководить некому. Как тяжело без Варыньского, вы не представляете!»

Пани Марья представляла.

— Об исполнении приговора партии над Гельшером вы знаете? — спросил Дембский.

— Да, нас информировали. «Пшедсвит» поместил воззвание партии об этом деле и полностью с ним солидаризовался,— кивнула Марья.

— Я его печатал. Полторы тысячи экземпляров,— сказал он, отворачиваясь, с какой-то болезненной гордостью.

Убийство провокатора из Згежа произошло в начале июня, уже четырнадцатого была выпущена листовка, сообщающая об исполнении приговора. «Осуществил акцию молоденький рабочий, активист партии, сработал очень

чисто»,— сказал Дембский. Куницкий пришел в экстаз, он вообще очень легко возбуждается. Первый удачный террористический акт партии! И притом — никто не арестован! Собрались в отдельном кабинете ресторана Беджицкой, заказали вина — для конспирации изображали компанию «золотой молодежи», их уже хорошо знали в этом ресторане; за столом сидели Куницкий, Пацановский, Кон, Славиньский... Когда пришел Дембский с листовками, постановили этим же вечером разнести их по Варшаве, расклеить, рассовать в почтовые ящики. Куницкий настаивал на том, чтобы развить успех, досадовал, что у «Боевой дружины» никак не получаются опыты с панкластитом...

— У «Боевой дружины»? — переспросила Янковская.

— Это строго конспиративная группа, созданная Черным специально для террористических актов,— объяснил Дембский.— Около десятка человек, почти все они еще на свободе и готовят новую акцию. Я не могу сказать — какую...

Пани Марья понимающе кивнула: мол, с правилами конспирации она знакома. Дембский начал рассказывать о прошлых планах «Боевой дружины», связанных с панкластитом — взрывчатым веществом Кибальчича; рецепт панкластита привез из Петербурга Дембский. Студент химик Людвик Ставиский, член партии и «Боевой дружины», несколько недель пытался изготовить взрывчатку. Провели много испытаний за городом — безуспешно! Это сильно нервировало Куницкого, поскольку он уже разработал блестящий план взрыва здания Окружного суда с целью уничтожения документов следствия и убийства вице-прокурора Янкулио и подполковника Секеринского, одного из следователей по делу «Пролетариата».

— Я смотрю, Станислав действительно тесно связался с «Народной волей»,— заметила Янковская.— У него сплошь народовольческие приемы.

— Формально связей почти нет. Вы знаете — что теперь с «Народной волей»,— Дембский не понял легкой насмешки.— Но фактически — да. Мы с ним оба — закоренелые народовольцы.

— Но как же пропаганда среди рабочих? Варыньский ставил ее...

— Варыньский в Цитадели! — довольно неучтиво перебил ее Олек. Видно, этот вопрос был больным.— Рабочие кружки разгромлены, их может сплотить лишь несколько заметных акций партии.

Однако после убийства Гельшера партию преследовал какой-то рок. Все планы рушились, стала заметна слежка. Квартира Бардовского, где постоянно собирался Центральный комитет, была взята под наблюдение. Сам Петр Васильевич это почувствовал: по улице прохаживались филеры, странно вела себя служанка Марьяна Микель. А ведь у Бардовского не только собирались, там хранился архив, казна партии, там набирали листовки, чтобы потом отнести набор в типографию...

В самом начале июля Бардовский подыскал новую квартиру на Закрочимской и переехал туда, предварительно уволив служанку. Члены ЦК помогали паковать книги и архив партии. Сами удивились: накопилась тьма бумаг — статьи, документы, бланки, шифры, адреса... «Там остался мой шифрованный список адресов членов партии из разных мест Королевства...— вздохнул Дембский.— Теперь он у них в лапах».— «Вы думаете — расшифруют?» — Олек вздохнул еще горестней.

Десятого июля Куницкий, как всегда, явился к Бардовскому на обед. Петр Васильевич был хлебосолом, постоянно подкармливал бедных революционеров. «Меня там не было только потому, что я в Питер уехал»,— сказал Дембский. И тут нагрянули жандармы. Куницкий пытался выдать себя за австрийского подданного Драголюба Джюрица, показывал паспорт — но куда там! Он уже был

слишком хорошо известен, а через несколько минут из соседней комнаты начали выносить архив партии, листовки, номера «Пролетариата». Тогда Станислав попытался выгородить хозяина, заявив, что архив принадлежит лично ему, Джюрицу, а здесь хранится благодаря любезности господина Бардовского, который не ведает о содержимом картонных коробок... Стали рыться и нашли писанное рукою Бардовского «Воззвание к военным», которое не успело выйти отдельной листовкой. Ну и...— Дембский руками развел.

Да, еще забыл! В разгар обыска явилась Зофья Дзянковская, которая за день до того приехала из Киева, чтобы помочь партии, Куницкий ее вызвал. «Это, кажется, сестра Флинины Пласковицкой?» — вспомнила пани Марья. «Именно так. И ее забрали...»

— Я получил телеграмму от друзей: «Милковский тяжело заболел, не ходите к нему, ибо болезнь заразна». Милковский — это псевдоним Петра Васильевича,— сказал Дембский.

И пани Марья продолжала слушать его рассказ, в котором странно контрастировали ровное, почти бесстрастное, чуть ли не равнодушно-усталое изложение с чудовищным, апокалипсическим содержанием. Партия агонизировала. В течение одного дня кроме Куницкого и Бардовского были арестованы Пацановский, Поплавский и другие. Кона взяли еще раньше. Легче перечислить тех, кто остался: Марья Богушевич со своею группой «Красного Креста», «Боевая дружина» и Бронислав Славиньский. Янович в это время, как и Дембский, был в отъезде: отправился к родителям в Шавли за своею долей наследства, которую обещал отдать на партийные нужды.

— Благодарение богу, что мы получили деньги Яновича! — воскликнул Дембский, на мгновенье оживая.— С их помощью мы со Славиньским уехали из Варшавы. А сам Янович...

С Людвиком Яновичем было худо. Мало того, что его арестовали,— дело дошло до вооруженного сопротивления. А это пахнет виселицей. Неизвестно еще — остался ли жить тот шпик, которого ранил Людвик... Дембский видел своими глазами, поскольку присутствовал при аресте.— «Присутствовали?» — удивленно вскинула брови Марья. «Ну, в общем, убежал...» — смутился он, и Марья поняла, что он стыдится бегства — ведь Янович остался в руках жандармов.

Это произошло в молочной Ханнеберга на Новом Святе. Пани знает это место? Янович, Дембский и Славиньский сидели за столиком, обсуждая — что делать в создавшемся положении. Янович на свой страх и риск решил предпринять террористический акт. «Янович?! — изумилась Марья.— Он мухи не обидит!» — «Вот именно,— спокойно кивнул Дембский.— Однако купил револьвер и готовился стрелять в Секеринского и Янкулио. Пришлось выстрелить раньше...» Короче говоря, к Ханнебергу зашел ротмистр полиции, рядом с ним — филер. Последний указал кивком на их столик. Ротмистр приблизился и заявил, что все трое арестованы. «За что?» — спросил Олек. «В циркуле разберемся».— «Ну, это мы еще посмотрим!» — вскричал вдруг Янович, вскакивая, выхватил револьвер и выстрелил, попав в шпика. Завязалась драка, во время которой Дембскому и Славиньскому удалось бежать, Янович же был задержан ротмистром, шпиком и подоспевшими доброхотами. Когда его вели в участок по Новому Святу, он кричал: «Меня арестовали за то, что я боролся за свободу, за пролетариат!»

— Кто-нибудь попытался его спасти? — холодно промолвила Янковская.

Дембский опять отвернулся.

Помолчали. О чем тут говорить? А все началось со случайного нелепого провала Варыньского! Уже почти год, как он в тюрьме.

— Не было ли каких весточек от Людвика? — спросила она.

— Как же! Есть письмо,— встрепенулся Дембский.

— Что же вы молчите! — рассердилась она, резко поднимаясь с кресла и отходя к бюро, где в верхнем ящике лежала коробка папирос. С некоторых пор Марья стала курить.

Она зажгла длинную папироску, затянулась.

— Где письмо? — спросила она.

— Вот здесь,— Дембский постучал себя пальцем по лбу.

— Почему? — удивилась она.

— Пани разве не слышала, каково нам было последний месяц? Любая подозрительная бумажка могла сгубить человека. Варыньский и Янечка прислали письма Бардовскому и его жене Наталье Поль, чтобы те передали их Куницкому и мне. Это первая весточка из Цитадели. Я заучил письмо Людвика наизусть, так надежнее, тем более что в нем содержится одно поручение...— он замялся.

— Могу ли я знать содержание письма? — спросила она.

— Конечно, я бы попросил пани даже записать его на бумаге, ибо теперь это не опасно.

Дембский подождал, пока Марья приготовила бумагу и карандаш, прикрыл ладонью глаза, секунду помедлил и начал читать наизусть текст тем же ровным глуховатым голосом. Марья записывала.

«Мои дорогие! Наконец Янке разрешили свидания с родными, и появилась возможность рассказать вам о нашем житье. Сделаю это со временем, когда между вами и нами установятся сношения. Теперь же о том, что больше всего лежит на душе. Самой высшей для нас наградой и самым большим удовлетворением служит уверенность, что наше дело живет, что работа не прекратилась, а все

ширится и развивается. Хорошо понимаю, какое бремя вы теперь несете на своих плечах, но и завидую вам, потому что несете вы его уверенно, мощно и счастливо! Пусть же у вас всегда будет в изобилии сил; подождем еще немного, и дело наше так твердо встанет на ноги, что ему уже ничто не сможет угрожать. Пускай это убеждение не оставляет вас, даже если придется вам занять наши места. От всего сердца желаем вам успеха! Теперь позвольте поговорить о себе. Наши дела плохи, потому что Эдмунд Плоский неважно держал себя на допросах, есть и еще слабые люди. Генрыка выдал Скшипчиньский, имена других провокаторов назову в следующем письме. А теперь моя личная просьба. Знаю, вы догадываетесь, что я люблю Яну и что она отвечает мне взаимностью. Это так. Веслава не дала мне счастья, она не для меня. Я не буду жить с нею никогда, но давши ей слово совершить венчание, каждую минуту готов его сдержать. Я хотел бы знать, желает ли она нашего бракосочетания или нет, чтобы я мог жениться на Янке? Это не только наше личное дело, ибо оба мы принадлежим делу и будем служить ему до смерти. Пишем вам все, что должны о нас знать, и хотя нам здесь не сладко, мы думаем лишь о том, как использовать наш союз для дела. Людвик».

Дембский замолчал и некоторое время сидел, не отрывая ладони от глаз, пока Марья дописывала текст. Затем он поднялся.

— Пани разрешит мне сегодня закончить рассказ? У нас еще будет время, я надеюсь.

— О да, благодарю вас, пане Ольку...— просто сказала она.

Когда он ушел, Марья перечитала письмо, желая представить себе эту неизвестную молодую Янку, которую любит Варыньский. Он стал совсем взрослым, Людвик... Ей даже трудно это представить. Мысли ее поневоле заскользили назад, она как бы спорила с незнакомой Яночкой...



ПАНИ МАРЬЯ

Неужто ревность? Пани Марья подошла к зеркалу в бронзовой оправе, взглянула на себя.

...Ах, она старая женщина, ей уже исполнилось тридцать четыре! И Станислав на восемь лет младше... В нее всегда влюблялись мальчики, что ты скажешь! Как говорят французы, женщине столько лет, сколько ее возлюбленному... N'est-ce pas? *

Тот мальчик впервые появился лет восемь назад, может быть, чуть меньше. Он в действительности был мальчиком: стройный, с серыми глазами и длинными, пушистыми ресницами. Просто прелесть. Ему тогда не было и двадцати. Владислав Избицкий однажды спросил ее в своей всегдашней шутовской манере: «Не хотите ли познакомиться с исторической личностью? Я слышал, мадам их коллекционирует?» — «Кто же?» — спросила она. «Некто Людвик Варыньский, вытуренный из института за участие в студенческих беспорядках. За это он в историю не войдет, но у него еще есть время и он азартен, как черт!» Последнее ей безусловно понравилось. Она любила азартных мужчин. Так же, как и умных женщин. Мужчина должен быть азартен, а женщина умна. И красива, конечно. Когда мужчина слишком умен, он начинает рассчитывать, а это так скучно. Рассчитывать за него должна женщина, а он должен рисковать, рисковать, рисковать!.. К сожалению, часто случается наоборот: мужчины чересчур умны, а женщины азартны, потому первые боятся вторых, а вторым скучно с первыми.

Она тогда только начинала приходить в себя после ужасов, связанных с рождением детей. Никогда не представляла, что это так тяжело, нудно, а главное — так унизительно. От тебя ровным счетом ничего не зависит, ты просто некий аппарат, вынашивающий яйцо. Как курица! Нет уж, пускай те женщины, которым это нравится, пло-

* Не правда ли? (*фр.*)

дят потомство, она же предназначена для других, более высоких целей.

Итак, появился Варыньский. Учтив, галантен, пылок до невозможности. Руку целовал, ее так жаром и обдало. Не знал, куда деть глаза — и хотелось ему смотреть на нее, и боялся себя выдать. Смех и грех! Ей тогда, помнится, как-то особенно скучно было, она играла с ним, как кошка с мышкой, а он всерьез принимал.

Поговорили с ним о Лаврове и Бакунине. Избицкий по библиотеке слонялся, отпускал свои шуточки. Варыньский был серьезен. «Я,— сказал,— нахожу справедливой мысль Михаила Александровича о необходимости бунтовать, где возможно. Достаточно,— говорит,— малой искры, чтобы вспыхнуло пламя. Коли мы это поняли и разделяем, то нам и быть этими искрами!» — «На тебя воп сколько пожарных! — рассмеялся Избицкий и тут же решил ее задеть: — Знаешь ли ты, что муж пани Янковской — крупнейший промышленник? Ты пожар устроишь, он и сгорит. И пани вместе с ним. Этого ты хочешь?» — «Нет, это было бы несчастьем! — он вспыхнул.— Я сочувствую пани, ей нелегко нести свой крест, но уверен, что справедливые идеи ей дороже нарядов и драгоценностей».— «Безусловно так,— ответила она.— Но одно другому ведь не мешает? Можно быть справедливым, честным человеком, страдать за народ, но не отказывать себе в необходимом? Не ходить же мне в сарафане? Как вы считаете, панове?»

Прощаясь, она пригласила Варыньского почаще бывать у нее, но он тогда находился под гласным надзором, в Киеве показывался редко. Перед отъездом в Варшаву, уже осенью, он все же заглянул. Сказал, что скоро уезжает на родину и хочет попрощаться. «Едете раздувать пламя?» — пошутила она. Он серьезно кивнул. Вообще, он не был склонен шутливо говорить о вещах, которые его волнуют. Это свойство искренних людей. Когда же о

шутливом разговор, то тут Людвика не удержать было — веселился, как дитя!

Незадолго до того уехала Пласковицкая, работавшая у Варыньских домашней учительницей. Она тоже заходила к пани Марье однажды. Не понравилась. Показалась фанатичкой. Смотрела на нее весьма неприязненно, с классовой ненавистью. Что на это скажешь?! Пани Марья посвящала всю себя социальной революции, отдавала последнее, а ей, видите ли, не нравились ее бриллианты. Что же делать, коли в этом кругу иначе нельзя? Это так же нелепо было бы — появиться среди гостей Владислава в том платье, в котором к ней пришла пани Филипина, как ей ходить в платьях пани Марьи. Каждому свое, но не это же главное! Наверное, у Пласковицкой были виды на Варыньского, ревность в ней говорила! Впрочем, о покойниках либо хорошее, либо ничего. Пласковицкую сослали в отдаленнейшие места, там она очень скоро умерла...

Вот она и подошла к той поездке, о которой столько было слухов и сплетен! В самом начале семьдесят восьмого года, в первых числах января, Людвик явился к ней в Ходоров, в имение. Она отправилась туда с мальчиками на каникулы. Марья удивилась необычайно. Во-первых, она знала, что Варыньский в Варшаве, точнее, в Пулавах, там сельскохозяйственный институт,— но это так, между прочим, на самом же деле Людвик занят созданием рабочих кружков. Эти вести доходили через того же Избицкого, он был тесно связан с Варшавой, сам готовился туда выехать. Во-вторых, она не предполагала, что Варыньский доберется до Ходорова зимою. Тем не менее он приехал. При встрече смутился, но уже не так по-мальчишески, как два года назад. Она увидела, что работа в Варшаве пошла ему на пользу. Стал увереннее, раздался в плечах... Мужчина, одним словом. Сказал, что приехал на рождество к родителям, ибо чует его сердце, что придется переходить на нелегальное положение, тогда свидания с

родными будут затруднены. Как в воду смотрел. «Ну. а я? — спросила она.— Вы хотели заодно попрощаться и со мной?» — «Да, если пани хочет прощаться. Мне же кажется, что мы еще встретимся. Приезжайте к нам в Варшаву. Людей у нас не хватает, вы могли бы стать очень полезной...» — «Но как же семья, дети?.. Я, пожалуй, приеду, но надолго не могу...» — она несколько растерялась от его предложения.

И вдруг увидела — он дрожит от нетерпения, у него дыхание сбилось, а глаза так и прожигают ее. Тут она не ошиблась. Она умела чувствовать флюиды. «Что же это такое? — подумала.— Я же его почти не знаю. Пускай едет обратно, пускай убирается подальше, мне это совсем ни к чему...» А сама против воли смотрела на него уже ласково, а он руку целует. «Прощайте...» — «Куда же вы?» — «Я на минутку. Мне надо сейчас во Львов».— «Во Львов? Зачем же?» — «Там вот-вот начнется процесс над Эразмом Кобыляньским и другими товарищами. Я Эразма знаю по Петербургу».— «Да и я прекрасно знаю Котурницкого»,— сказала она, называя Кобыляньского по фамилии, под которой его арестовали. «Что же передать ему?» — «Зачем же передавать? Я поеду с вами»,— сказала она, не раздумывая ни секунды. Бывают такие мгновения, когда решения приходят молниеносно, помимо разума. Это самые счастливые мгновенья. Независимо от того — правильные решения или пагубные — все равно это счастье!

Она произнесла последние слова самым естественным тоном, как само собою разумеющееся, отчего они произвели еще большее впечатление на Варыньского. И тут надо отдать ему должное. Настоящий мужчина. Он не испугался, не стал ахать и охать, не стал и радоваться, а лишь взглянул на часы и спросил: «Сколько времени нужно пани, чтобы собраться?» И это все решило! Все! Игра зашла слишком далеко, отступать было поздно. «Два

часа»,— сказала она, обомлев от ужаса, ибо нужно было не только устроить дела, связанные с детьми и деньгами на поездку, но и привести в порядок туалеты, просто-напросто решить — какие из них брать... Она велела заложить карету, а сама отправилась собираться, оставив Варыньского в гостиной.

Спустя два часа они ехали в Киев и были укрыты в кибитке одним мохнатым пледом. Их трясло, они молчали. Лошади бежали резво, дорога была хорошо укатана. Их несло, как на крыльях...

Что бы ни говорили ханжи, это самые упоительные минуты в любви, когда несет, как на крыльях!

Через два дня они были во Львове, где остановились в отеле «Берлинский», назвавшись супругами Яблоновскими...

Она бывала во Львове неоднократно, но лишь в тот раз ей открылась красота и романтичность этого города. Они бродили по старым улочкам, любовались на шпили замков, на старинные гербы, и разговаривали, разговаривали... Варыньский показался ей совсем с иной стороны. Энергия и решительность в сочетании с непосредственностью и мальчишеством не мешали ему исключительно здраво рассуждать об общем деле. Она была поражена тем, что он твердо знал, чего хотел, хотя и не блистал фразами. Когда говорили о жизни, то есть о семье, о родственниках и друзьях, об отношениях между мужчинами и женщинами, перед нею был человек значительно моложе нее. Она лучше разбиралась в житейских вопросах. Но лишь только разговор касался положения рабочих или социально-революционной пропаганды, как Людвик становился старше, она со вниманием прислушивалась к нему. Ну и, безусловно, он лучше знал быт рабочих. Тут она сдавалась на милость победителя, а он, не пытаясь подшучивать, как сделал бы Избицкий, убеждал ее в том, что заниматься социальной революцией, не зная

быта работников, невозможно. Впрочем, он вовсе их не идеализировал. Однажды утром, увидев, что она надела богатый наряд, попросил мягко: «Марья, надень что-нибудь попроще. Я тебя поведу к пану Лойке».— «Кто это такой?» — «Владелец трактира. Там собираются рабочие». Она долго не могла выбрать наряда. Наконец просто пошла и купила скромное платье, в котором и отправилась в трактир. Людвик на сей раз не удержался и отпустил-таки колкость: «Если пани каждый раз будет покупать специальное платье для визитов к рабочим, то ее муж может разориться...» Она рассердилась, впрочем ненадолго. Тогда она ему все прощала.

Они ели соленое печенье и поджаренные на сковороде колбаски. В жизни она не ела ничего вкуснее! Рядом за столами сидели молодые и пожилые рабочие. Людвик прислушивался к их разговорам, потом сдвинули столы. Он представил ее народной учительницей, а сам назвался слесарем из Варшавы Яном. Спрашивал у рабочих про условия труда в Галиции, рассказывал о фабрике Лильпопа, где сам успел поработать... Рабочие слушали внимательно. Один из пожилых спросил: «Пан — шляхтич?» — «Да»,— кивнул Людвик. «Видно, Польша никогда не поднимется, если шляхтичи стали слесарями...» — «Наоборот,— живо возразил Варыньский.— Поднимется Польша, только не шляхетская, а рабочая».— «Устами пана мед пить, а мы пока пиво хлебаем»,— улыбнулся старик.

Потом Марья спросила у него, почему он представил ее народной учительницей? Он замял разговор, вид у него вдруг стал виноватый. Через три года из статьи его в «Рувности», посвященной памяти Пласковицкой, Марья узнала, что пани Филипина в то время работала народной учительницей близ Варшавы.

Посетили они и процесс Котурницкого, Франко, Павлика и других социалистов. Михал обрадовался, увидев

их с Людвиком в зале суда, но тут же улыбка сползла с его губ. Вероятно, по их виду можно было о многом догадаться, хотя Котурницкий — человек не тонкий и глуповатый, как позже выяснилось. У него было красное лицо, оно все время казалось потным. Впрочем, она не хотела вспоминать о Михале...

Нанесли они визит и Болеславу Лимановскому. Лучше было бы воздержаться от этого визита! Старый сплетник разнес потом по всей Европе, что Янковская, мол, будучи замужней женщиной и матерью двоих детей, не постеснялась остановиться с Варыньским в одном номере отеля!

Из Львова они с Варыньским разъехались в разные стороны: он вернулся в Варшаву, а она отправилась домой. По дороге в Киев у нее было время подумать — что же случилось? Она уже тогда далека была от предрассудков; не то чтобы исповедовала так называемую «свободную любовь», но придерживалась убеждения, что взрослые и истинно свободные люди вправе строить личную жизнь в зависимости от своих желаний, не обращая внимания на обывательские условности. Любовь все оправдывает, а в Марье осталось слишком много нерастраченной любви. Что же касается Варыньского... Для нее было бы оскорбительным, если бы он не увлекся ею.

Марье всегда было мало, если мужчина красив, молод, пылок и прочее. Все это могло присутствовать лишь в небольшой степени, но вот азарт и увлеченность большим делом должны быть обязательно! Иначе он неинтересен. У Варыньского то и другое прямо-таки на лице читалось.

Они не переписывались. Избицкий вскоре сообщил, что Людвик перешел на нелегальное положение. В Варшаве назревали бурные события. Летом Марья поехала в Сент-Мориц поправить свое расшатавшееся здоровье. С зимы ее беспокоили нервические припадки, она срывалась иногда до истерики.

А дальше была Женева, и роман с Мендельсоном, и многое, многое другое. Всего уж не вспомнить... Но этот эпизод с Варыньским остался навсегда, хотя ни Людвик, ни Марья больше не пытались повторить мгновенья той восхитительной сказки...

Пани Марья не заметила, как прошла мигрень. Вложила письмо Варыньского в конверт, спрятала в ящик бюро. Надо разыскать Анну Серошевскую, исполнить просьбу Варыньского. Без ее согласия он не подаст прошения на брак с Александрой.

Она еще раз поглядела в зеркало. Нет, не так уж она стара. У нее есть Станислав... и Владислав, кстати. Не говоря о сыновьях, которые, правда, называют ее на «вы», будто постороннюю даму. Владислав недавно привозил их и пообещал, что, несмотря на плохой урожай свеклы в этом году и конкуренцию американского сахара, он не уменьшит ежемесячной суммы, высылаемой Марье. Скорее бы в Париж, подумала она, берясь за колокольчик, чтобы вызвать горничную.

Постскриптум

Через год пани Марья потеряет мужа, который скоропостижно умрет от сердечного приступа. Она станет женою Мендельсона, вместе с ним будет участвовать в делах ППС, а затем отойдет от движения и займется литературной работой, в частности, будет писать мемуары и биографию выдающегося математика Софьи Ковалевской, с которой была дружна. С 1906 года они с Мендельсоном станут жить во Львове под фамилией Залеских, однако в официальном возвращении на родину им будет отказано. Ее взрослые сыновья лишь однажды посетят Львов, но встреча выйдет холодной, вымученной. Умрет пани Марья в 1909 году; сыновья не будут присутствовать на ее похоронах.

Десять месяцев, прошедших со дня провала Варыньского до момента арестования Куницкого, носили на себе отпечаток противоречивых тенденций и не могут быть охарактеризованы однозначно. С одной стороны, в этот период партия сумела стать рупором польского рабочего класса, выпустив пять номеров его боевого органа «Пролетариат» и ряд других изданий; партии удалось организационно закрепить установку Людвика Варыньского на союз с русским революционным движением и создать свой орган «Валька кляс» в эмиграции. С другой стороны, «Пролетариат» все больше становился партией заговорщиков-бланкистов с четкой направленностью на террористическую деятельность, ранее лишь декларируемую...

Польский исследователь истории «Пролетариата» Леон Баумгартен пишет:

«...Между двумя партиями был заключен «Конфиденциальный договор», который подробно очерчивал отношения между «Народной волей» и «Пролетариатом». Вот важнейшие пункты этого договора:

Обе партии устанавливают взаимное представительство: Центрального комитета в Исполнительном комитете и наоборот, то есть один из членов ЦК представляет в «Пролетариате» интересы русской партии, а один из членов ИК представляет в «Народной воле» интересы «Пролетариата»... Однако эти представители имеют лишь право совещательного голоса.

ЦК и ИК делают все возможное, чтобы группы одной партии, действующие на местах деятельности другой партии, завязывали между собою контакты и помогали друг другу в работе. Какая из этих групп в данной местности является основной, определяется консультациями ЦК и ИК.

ЦК может осуществлять террористические акты на представителей государственной власти от генерал-губер-

патора и выше только с согласия ИК. Из этого вытекает, что в отношении низших представителей власти ЦК сохранял полную свободу деятельности...

Между тем в Варшаве прошла новая волна массовых арестов...

Положение рабочего класса в Королевстве было в тот момент необычайно тяжелым. В связи с промышленным кризисом 1883—84 гг. произвол и притеснения фабрикантов не знали границ.

В этой ситуации лидеры партии видели единственный выход в терроре, который намеревались проводить против предателей и фабричной администрации, чтобы поднять дух рабочих.

Представителем ЦК в лодзинской и згежской организациях был в тот период Станислав Пацановский, «Михалек», который часто наезжал в Згеж и Лодзь, привозил литературу и инструкции партийного руководства. Згежская организация решила любой ценой привести в исполнение смертный приговор над предателем Сиремским. В условиях небольшого местечка, где все знают всех, возможность слежки и раскрытия предателем организации была больше, чем в другом месте.

26 марта, когда Юзеф Сиремский вечером шел по улице, на него внезапно напали двое. Один из них выхватил кинжал и нанес предателю удар сзади, после чего оба бросились бежать. Это удалось лишь одному. Второго задержала толпа, сбежавшаяся на крик Сиремского. Рана предателя оказалась легкой...

Между тем, в самый разгар облав и арестов, из Парижа возвратился Куницкий... Перед партией стояли три важнейших задачи: надлежало возобновить издание партийного органа, который был бы неопровержимым доказательством существования партии и помогал в развитии широкой пропаганды среди рабочих; другим важным делом было воспитание новых кадров агитаторов в интелли-

гентских кружках; требовалось также начать энергичную борьбу с провокацией и доносительством, которые вкрались в ряды партии и рабочего класса, и тем самым пресечь настроения паники, поднять дух рабочих, угнетенных неудачами, сотрясающими партию с сентября 1883 года.

Куницкому пришлось практически в одиночку взвалить на свои плечи тяжкое бремя забот о выведении партии из трудного положения. Это его не пугало, напротив, его вера в себя возросла. Единственным человеком, который мог помочь Куницкому, был Петр Бардовский, наиболее опытный из оставшейся горстки революционеров, вызывающий их расположение своею неизменной добротой и высокой культурой. С момента возвращения Куницкого из Парижа квартира мирового судьи превратилась в главную конспиративную квартиру ЦК партии. Куницкий и Дембский перенесли туда значительное количество нелегальной литературы, там помещался секретариат и архив партии. Квартира Бардовского служила местом встреч главных предводителей партии и переговоров с прибывающими и местными деятелями «Народной воли». Оптимизм, самоуверенность и беззаботность Куницкого передались Бардовскому. Под влиянием Куницкого он поверил, что ему, заметному чиновнику царской администрации, не грозят подозрения со стороны властей и слежка. Он почти не протестовал, когда Куницкий без разрешения приносил к нему пачки изданий, а потом и шрифт, из которого начали набирать номер 5 «Пролетариата». Куницкому приходила на помощь Наталья Поль, которая всегда становилась на сторону «пламенных юношей», безгранично преданных делу революции и жестоко преследуемых властями. В конце концов квартира Бардовского была настолько заполнена нелегальными изданиями и шрифтом, что они нередко лежали попросту на столе, креслах и даже на подоконнике. Бардовский с этим примирился...

Никто из бывавших у Бардовских, даже осторожный Дембский, не подозревал, что тайная полиция напала на их след еще до приезда Куницкого из Парижа. Это произошло благодаря шпику Гусарскому, который продолжал свою доносительскую деятельность, проникнув в глубь Варшавской организации, а также агенту жандармерии Эдмунду Барановскому, жившему вместе с членом «Боевой дружины» Людвиком Стависким. Наличие в «Боевой дружине» с первой минуты ее деятельности такого ловкого провокатора, как Барановский, парализовало ее деятельность. Акции «Дружины» с самого начала направлялись следственными органами, в особенности подполковником Черкасовым и майором Секеринским. Провокатор выдвинул проект целого ряда бомбовых покушений на представителей царской администрации, в том числе следствия и прокуратуры: майора Секеринского и вице-прокурора Янкулио. Подготовка бомбовых покушений имела целью подвести вождей партии в будущем под смертные приговоры суда, при том что Черкасов и Секеринский ничем не рисковали...

Арестование в квартире Бардовского архива и секретариата партии стало последним ударом. В руки жандармов попала корреспонденция и тайные записи с адресами... Среди деятелей, заключенных в X павильон, оказались слабые, незакаленные люди, которые сломались под жандармским прессом и дали обширные показания...»

Глава девятнадцатая. МИХАЛЕК

Сентябрь 1884 года

«...Пан разрешит, если сегодняшний наш разговор будет непротокольным? От слов своих я не откажусь, не подумайте. Решенное решено, но я спросил себя: а что если,

Станислав, пан подполковник сначала узнает о твоих мотивах? Ведь они есть у тебя? Есть же и у тебя уважительные причины, не менее веские, чем у твоих бывших товарищей? Пан подполковник спросит: зачем мне это нужно?.. А для уважения, пшепрашам. К предательству, как известно, все относятся одинаково скверно: и преследуемые, и преследователи. Меня непременно заклеймят в предательстве. А что если здесь не предательство?

Я сказал себе: Станислав, ты должен сохранить свою честь. Но как? Мотивы — они не для протоколов, мотивы составляют предмет исследования господ литераторов. О, какой роман мог бы написать с меня пан Крашевский или пани Ожешкова! Мне же важно изложить суть пану подполковнику как дворянину и офицеру. Без протокола. Мне важно, чтобы пан подполковник меня уважал, когда я буду давать протокольные показания. А я их буду давать.

С чего же мне начать?.. Если у пана подполковника есть время, то я позволю себе начать издалека, с той поры, когда Станислав Пацановский еще не был революционером. Но он уже был поэтом. В сущности, это одно и то же, тут исток, из которого проистекают мотивы.

Итак, возьмем этого четырнадцатилетнего поэта, сына состоятельного сахарозаводчика, и посмотрим его на просвет. Что у тебя внутри, мальчик? Почему у тебя польское имя Станислав — для других и лишь дома тебя называют Моня? Зачем ты пишешь стихи?.. Ведь твоя судьба предначертана еще с пеленок: «Посмотрите на нашего Моню! Его отец может быть спокоен за него. Есть кому передать дело...» А что хотелось Моне? Моне хотелось взорвать дом с сахарным заводом в придачу. Моня уже выбрал себе псевдоним Яцек Бас, потому что хотел стать поэтом, носить усы и разговаривать басом. Поэты — странный народец. Их никогда не устраивает та жизнь,

что вокруг; они непременно выдумают себе иную и станут носиться с нею, как с писаной торбой...

Сегодня Пацановский отрекается не просто от своих бывших товарищей и дел — берите выше, пан подполковник. Сегодня он отрекается от Яцека Баса.

...По ночам ко мне в камеру приходит человек. Он несколько одутловат, у него простое бесхитростное лицо. Боюсь, он даже глуп. На нем котелок, а галстук завязан с неумелым шиком, принятым в рабочих предместьях. Я знаю, что он отец многочисленного семейства. Он останавливается у моей железной кровати и глядит мне в глаза. Иногда я слышу его жалкий шепот: «Михалек, Михалек...» Потом он приподымает котелок, и я вижу в его голове над правым ухом дыру, из которой стекает засохшая струйка крови...

Пан подполковник не понимает, кто приходит по ночам в запертую наглухо камеру узника Десятого павильона?

Это ткач Францишек Гельшер.

Дайте мне собраться с мыслями... Я не хочу упустить ничего. Бог, если он есть, будет свидетелем: я не скрою ни песчинки правды, как бы ужасна она ни была; я не стану себя обелять и возводить напраслину на сообщников. Я хочу быть объективным. Бог меня уже покарал, прислав мне тень убитого. Ваш суд не сможет назначить мне большей кары.

Итак, я начну с двух неудачных покушений на Сиремского. Пан подполковник знает, о чем я говорю. Шмауса вы арестовали на месте преступления, затем пришел черед Бугайского и Томашевского. Приговор на Сиремского остался неисполненным.

Вероятно, это сильно задело Куницкого. Он был раздосадован. Могущественный «Пролетариат» не может покарать предателя! Речь ведь идет не о генерал-губернаторе, которого охраняет стража на Замковой площади, не

так ли? Обыкновенный рабочий из Згежа, почему бы его не устранить, ежели он запятнал себя доносительством? Но — не выходит! И в Згеж едут агенты Центрального комитета. Одним из них был я, другим — Антоний Поплавский, представитель «Пролетариата» в Лодзи. Пан подполковник спросит, кто был руководителем, и я отвечу честно: Станислав Пацановский по кличке Михалек. Он был облечен личными полномочиями Куницкого.

Я имел задание организовать третье покушение на Сиремского. И я поручил это дело Францишеку Гельшеру, руководителю згежской организации. Он дал свое согласие, и мы уехали.

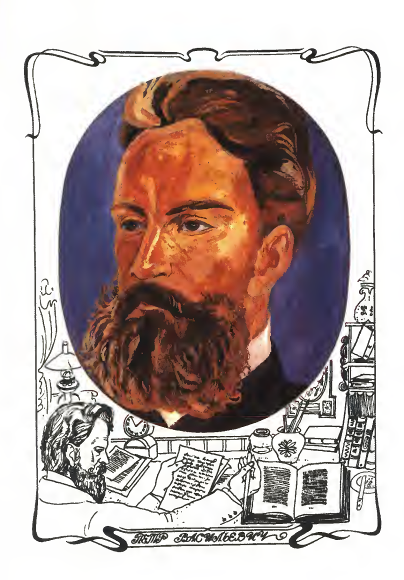
Прошло время, и из Лодзи в Варшаву донеслась весть, что Гельшер медлит. Он уверяет организацию, что якобы следит за Сиремским и выбирает удобный момент, однако дело не движется. Более того, его видели с Сиремским в трактире, где оба мирно выпивали. Известие это привез в Лодзь Ян Петрусиньский, молоденький рабочий, активист партии, возмущенный поведением Гельшера. Пан подполковник, я полагаю, будет иметь возможность переговорить с Петрусиньским лично и увидит тогда, что это почти ребенок с нежным личиком, доверчивый и наивный. Ему не было тогда и девятнадцати. Он поделился с Поплавским своими сомнениями, а тот информировал Варшаву, то есть Куницкого.

И снова те же агенты ЦК удаляются в Згеж. Собрание згежского актива произошло на квартире у Гельшера. Кроме нас с Поплавским присутствовали рабочие Петрусиньский и Блох. Франциппек вздыхал, мялся. «Михалек, кажется, мне не доверяет? Клянусь богом, я делал попытки, но пока неудачно. Вы же сами видите, дело опасное, мы уже потеряли трех товарищей...» Петрусиньский сжигал его взглядом. Гельшер попросил у меня четыре рубля пятьдесят копеек, сказав, что купил кинжал для исполнения приговора. Я выдал деньги из средств пар-

тип. Мы с Поплавским переночевали у Гельшера и наутро уехали, считая, что цель достигнута. Но спустя несколько дней разразился скандал. На собрании кружка Петрусиньский публично обвинил Гельшера в том, что тот выудил партийные деньги, а обещания не исполнил. Мы с Поплавским вернулись в Згеж. На этот раз остановились у Блоха. Я вызвал Гельшера и припугнул его...

Пан подполковник не охотник, нет?.. Я к тому, что будет легче понять. О, Пацановский никогда не был охотником, но у него поэтическое воображение. Поэтам знание дается свыше. Я могу легко вообразить себе охотничий азарт, эту дрожь убийства, которая возникает, когда гонят зверя и вот-вот прольется кровь.

До Черного доходят известия из Згежа, и он призывает к себе Михалека, чтобы решить вопрос. Черный возбужден, он выкрикивает слова: «Предатель! Карать! Никто не должен уйти от возмездия!» Михалек подливает масла в огонь, он чуточку побаивается своего патрона и тоже убежден, что кровь должна быть пролита. Дело требует крови — и уже неважно чьей. Против Францишека Гельшера неоспоримая улика: преступное промедление с исполнением приговора над Сиремским. Никто не замечает смягчающих обстоятельств. Действительно, почему бы не предположить, что Гельшер не решается убить человека, тем более что тот, как выясняется, не слишком похож на закоренелого предателя? В самом деле, с сентября восемьдесят третьего, вот уже восемь месяцев, в Згеже не произошло ни единого ареста, не считая покушавшихся на самого Сиремского, при том что последний прекрасно знает всех членов организации. Может быть, он выдал случайно? Может быть, напуган и раскаялся? Но и это никого не интересует. Правда, Сиремский отодвигается на второй план. О нем временно забывают, ибо есть более свежее предательство Гельшера. Вдобавок в Варшаве появляется некто Цесельский, перепуганный


ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

рабочий, сбежавший из Згежа, и он вторит Михалеку: Гельшер — предатель, никакого сомнения быть не может!

Это было каплей, переполнившей чашу. Дело происходило на квартире Бардовского. Куницкий вскочил, бросился к бюро и тут же на листке бумаги написал смертный приговор Гельшеру. Он притиснул свою подпись печатью партии, находившейся здесь же, в ящике бюро, и протянул мне листок со словами: «Займитесь этим делом. Промедление недопустимо!» Я взглянул на листок и попросил разрешения исправить орфографические ошибки. У товарища Черного нелады с польской грамматикой. «Конечно, о чем речь... Надо показать рабочему силу партии. Тем более что я намереваюсь в будущем перенести центр нашей работы в Лодзь и Згеж, ибо в Варшаве стало небезопасно. Надо заранее отбить охоту у доносителей наушничать полиции. Отправляйтесь туда немедленно!»

Он удалился в другую комнату и вернулся уже с револьвером, кинжалом и маленькой баночкой с какой-то жидкостью. «Это опий. Выбирайте орудие возмездия сообразно обстоятельствам. Желаю удачи!»

Представьте себе, пан подполковник, небольшую квартиру, которую снимает семья рабочего ткача. Вечер. На круглом столе под абажуром стоит керосиновая лампа, а вокруг стола сидят молодые и немолодые люди в сюртуках и при галстуках. Один из них — худой, с острым кадыком и головою, слегка откинутой назад, читает смертный приговор. Пламя керосиновой лампы колеблет тени. В комнате мертвая тишина. На столе лежат револьвер, кинжал и баночка с ядом. Не правда ли, картина слишком нарочита и безвкусна, пан подполковник? Я сказал бы так, если бы сам не был участником того собрания.

Собрание единогласно утвердило приговор. Я опрашивал поименно: «Ян Гельшер, считаете ли вы приговор

Центрального комитета партии справедливым и заслуживающим исполнения?» — «Да».

Родной брат Франтишека Гельшера согласился с приговором! Вот до чего доводит жажда крови! И я, совсем как в плохой трагедии, поручил ему исполнить приговор. Тогда мне казалось, что в этом будет некая шекспировская мощь и красота: брат убивает брата за идею! Да что там Шекспир, пан подполковник! Тут библией пахнет. Только не Каин убивает Авеля, а наоборот. Наверняка у меня в голове крутились подобные бесовские мысли — я наверное не помню, ибо тоже был возбужден... Кровь горячит, пан подполковник.

Но Ян после раздумья тяжело покачал головой. «Я не смогу». Библейский план рухнул. Тогда я обратил свой взор к невинному агнцу — Яну Петрусиньскому. «Партия поручает вам исполнить приговор смерти над Франтишеком Гельшером!» Он побледнел, потом стал пунцовым: «Нет-нет, только не меня!» — «Вы не согласны с приговором?» — «Согласен».— «Тогда почему же?» — «У меня не получится. Я никогда... ни разу...» — «А вы подумайте о своих товарищах, которые могут погибнуть в тюрьме, выданные предателем! Подумайте об их детях и женах! Вам помогут исполнить дело. Если хорошо подготовиться, все пройдет как по маслу».— «Кто мне поможет?» — выдавил из себя Петрусиньский. «Я»,— ответил молчавший до сих пор Блох.

Мне кажется, пан подполковник, что и Ян Гельшер, и Ян Петрусиньский перепугались. Они не думали, что дело зайдет так далеко, хотя юный Петрусиньский с его максимализмом давно выражал свое недоверие Франтишеку. Но одно дело подозревать, обвинять и даже ненавидеть, и совсем другое — убить. Я понял, что Петрусиньского можно сломать. «Я не думаю, что вы боитесь, что вы просто-напросто трусите...— начал я, выдержав паузу.— Мы все гуманисты, для нас человеческая жизнь свя-

та, но выше всего партийные принципы и общее дело, не так ли?» — «Так»,— покорно кивнул он. «Никто не принуждает нас отдавать свои силы и самую жизнь революционной борьбе, но если мы вступили на этот путь добровольно, то должны быть верны идее. Пусть нас будет меньше, но пусть среди нас не будет предателей! Вы готовы исполнить свой революционный долг?» — «Готов!» — он вскинул голову, глаза его блеснули решимостью. Теофиль Блох сидел угрюмый, мне показалось, что у него со старшим Гельшером какие-то личные счеты.

Мы избрали следующий план: Блох попытается заманить Гельшера на прогулку в городской сад, а там угостит папиросами, пропитанными опием. Когда Гельшеру станет дурно, они присядут на скамейку, потом Блох отлучится, и тут должен действовать Петрусиньский с револьвером. Я собственноручно замочил в опии несколько папирос, высушил их и сложил в портсигар Блоха. Помню, мы даже шутили при этом, подсчитывая, сколько папирос понадобится Гельшеру, чтобы одуреть. Я для вящего эффекта вызвался испробовать действие яда на себе, но меня отговорили. Совершив приготовления, мы с Поплавским снова уехали в Лодзь дожидаться известия о покушении.

Однако минуло две недели, а в Згеже было тихо. Я волновался. В Варшаве ждал исполнения приговора Куницкий. Тогда я выслал в Згеж Поплавского, чтобы он поторопил товарищей.

Я не находил себе места. А что, если заговор раскрылся? Мне очень хотелось заслужить похвалу Куницкого, и от одной мысли, что я могу не исполнить поручения, меня кидало в дрожь.

Поплавский вернулся через день. Он выглядел так, будто накурился опиумных папирос, которые мы приготовили Гельшеру. Поплавский лег на кровать лицом к стене и несколько часов молчал. Потом он рассказал мне все.

Шестого июня около десяти часов вечера Францишек Гельшер и Теофиль Блох отправились погулять в городской парк. Блох вел Гельшера к условленному месту, где за кустами ждал их Петрусиньский с револьвером. Блох с Гельшером уселись на лавку. Петрусиньский наблюдал за ними из-за кустов. Блох щелкнул портсигаром и дал Гельшеру огня. Тот затянулся. Через минуту у него закружилась голова, он откинулся на лавке... «Какие-то странные папиросы»,— пробормотал он. «Пойду куплю других»,— отвечал Блох и пошел в трактир. Петрусиньский осторожно снял с себя башмаки, чтобы не наделать лишнего шума, и так — с башмаками в одной руке и пистолетом в другой — стал подкрадываться к Гельшеру сзади. Когда он был на расстоянии двух шагов, Гельшер поднял голову и обернулся. Глаза его были затуманены опием. «Ян...» — сказал он с трудом. Петрусиньский поднял пистолет и выстрелил ему в висок. После этого бросился бежать. Скрывшись снова за кустами, он лихорадочно надел ботинки и выскочил на аллею, по которой уже бежали люди, привлеченные звуком выстрела. Смешавшись с ними, он добежал до лавки, где в той же позе, склонив голову набок, сидел Францишек Гельшер. Из головы лилась кровь. «Что случилось? Кто стрелял? Ловите убийцу!» — раздавались возгласы в толпе. Петрусиньский восклицал тоже. Послали за лекарем. Вскоре Гельшера перенесли домой, а Петрусиньский отправился в трактир, где ждал его Блох.

На следующий день оба были арестованы. Но улик никаких не имелось, исключая подозрения жены Гельшера, которой якобы за несколько дней до покушения муж рассказал о том, что его хотят убить, и назвал их фамилии. Блоха и Петрусиньского отпустили. Впрочем, об этом пан подполковник знает.

Антоний Поплавский рассказал мне это в Лодзи во время грозы, когда молнии вспыхивали в дыме фабричных

труб и грязные потоки воды катились по булыжным мостовым. Мне было страшно.

Вы спросите меня: знали ли мы тогда, что убили невинного человека? И я отвечу: знали... О, мы старательно гнали от себя эту мысль, опровергали ее железной необходимостью для партии с честью выйти из создавшегося положения, но... мы знали, пан подполковник. Мы приносили жертву на алтарь возмездия, мы запугивали этим остальных. Мы, так сказать, убивали впрок, чтобы другим было неповадно. Не знаю, может быть, Петрусиньский, благодаря своей наивности, искренне верил в правоту этого дела. Но я уже тогда знал, что правоты нет. На чем же держалось мое участие? В чем черпал я силы, чтобы доиграть роль до конца?

В теории сильной партийной личности, я бы так сказал. Я сам это придумал, вы не найдете такой теории ни в одной нелегальной книжке. Я стал размышлять над нею в последний период деятельности «Пролетариата» во многом благодаря Куницкому.

Людвик Варыньский, насколько я его себе представляю, не был сильной партийной личностью в моем понимании этого слова. Он был хорош, вероятно, для своего времени, когда партия строилась на широких демократических началах. Мне рассказывали такой эпизод, пан подполковник. Варыньский любил приглашать молодых рабочих, новых членов организации, в ресторан Беджицкой, где обычно проходили собрания руководства партии. И там он настоятельно требовал, чтобы рабочие называли его на «ты», а также обращались на «ты» к другим членам ЦК — Дулембе, Дембскому, Ентыс. Это было нечто вроде шутливой игры, за нарушение требования полагался штраф в гривенник. Очень мило, не правда ли? Последствия этого демократизма партия испытала уже осенью прошлого года, когда рабочие кружки затрещали по швам,

расшатываемые болтунами, предателями и провокаторами.

Я вступил в «Пролетариат» после ареста Варыньского. Я надеюсь, пан подполковник уже убедился в том, что я не похож на наивного мальчика, смущенного радикальными идеями. Да, я поэт, но я и мыслитель. Молодой товарищ Михалек, агент ЦК второй ступени, не был пассивным исполнителем чужой воли. Со стороны могло показаться, что мы все были разными. Я был более других обеспокоен мыслью о создании могущественной конспиративной партии. Я понимал, что в борьбе с вами, пан подполковник, наши шансы практически равны нулю, коль скоро мы пойдем стенка на стенку. Ваше преимущество не только в численности, но и в организованности, какой мы никогда не достигнем в условиях конспирации. Но в борьбе отдельных личностей или малых групп наши акции повышаются, ибо партия может располагать небольшим ядром, ничем не уступающим высшим чинам государства: министрам, генералам и даже, пшепрашам, начальнику отдельного корпуса жандармов. Я не настолько бестактен, чтобы напоминать пану подполковнику об Исполнительном комитете. Постепенно я пришел к мысли, что в партии необходима еще одна партия, малочисленная и почти никак с первой не связанная. Это руководящее ядро должен возглавлять своего рода диктатор — умный, волевой, внушающий страх человек... О, пан подполковник проницателен! Конечно, я сам мечтал об этой роли, но не сразу, клянусь честью, далеко не сразу. Пока же я работал на Куницкого, который по своему темпераменту более всего подходил на эту роль. В тот момент, о котором я рассказывал, вождю совершенно необходимо было удавшееся покушение. Два провала при попытке покарать Серемского пошатнули его авторитет. И я уже не думал — виновен или не виновен Гельшер. Я знал, что выбор пал на него и он должен быть убит.

Все было бы прекрасно, если бы... Если бы по ночам мне не стал являться печальный человек с дыркой в голове!

Я спросил себя: Станислав, чего он хочет? Сможешь ли ты договориться с ним, чтобы он больше не приходил? Я попытался с ним договориться, но он лишь бормотал: «Пан Михалек...», не желая внимать моим доводам. Я надеюсь, что сегодня он оставит меня в покое. Ну, не сегодня, так завтра, послезавтра, когда я подпишу все протоколы и выдержу очные ставки со всеми сообщниками. Я отважу его от себя!

Но что, если и этого будет мало?

Только, пожалуйста, я вас очень прошу, не пишите: «Учитывая чистосердечное раскаяние и желание помочь следствию...» Не надо этого писать! Я смиренно выслушаю любой приговор и не подам апелляцию, клянусь вам. Я здесь не затем, чтобы снять с себя несколько лет каторги. Мне нужно договориться с Францишеком Гельшером, больше ни с кем.

У меня будет к пану подполковнику одна просьба. Я прошу не устраивать мне очной ставки с Петрусиньским. Я не хочу второй тени, когда вы его повесите. Не хочу. Мне нечем будет от нее откупиться...»

Постскриптум

Предатель Станислав Пацановский по приговору Варшавского окружного суда получит десять лет и восемь месяцев каторжных работ, замененных высочайшим повелением ссылкой в Степной край отдельно от товарищей по процессу.

Там имя и следы Пацановского затеряются навсегда.

Глава двадцатая.
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Январь 1885 года

Павел Иванович Белановский разложил, как пасьянс, на широком столе протоколы дознаний и несколько секунд любовался ими, подперев подбородок ладонью. Чистая работа! Ничего не скажешь. Кажется, он утер нос своим предшественникам. Именно это имел в виду генерал Брок, начальник Варшавского жандармского управления, когда назначал своего адъютанта на должность следователя по делу «Пролетариата»: «Покажите им, как надо работать, Павел Иванович!» Им — это Секеринскому и Шмакову, проводившим дознание прежде. И Павел Иванович показал.

Еще позапрошлой осенью майору Секеринскому неслыханно повезло: по собственной неосторожности попался Варыньский, а следом — его любовница из Мариинского института. Как ни был глуп Секеринский, он сразу понял, что этот нежданный улов сулит ему повышение. И он с тупым усердием, но без проблеска мысли погнал следствие, как упрямую клячу, не считаясь с бездорожьем. Ему помогал в этом товарищ прокурора Янкулио. Тоже птица невысокого полета, с нынешним товарищем министра внутренних дел Вячеславом Константиновичем Плеве не сравнить. А ведь тот совсем недавно, всего лишь шесть лет назад, в Варшаве тоже ловил Варыньского. Вот вам парадокс: Плеве Варыньского не поймал, но возвысился, а Янкулио и поимка не помогла, потому как способностями Вячеслава Константиновича не обладает. Хитер, но глуп, как ни странно. Бывают и такие сочетания.

Грубым напором Секеринский и Янкулио добились, казалось, успеха: за год переловили вожаков «Пролетариата», разгромили кружки. Но ведь нужны показания и

доказательства, каким бы подготовленным ни был суд. А что получилось? Вожаки партии во главе с Варыньским показаний не дали, кроме Плоского, да и тот попросту растерялся поначалу, наболтал лишнего, но потом стал атаковать Секеринского заявлениями, где обвинял его в шантаже и отказывался от предыдущих показаний. Лишь в апреле, через семь месяцев после ареста, признался в принадлежности к «Пролетариату» Варыньский, изложив программные требования партии. Положим, их и без него знали; печатная продукция «Пролетариата» приобщена к делу, но факт для суда появился — признание обвиняемого это не шутка. Вслед за Варыньским в том же признались Дулемба, Ентыс, Маньковский и другие. Секеринский обрадовался, хотя Павел Иванович, узнав об этом, квалифицировал правильно: никакая это не победа следствия, а простое изменение тактики Варыньским. Тот понял, что грядет суд, а значит, нужна максимальная гласность. Сейчас он признался в принадлежности к партии, а на суде постарается развить свои взгляды, как это делал уже в Кракове. Но здесь не Австро-Венгрия, милостивый государь. Еще неизвестно — будет ли суд. Государь может опять решить административно, как пять лет назад. Впрочем, после убийства Гельшера и Скшипчиньского нужно вешать, а административно это не делается. Тут суд нужен — хоть какой!..

И все же после налета на квартиру Бардовского, где находились архив и секретариат, Секеринского повысили в чине. Не смогли устоять против десятка картонных ящиков вещественных доказательств, которые выгреб из квартиры судьи майор. Чего там только не было: статьи, документы, бланки, печати... Секеринский получил и новое назначение — стал начальником жандармерии Варшавского, Новоминского и Радиминского уездов, а это автоматически освобождало его от дела «Пролетариата».

Следователем был назначен подполковник Шмаков.

Павел Иванович хорошо его знал, ибо тот состоял офицером для особых поручений при генерале Броке. Возможно, особые поручения подполковник исполнял блистательно, но дело «Пролетариата» вел из рук вон плохо. Зачем-то прикидывался сочувствующим идеям подследственных, уговаривал их признаться и дать показания, чтобы сохранить себя для будущей борьбы. Шито белыми нитками... Неудивительно, что клюнул на эту удочку лишь Пацановский — тщеславный, себялюбивый мальчишка с большими претензиями и ничтожным терпением. Его приятель Кон оказался не в пример тверже. Белановский невольно скосил глаза на левый верхний угол протокольного «пасьянса», где лежали листы дознаний Кона, полученные уже Павлом Ивановичем: «До конца жизни не отступлю от партии и, лишь только буду освобожден, начну ей помогать; на освобождение имею, конечно, мало надежд, но коли выйду на свободу, снова вступлю в кружок, ежели таковой найдется, а ежели нет — организую новый!» Это вам не Пацановский...

Шмаков вскоре был отстранен, в следствии наступила пауза, так что прокурор Окружной судебной палаты Бутовский забеспокоился: как долго будет продолжаться перерыв? В ответ на его письмо генерал Брок поручил следствие своему адъютанту, благо он уже давно в курсе следствия, благодаря регулярным докладам предшественников, и ему не составит труда вникнуть в частности... Генералу Броку хорошо было говорить: не составит труда. Попробуй разберись в запутанном хозяйстве, оставленном Секеринским и Шмаковым! Павел Иванович отличался скрупулезностью в делах, терпеть не мог беспорядка. Недели три ушло на систематизацию дел, картотеку, а далее последовала выработка стратегии следствия, ибо уличающих фактов для суда собрано было явно недостаточно. Акции партии, ее идеология и печатные материалы слишком хорошо известны, но — грубый вопрос: кому какой

срок назначить? И кого конкретно подводить под какую статью?

Признаться, у Павла Ивановича руки чесались заново «раскрутить» Варыньского, выжать из него больше, чем удалось майору. Он перечитал соответствующие протоколы, вызвал Варыньского на допрос, поговорил с ним о необязательных вещах и... поставил папку руководителя партии на место. Орешек был слишком крепок. Белановскому стало понятно — почему майор потерпел поражение. Варыньский был много умнее, это раз, а кроме того,— интеллигентнее. Увы, как ни обидно для корпуса жандармов! Белановский спросил его, зачем он солидаризуется с теми делами «Пролетариата», что происходили уже без него? Разве он не понимает, что в этот период случились наиболее криминальные вещи: удавшиеся покушения и договор с «Народной волей»? Зачем же господин Варыньский вешает на себя лишние сроки?

— А вы не задумывались, господин подполковник, почему Андрей Желябов взял на себя ответственность за дело тринадцатого марта, хотя его арестовали раньше? — спросил Варыньский, спокойно и изучающе глядя на следователя из-под очков.

Белановский на секунду смешался: что за дело тринадцатого марта? И тут же дошло: бог мой, он никак не может привыкнуть к европейскому календарю, по которому убиение государя свершилось не в первый день марта, а в несчастливый тринадцатый!

Так вот куда метит подследственный... Желябова ведь не гордыня привела к виселице, как думают многие, и не стремление разом покончить с жизнью взамен умирания на вечной каторге. Им руководило чувство справедливости и ответственности за свое дело, а это интеллигентские черты. Стало быть, господин Варыньский хочет, чтобы его ведущая роль в партии была зафиксирована в обвинительном заключении прокурора? Что ж, не будем ему

мешать... О себе он сказал все, других не выдаст, понял Белановский, глядя на усталое, но ясное лицо, обрамленное русой бородой.

Что ж, не получилось с Варыньским, надо нажать на Куницкого. Белановский предусмотрительно распорядился содержать молодого главаря в Десятом павильоне так, чтобы лишить его возможности обмениваться сведениями с другими членами партии. Строго наказал подпоручику Фурсе, начальнику Десятого павильона: «За контакты Куницкого ответите погонами!»

Павел Иванович сначала Куницкого на допрос вызвал — это было ночью; Куницкий, нахохлившись, зло смотрел на подполковника. Был он встрепан, шевелюра, как у клоуна,— двух цветов: сверху рыжая, а у корешков волос — черная. Куницкий за несколько недель до ареста перекрасился и сменил кличку с Черного на Рудый, то есть Рыжий. Глаза у Станислава были воспалены, слезились. Белановскому уже доложили, что заключенный ведет себя в камере неспокойно, часто плачет.

На том допросе Павел Иванович задал Куницкому лишь один вопрос: что ему известно об убийстве Гельшера? Куницкий нервно дернул плечом, ответил, что приговор составлял згежский Рабочий комитет, а утверждал ЦК. Сам же Куницкий к этому никакого отношения не имел, поскольку был агентом ЦК и занимался совсем другими делами. Какими, указать не желает.

Белановский подследственного отпустил. Собственно, ему необходимо было лишь взглянуть на него, не более. Осмотр подтвердил предварительное мнение: субъект нервный, запальчивый, склонный к истерике. И, кажется, не очень умен.

Далее подполковник сделал гениальный ход. Он перестал тревожить Куницкого, как бы давая тому понять, что следствие отказалось от намерений получить от него показания. А сам занялся другими, близкими Куницкому

людьми. Начал он с Теодоры Русецкой — нескладной, некрасивой, но молодящейся дамы, близкой подруги Натальи Поль — гражданской жены Бардовского. Теодора явно была напугана; она не подозревала, что ее увлечение молоденьким, темпераментным Стахом, часто бывавшим в семье Бардовских, может завести столь далеко. Она совершенно потеряла голову от этого романа — настолько, что соглашалась выполнять техническую работу в секретариате: переписывала документы, заполняла бланки, даже занималась набором. За любовь надо платить, не так ли?.. Подполковник заставил Русецкую говорить, лишь намекнув на то, что видит ее жертвой чужой злонамеренности и собственной наивности. Теодора жалко улыбнулась, ей лестно было почувствовать себя наивной гимназисткой. Павел Иванович, как уже не раз бывало в его следовательской практике, с грустью подумал о том, что себялюбие людское безгранично, а жалость к себе способна размягчить любую душу. Теодора выдавала щедро и старательно — Белановский пообещал ей свободу. Уже по первым протоколам он понял, что говорит она чистую правду, ничего не утаивает и не ведет двойной игры.

Эти протоколы он стал показывать Наталье Поль, жене Бардовского, не уставая пугать ее призраком страшного возмездия, нависшего над судьей. Русецкая показала, что Петр Васильевич, кроме того что отдал свою квартиру «Пролетариату», чему более всего способствовала его жена, уговорившая своего мягкого и доброго мужа дать приют этим «героическим юношам», сам агитировал среди русских офицеров в Модлине! Появились и фамилии с чинами: капитан-инженер Николай Люри, подпоручики Андрей Игельстром и Захарий Сокольский. С ними беседовал русский судья и брал у них пожертвования для «Народной воли» и «Пролетариата»... А это измена царю и отечеству, Наталья Михайловна, с сочувствием говорил

Белановский. Ваш муж как опытный юрист знает — чем грозит подобное деяние... Наталья Поль — грузная женщина с одутловатым лицом — глядела на подполковника глазами, полными ужаса. Она, похоже, только здесь начала сознавать, насколько крепко подвела мужа, гостеприимно распахнув дом перед «героическими мальчиками».

Белановский нажал еще — Русецкая снабжала его все новыми фактами и подробностями,— жена судьи сломалась. У нее случился нервический припадок в камере, потом другой... Это похоже было на умопомешательство, но Павел Иванович по своему многолетнему опыту знал, что это лишь временное помутнение рассудка, которое надобно использовать следствию. И он сделал это с хладнокровием и тщательностью, запротоколировав важнейшие признания Натальи Поль касательно всех контактов мужа и партийных дел. А она как-никак была кассиром партии! Через ее руки текли суммы — и немалые — из России и Королевства: пожертвования от частных лиц, известных и неизвестных, партийные взносы, личные средства членов партии, отданные на нужды «Пролетариата». Эти данные позволили Белановскому шантажировать уже широкий круг лиц. Вскоре дали показания рабочие Форминьский и Гладыш, посыльный Кмецик, сломался близкий друг Куницкого Агатон Загурский, обвиненный в том, что принимал участие в покушении на Судейкина...

И тогда Павел Иванович снова начал вызывать Куницкого, до сей поры томившегося в полной неизвестности, ибо он был лишен возможности перестукиваться и переписываться с товарищами, и начал предъявлять Куницкому протоколы дознаний.

Он делал это не спеша, обдуманно, как бы нежно затягивая петлю на шее подследственного. И Куницкий начал задыхаться, начал искать спасения. Ему показалось, что все оговаривают его, приписывают ему наиболее ужасные, с точки зрения суда, акции партии. Люди, с

которыми еще вчера он был близок, которым доверял безоговорочно — Теодора, Наталья Поль, Загурский, предали его, дали подробнейшие показания! Белановский видел, как начинает метаться Куницкий, как его разум ищет спасения...

Павел Иванович придвинул к себе стопку материалов Куницкого, ибо намеревался их перечесть, прежде чем писать отчет генералу Броку. Вот оно, это показание, писанное, несмотря на возбужденное состояние, каллиграфическим почерком с характерной круглой завитушкой, венчающей буквицу «д»,— и в этой подчеркнутой каллиграфии усматривалось любование собою, стремление к внешним эффектам. Содержание документа любопытно было Павлу Ивановичу как психологу, хотя давало немного для будущего обвинительного заключения, разве что рассказ о том, как Куницкий был обращен Дегаевым в революционную веру. Заканчивалась же исповедь откровенным актерством. Белановский улыбнулся, перечитывая эти слова: «Вся моя вина в том, что я не умел различать людей, что верил всему, что мне говорилось, принимал за чистую монету каждое слово. Теперь я себе простить не могу, что не старался глубже исследовать каждого из них и таким образом воздержать от преждевременной гибели. Это теперь легло тяжким бременем на меня, и вследствие этого я не могу себе найти места. Жизнь теперь мне в тягость, и смертная казнь была бы самым лучшим лекарством против тех нравственных мучений, жертвою которых я есть... В случае же, если мне придется остаться в живых, единственная моя просьба, это чтобы не дали засохнуть врожденным мне способностям и энергии...»

«Вот где он себя пожалел и оставил лазейку»,— холодно, профессионально подумал Павел Иванович, переворачивая последний лист показания и открывая за ним заявление Куницкого, написанное в октябре. Это и был

желанный плод, которому подполковник дал созреть и упасть в руки.

«Крайнее отчаяние, до которого доводит меня и моих родителей мое теперешнее положение, а равно мысль об ожидающей меня участи, отчаяние, которое, если дальше будет продолжаться с такою же силою, доведет их до гроба, заставило меня решиться так или иначе положить ему конец. Конец этот может наступить или с моею смертью, которая, без сомнения, для них будет сильным ударом, и не знаю, как они его перенесут, но это будет один удар, который по крайней мере в будущем не будет уже затравлять их последних дней,— или же если они будут думать, что я счастлив и живу так, как все люди. Этого я могу только достигнуть, приобретя свободу и вместе с нею свои документы, что позволило бы мне окончить свое образование и затем посвятить себя обыкновенной мирной деятельности... Поэтому, если предлагаемые мною услуги окупают настолько в глазах правительства мою предыдущую деятельность, я готов оказать их в следующей форме: пользуясь доверием в кружках как русской, так и польской эмиграции, я по первому требованию смогу получать адреса и пароли к действующим в России революционным группам и передать их указанной мне личности и таким образом ввести в организацию агента правительства, после чего обязуюсь поселиться в указанном мне государстве и городе и отнюдь не принимать никакого участия в революционном движении. В доказательство своей искренности предлагаю свою помощь имеющимися у меня сведениями в производящемся теперь дознании, каковые, тем не менее, согласен сообщить не иначе как конфиденциально и устно; на допросах же буду держать себя по-прежнему...»

Белановский вспомнил, как вызвал Куницкого на допрос четыре дня спустя и задал ему тот же вопрос о Гельшере.

Куницкий, по-видимому, ожидал чего-то другого. Может быть, торга? Но Белановский был холоден, он показывал подследственному, что авансы надо выплачивать.

— Я получил написанный приговор от одного из членов ЦК,— начал Куницкий, но подполковник перебил его:

— Пацановский утверждает, что вы один составляли в то время Центральный комитет...

— Это не так! — воскликнул Куницкий.

— Кто убил Гельшера?

— Пацановский сказал мне, что это сделал какой-то Янек...— нехотя ответил Куницкий.

— Петрусиньский?

— Не знаю...— Куницкий отвернулся.

— Вот видите, Станислав Чеславович,— мягко произнес Белановский.— Вы написали мне, что готовы доказать свою искренность в желании сотрудничать с нами. Но где же она?

— Я настаиваю на конфиденциальности. Я скажу вам лично и без протокола.

— Вы ставите меня в неловкое положение перед судом. Ваши показания без протокола не будут иметь силы, вы знаете.

— Я не желаю, чтобы сведения, сообщенные мною, фигурировали на суде,— быстро ответил Куницкий.

Белановский добродушно развел руками: о чем тогда речь...

С самого начала он прекрасно понимал игру, затеянную с ним Куницким. Поверить в то, что Черный раскаялся, предложил искренние услуги Охранному отделению? Нет, Станислав Чеславович, это шито белыми нитками. При вашем темпераменте, понятиях о чести — оказаться предателем? Наверняка хотите добиться освобождения, выехать «с поручением» Департамента за границу, а затем продолжить борьбу в революционных рядах. Тут

очевидный расчет на его, Белановского, простодушие. Но Павел Иванович был далеко не прост и, кстати, тоже имел свои понятия о чести, не позволявшие ему подражать сомнительным аферам покойного Судейкина.

Однако ситуацией следовало воспользоваться, и Белановский сделал вид, что поверил и хочет, чтобы Куницкий подтвердил свои слова делом. Поэтому он предложил ему сначала дать показания по делу «Пролетариата», а уж потом Павел Иванович отпустит его на все четыре стороны.

Куницкий клюнул на эту удочку, оговорив себе право не записывать показаний собственноручно. «Боится оставить свидетельство для историков...» — усмехнулся про себя Белановский, но пошел на это, понимая, что в дальнейшем можно будет шантажировать Куницкого и этим непротокольным признанием, а уж об освобождении его из тюрьмы не может быть и речи.

...Белановский прекрасно помнил долгую ночь в ноябре, когда он, находясь с глазу на глаз с Куницким, точно прилежный школьник, записывал за ним подробную повесть о деяниях «Пролетариата».

Это признание окончательно уверило Павла Ивановича, что он не ошибся в своих предположениях, ибо Куницкий не сообщил ему ничего нового, а рассказал лишь о фактах, известных следствию. Значит, желание служить закону было не более чем хитростью. Куницкий только подтвердил показания многих лиц, а главное, признался в составлении им смертных приговоров. Следовательно, не предательство это, Станислав Чеславович, а простая глупость. Сами же подвели себя под виселицу...

Куницкому понадобилось еще две недели, чтобы понять, что его хитрость не удалась. Его выжали, как лимон, и оставили ждать суда. Отчаянной попыткой выйти из этого положения стало письмо подполковнику, написанное одиннадцатого декабря, в котором Куницкий по-

пытался представить свои непротокольные показания желанием ввести следствие в заблуждение. Увы, Станислав Чеславович, поздно. Игра проиграна... Белановский перечитал текст этого заявления, еще раз проверил себя — не ошибся ли он в выводах? — и нашел свои доводы безукоризненными.

Тогда Павел Иванович положил перед собою чистый лист бумаги и вывел в правом углу: «Его Превосходительству Начальнику Варшавского жандармского управления, Отдельного корпуса жандармов генералу Н. П. Броку».

Следствие закончено, теперь очередь за судейскими... Он представил себе, как вытянутся лица прокурора Бутовского и его коллег, когда они увидят двенадцать пухлых томов следственных материалов, и с удовольствием потер руки. Да, много бумаги приходится изводить, чтобы искоренить революционную заразу! Шальная мысль пришла ему в голову. А что, если, паче чаяния, Варыньский, Куницкий и иже с ними не затеряются в истории, а когда-нибудь всплывут на поверхность, может статься, будут почитаемы, как ни дико это звучит?! По каким документам господа грядущие историки ознакомятся с их бесценными жизнями? «По жандармским»,— усмехнулся про себя Павел Иванович, еще раз обозревая аккуратные стопки исписанной бумаги. Выходит, он вроде летописца Пимена: в любом случае труд его не пропадет даром и не будет забыт. Впрочем, это пустые фантазии. Он знал, что дело кончится судом и исполнением приговора, а дальше путь бумагам один — в архив. И желательно навсегда!..

Постскриптум

Отмеченный начальством за добросовестность, Павел Иванович Белановский продолжит службу в Санкт-Петербурге, где вплоть до выхода в отставку будет столь же усердно и изобретательно искоренять «революционную заразу». Закончит дни свои в 1907 году.

Глава двадцать первая.
АДВОКАТ

Ноябрь 1885 года

...Вот уж не думал не гадал, что придется вдруг ехать в Варшаву, да еще в такую неудачную пору! На дворе ненастье, за окнами вагона пролетают мокрые деревеньки с покосившимися крышами, капли ползут по стеклу. Таково уж адвокатское житье: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Однако же зачем он взялся за этот конкретный гуж, за этот процесс? Дело, похоже, гиблое.

Владимир Данилович отворотился от окна и перевел взгляд на соседа по купе, кавалерийского полковника с роскошными подкрученными усами, сидевшего напротив, через столик, и тщетно пытавшегося бороться с дремотой. Другой сосед, немолодой русский чиновник с худым желтым лицом и странной фамилией Веселяев, что так не вязалась с его унылой физиономией, отгородился «Ведомостями», но тоже, кажется, подремывал, на что указывал верхний край газеты, мерно клонящийся книзу и вдруг поддергиваемый вверх, когда Веселяев просыпался. Веселяев ехал на новое место службы, полковник же возвращался в часть после отпуска. С обоими Владимир Данилович познакомился еще вчера при посадке в поезд. Четвертый попутчик, прусский коммерсант, по счастью, отсутствовал. Вероятно, сидел за пивом в ресторане.

Спасович вытянул из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой. До Варшавы оставалось полтора часа езды.

Он прикрыл глаза и тоже попробовал вздремнуть, но его профессиональная мысль, тренированная долгими годами практики, уже подступалась к ждущему его в Варшаве делу, хотя о нем Владимир Данилович знал пока лишь в общих чертах.

Известие о готовящемся в Варшаве процессе пришло

сначала от старых знакомых Рехневских, сраженных горем и умолявших взять под защиту дело сына, потом появилась Раиса Александровна Бардовская. Спасович знал уже через судебные круги, что в деле «Пролетариата» замешан русский мировой судья — огромный скандал! — и что по сей причине адвокаты один за другим отказываются от его защиты, боясь навлечь на себя немилость высших инстанций. Придется бедняге довольствоваться назначенным судом защитником, не иначе. Впрочем, и сам может защититься, юрист как-никак... И вдруг явилась эта женщина со строгим лицом и огромными, глубоко посаженными глазами. Раиса Александровна Бардовская... не откажите в милости... буду вам век обязана и прочее. «Но позвольте, он же вам фактически уже не муж, я слышал, у него в Варшаве другая жена, связанная с ним гражданским браком?» — «А я связана божеским. Он отец моей дочери, Владимир Данилович... Ах, он такой ребенок! Я ничуть не удивилась. Увлекся, натворил глупостей...» — «Извините, мадам, этому вашему ребенку под сорок...» — «Он так добр и так несамостоятелен! Я вас очень, очень прошу...» — «Ну-с, хорошо. Сделаем вот как. Мне по вашей просьбе не совсем удобно брать на себя защиту. Вы понимаете? Пусть Бардовский обратится лично. Вы сможете это устроить?»

Через несколько дней почта принесла письмо: «Глубокоуважаемый Владимир Данилович! Осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой взять на себя обязанности по моей защите в Варшавском окружном суде, коего заседания откроются в городе Варшаве 23 ноября с. г. Примите мои заверения в совершеннейшей Вам преданности и почтении. Петр Бардовский».

Прочитав письмо, Спасович нахмурился. «Окружной» — следовательно, военный. А раз так, то не иначе в деле фигурирует оружие. Вооруженное сопротивление при аресте, а может быть, и покушения... Русский миро-

вой судья с пистолетом и бомбой? Нонсенс! До чего мы, однако, дожили...

— Господин Спасович, а вы по каким делам в Варшаву, если не секрет? — неожиданно спросил Веселяев, складывая газету с видом: ну, а теперь поговорим!

— По издательским,— охотно ответствовал Спасович.— Видите ли, я издаю в Варшаве журнал «Атенеум». Не слыхали?

— Какого направления?

— Я не придерживаюсь определенного направления. Вообще, крайности мне чужды. Мне представляется, что направление — это некая догма, служащая для прикрытия собственного неумения рассуждать. Зачем рассуждать, коли есть направление? Оно уже кем-то задано, не так ли, пусть хоть и тобою — а дальше кати по нему... Мне не чужд разумный либерализм, но и консерватизма я не отвергаю. Во всем должна быть гармония.

— На каком же языке вы издаете журнал? — спросил Веселяев.

— На польском, разумеется.

— Вот как? Странно... Живете в Санкт-Петербурге, а журнал в Варшаве. Да еще по-польски... Я слышал, польский язык упраздняют?

— Прошу прощения, это нелепость,— Спасович добродушно улыбнулся, стараясь скрыть неприязнь.— Язык можно упразднить, лишь упразднив нацию...

— Упразднить можно все! — сказал полковник.

— ...А поскольку наша государственная политика не ставит себе такой задачи,— продолжал Владимир Данилович, покосившись на кавалериста,— то и язык польский сохраняется в Привислинском крае во всех сферах, кроме официальной государственной, где принят русский язык исключительно для удобства ведения дел...

— Но как же в школах? Политика русификации...— возразил Веселяев.

— Политика русификации, на мой взгляд,— самое неумное, что предпринимается в Привислинском крае. Цели своей она не достигнет, а поляков от русских отвратит еще больше,— Спасович оживился, в голосе послышались резкие нотки.

— А вы говорите — нет направления! — кавалерист вдруг расхохотался.

— Стало быть, вы сторонник примирения русских с поляками? — продолжал допытываться Веселяев, наклонив голову и сверля Владимира Даниловича взглядом унылых глаз.

— Безусловно... По рождению я православный, по воспитанию же — поляк. Мне одинаково близки оба народа и оба языка...

— Как поляка не корми, он все в лес смотрит,— сказал полковник.

— Странно... Странно... В департаменте народного просвещения иные взгляды,— Веселяев снова развернул «Ведомости», как бы давая понять, что не намерен больше поддерживать разговор.

Владимир Данилович снова отвернулся к окну, испытывая раздражение. Незачем было ввязываться в эту ненужную дискуссию! И с кем? С представителями двух сил, на которых держится государственная политика в крае,— с военным и чиновником! Добро бы люди из художественной или научной среды. Те бы его поняли. Но — увы! — представители этих сфер не спешат наладить культурный контакт между двумя народами, родственными по происхождению. Так что он, Владимир Данилович Спасович, по-прежнему остается чуть ли не единственным деятелем, способствующим взаимопониманию двух наций.

За окном проплывали предместья Варшавы, при виде которых у Владимира Даниловича сладко сжалось сердце и зачесалось в носу от слез, готовых выточиться из

глаз. Сентиментальное настроение разрушил пруссак, явившийся наконец из ресторана с сигарою во рту, издававшей невыносимый запах. Говоря сам с собою и ругая на чем свет стоит «руссише и польнише швайне», он принялся собирать вещи и первым вывалился из купе с чемоданами, оставив после себя вонючее облако дыма. Спасович вежливо, но сухо раскланялся с попутчиками и, подхватив кофр, двинулся по проходу на выход.

Вокзал, как всегда, встретил его гомоном и суетой посильщиков, газетчиков и комиссионеров — так назывались публичные посыльные, составлявшие две соперничающие партии, красных и голубых, соответственно цвету своих шапок,— однако суета эта была лишена русской безалаберности, отличаясь деловитостью и проворством. Спасович вышел на площадь, поманил извозчика, восседавшего на дрожках с поднятым красно-желтым флагом и одетого в темно-синюю ливрею. Дрожки подъехали, плавно покачиваясь на рессорах. Владимир Данилович уселся на сиденье, поставил кофр в ноги и, откинувшись на спинку под кожаным верхом коляски, сказал по-русски:

— В «Краковскую».

Слегка распогодилось. Дождь перестал, над шпилями костелов Старого Мяста, хорошо видимого отсюда, выглянуло из-за облаков солнце. Дрожки въехали на мост, и Владимир Данилович окинул взглядом Вислу со снующими туда-сюда лодками перевозчиков, еще раз удивившись перемене масштаба, произошедшей вдруг в восприятии пространства. Всякий раз, приезжая в Варшаву из Санкт-Петербурга, он испытывал эту перемену, и всякий раз она его удивляла. Когда он жил в Варшаве, Висла и сам город на ее берегах представлялись ему просторными и величественными, исполненными достоинства и благородства. Но теперь, наезжая сюда из Питера, он будто попадал из дворцовой необъятной залы в тесную

комнату, может быть, и уютную, но явно недостаточную размерами, так что первые часы после приезда ему было неловко двигаться и дышать. Желтоватая Висла казалась сироткою в сравнении с Невой, и Владимиру Даниловичу становилось жаль ее, как собственного детства, когда масштабы явлений были домашними и уютными, а казались — вселенскими. Теперь-то, на иных берегах, он понял, что такое истинно государственные масштабы, и все равно при встрече с Вислой в сердце прокрадывалось нечто вроде вины.

Он устроился в «Краковской», взяв недорогой отдельный номер из двух комнат, и тут же послал с комиссионером записку в редакцию «Атенеума», извещая редактора Фиалковского о приезде, и просил быть у него к вечеру. Владимир Данилович решил сделать сегодня издательские дела с тем, чтобы назавтра полностью отдаться судебным.

Он решил пообедать у «Пурвина», где обычно собирались юристы, чтобы послушать, что говорят в кулуарах о приближавшемся процессе. Действительно, в ресторане встретилось несколько знакомых, многие же узнали Владимира Даниловича, по столикам зашелестело: «Спасович... Спасович...» Он подсел к молодому адвокату Францишку Новодворскому и в ожидании заказанного обеда начал расспрашивать о деле. Новодворский, как выяснилось, был назначен защищать Петрусиньского, Блоха и Дегурского. Выслушав обстоятельства покушения на Гельшера, Спасович спросил:

— Подзащитные сознались?

— Нет. Но вина доказана неопровержимо.

— Говорят, один из главных обвиняемых, Варыньский, отказался от адвоката?

— Да, это так. У него уже есть опыт защиты. На процессе в Кракове, помните?

— Помню, конечно,— сказал Спасович, принимаясь

за принесенный бульон с гренками.— Мне довелось в то время быть в Кракове на юбилее Крашевского. Социалисты написали ему письмо из тюрьмы, желая обратить на себя внимание патриарха. Но... не обратили. Он им даже не ответил.

— Но там хотя бы процесс был открытый... — вздохнул Новодворский.

— Ишь чего захотели! — улыбнулся Спасович.— Чтобы публика услышала о социальных идеях, так сказать, из первых рук? Иосиф Владимирович на это не пойдет.

— Вы еще не знакомились с делом? — спросил Новодворский.

— Завтра надеюсь начать.

— Прокурор требует всем виселицы.

— Ну, уж это как-то неумно. Так не бывает,— спокойно ответил Спасович.— Хотя моему подзащитному грозит большая опасность.

— Вы о Бардовском говорите?

— Разумеется. Уж его-то постараются вздернуть.

— Говорят, дело уже решено в Петербурге,— криво усмехнулся Новодворский.

— Нет-с, так тоже не бывает. Даже если это так, уважающий себя адвокат должен использовать все шансы, не правда ли? Честь имею,— Спасович кивнул и поднялся из-за стола.

Новодворский поклонился с некоторой досадой: не мальчик все же, чтобы получать уроки профессиональной этики! Владимир Данилович любит показать свою адвокатскую безукоризненность.

А Владимир Данилович прошествовал мимо сидящих, среди которых было несколько его коллег по будущему процессу: Каминьский, Кокели, Анц — и вышел на улицу, где купил свежие газеты и не спеша отправился в «Краковскую» на свидание со своим редактором.

Фиалковский, веселый и румяный человек лет тридца-

ти пяти, принес несколько статей, вызывающих сомнения своими выводами, и проспект ближайших номеров «Атенеума». Спасович принялся читать. Фиалковский закурил и уселся в кресло напротив, внимательно наблюдая за выражением лица патрона во время чтения.

Спасович отпустил Фиалковского через два часа и перед сном вспомнил опять о процессе. Как ему защищать своих клиентов: по совести или по профессиональному долгу? Будучи совсем иных убеждений, нельзя строить защиту на искреннем чувстве протеста против вопиющей несправедливости, однако холодный профессионализм тоже не годится, ибо он сердечно симпатизирует молодым людям, желающим перемен к лучшему. Взять того же Рехневского: вдумчивый, образованный, интеллигентный юноша. Мог бы многое сделать в юриспруденции. Увлекся завиральными идеями, пошел по ложному пути... Что ж, это бывает. Надо попытаться спасти его для дальнейшей созидательной жизни...

Следующие дни были посвящены знакомству с делом. Владимир Данилович ушел с головою в тома следственных протоколов, донесений тайных агентов и прошений. Господа из Отдельного корпуса жандармов постарались на славу. Правда, работа была грубая. Особенно это касалось допросов рабочих; эти протоколы зачастую имели подпись допрашиваемого на втором, чистом листе, тогда как показания умещались все на первом. Ясно, что сначала брались подписи, потом сочинялись показания. Спасович пометил номера листов с подложными протоколами.

Обвинение Рехневского строилось фактически на показаниях Пацановского о том, что тот является членом ЦК и принимал участие в покушении на Судейкина. Обвинение серьезное, но бездоказательное. Внимательно изучив протоколы показаний Рехневского, Владимир Данилович понял — на чем можно будет построить защиту.

Трудно предположить, чтобы активный деятель партии, более того — член ЦК мог заниматься деятельностью, совмещая ее с двумя серьезными жизненными делами: сдачей экзаменов в Санкт-Петербургском университете и подготовкой к женитьбе, которая и произошла незадолго перед арестом. Непрестанные разъезды: Петербург, Варшава, Либава, Киев... Когда же революциями заниматься? Это несомненный довод, тем более что сам Тадеуш не признался даже в своей принадлежности к «Пролетариату».

С Бардовским было хуже. Тут улик было выше головы. Один протокол осмотра квартиры на Закрочимской чего стоит! Владимир Данилович вздохнул и углубился в чтение: «1884 года июля 15 (27) дня производящий дознание Отдельного корпуса жандармов подполковник Шмаков в присутствии товарища прокурора Варшавского окружного суда А. К. Янкулио и нижеподписавшихся понятых произвел осмотр отобранного при обыске в квартире Петра Васильева Бардовского, причем имеющими значение для дела оказались...»

Спасович перевернул страницу, заглянул в конец. Однако протокол объемист!

«Раздел В. Печатные и гектографированные брошюры на польском языке... «Программа польских социалистов», 25 экземпляров, каждый на 7 неразрезанных страницах, причем на 3-х экз. имеются клеймы «Книжная агентура Пролетариат»...»

Нет, это все не то. Не вешать же человека за хранение дома нелегальной литературы!

«Раздел К. Типографские принадлежности. Два винкеля, из коих один железный, другой деревянный; три железных пластинки, из коих две с зубцами и одна с отверстиями... Шрифт разный в холщовых мешочках, а также в клочках легальных и подпольных газет, всего весом более 44 фунтов...»

Спасович потер лоб. Эта улика посерьезнее укрывательства нелегальщины. И все равно — не виселица, никак нет!

«Раздел Л. Печати. «ЦК социально-революционной партии «Пролетариат». Печать эта медная без рукоятки. То же — с рукояткой. Оттиски указанных печатей и штемпелей прилагаются...

Раздел М. Рукописи на русском языке социалистического и революционного содержания... Пункт 116. «Воззвание на шести листах, начинающееся словом «Товарищи...», писано рукою Бардовского, направлено к возбуждению пропаганды в войсках...»

Вот оно, это воззвание! Главный и убийственный пункт в обвинительном акте против его подзащитного. Здесь уже пахнет двести сорок девятой статьей. Собственноручно написанный призыв к русским военным. Однако где же он? Надобно ознакомиться.

Спасович перешел к столам, где были разложены вещественные доказательства. Вот и архив партии. В его руках оказались несколько листков с текстом, написанным мелким неразборчивым почерком. Как ни был привычен его глаз к разного рода рукописным страницам, здесь он вынужден был признать, что почерк почти не поддается расшифровке. С трудом ему удалось разобрать первый абзац: «Товарищи! Когда под непосильным бременем всяких повинностей доведенные до отчаяния и разочарования в надежде на улучшение своего невыносимого положения крестьяне отказываются наконец платить подати, а испуганные местные власти не могут усмирить...»

Нет, это не чтение, а каторжный труд. Спасович взглянул в конец абзаца. «...Призывается войско и начинается бесчеловечная экзекуция».

Смысл ясен. Неясно только, зачем Бардовскому потребовалось писать это воззвание? Дело выглядит так, что его квартира в силу ряда обстоятельств стала при-

бежищем «пролетариатцев». Ну, допустим, гостеприимство, душа нараспашку, либерализм без границ... Допустим даже историческую вину, сознаваемую мировым судьей, по отношению к угнетаемому народу, к чему и он вынужден прикладывать руку... Но воззвание? Как отвести или хотя бы сгладить это обвинение? Положим, воззвание не было отпечатано или каким-либо образом размножено. Это зацепка. Очевидно, его никто и не мог прочитать, кроме Бардовского,— таким ужасающим почерком оно писано. Но оно все же написано! Царский чиновник подстрекает войска к бунту. Нонсенс!

Что ж, придется все сваливать на легкомыслие, на безответственный либерализм, столь распространенный среди русских.

Владимир Данилович поймал себя на мысли, что его чем-то раздражает этот незнакомый мировой судья, столь беспечно обращающийся с собственной жизнью. Чего ему не сиделось? Вот ведь из документов ясно: был на хорошем счету, дела вел грамотно и справедливо, сам Иосиф Владимирович Гурко консультировался с ним по правовым вопросам. Выучил даже польский, честь ему и хвала! Чего же больше? Мог способствовать прогрессу и установлению взаимопонимания между народами куда как эффективнее, чем содержа конспиративную квартиру социалистов! Он решительно не понимал Бардовского.

Может быть, свалить все на жену? Похоже, эта Наталья Поль страдала психическим заболеванием, которое обострилось во время следствия. Вероятно, он ее любил... Нехорошо как-то сваливать на больную женщину, но ведь нужно искать аргументы для защиты. Это его профессиональный долг.

Что ж, придется отложить решение до полного прочтения документов и знакомства с подзащитным. Владимир Данилович с удвоенной энергией засел за работу, причем

знакомился с пунктами обвинения и материалами касательно всех главных фигур процесса, а не только подзащитных.

В особенности его интересовал Варыньский. Раннее сравнительно с другими время ареста и незамешанность в покушениях могли сыграть благоприятную роль в его судьбе, однако Варыньский будто бы не желал этого видеть, во всяком случае, протоколы говорили о том, что он официально берет на себя ответственность за все деяния «Пролетариата», включая и те, что совершены после его ареста, не желая отделять своей судьбы от судеб товарищей, и точно так же твердит о своей солидарности с борьбой «Народной воли». Это уж, извините, просто глупо! Отягчает свою вину, да и только. И в то же время в Варыньском, каким он представал из протоколов дознаний, чувствовалась глубокая внутренняя убежденность в своей правоте, сравнимая с убежденностью наиболее смелых и умных деятелей «Народной воли». Вообще в них во всех много, слишком много от русской партии... Тоже аргумент для защиты, хотя, по сути, вины не смягчает, но все же как-то объясняет многое: «Народная воля» представляется после покушения на Александра многоглавой гидрой, охватившей своим влиянием большую часть русской молодежи, вот и на поляков хватило влияния.

До процесса оставались считанные дни. Встреча с представителями заключенных, среди которых были и оба подзащитных, была уже назначена, когда адвокатов внезапно пригласил во дворец генерал-губернатор. Там молодой майор, представившийся адъютантом его превосходительства, изложил к защитникам устную просьбу Иосифа Владимировича: не выносить обстоятельства дела и события процесса из залы суда. «Принимая во внимание особую опасность... Его Превосходительство надеется... не следует муссировать...» Спасовичу стало

стыдно. Внушают, как гимназистам. Могли, в конце концов, сделать это в приватной беседе с глазу на глаз.

В Цитадели, в адвокатской комнате, Спасовича ждали Варыньский, Бардовский, Рехневский, Плоский и Кон. В дверях стояли два жандарма. Владимир Данилович поздоровался и окинул взглядом бледные исхудавшие лица узников. Все выглядели старше своих лет, даже Кон, которому не исполнилось и двадцати двух. Спасович уселся за длинный стол напротив заключенных. Начал Варыньский.

— Господин Спасович, мы пригласили вас как наиболее опытного и знающего адвоката из числа наших защитников с тем, чтобы ознакомить с тактикой, которой будут придерживаться обвиняемые на предстоящем процессе...

— Что ж, это разумно. У нас общие цели, следовательно, и действовать мы должны сообща,— Спасович постарался придать своему голосу минимум официальности.

— Относительно общности наших целей не будем преувеличивать, господин Спасович,— мягко возразил Варыньский.— Но помочь друг другу мы можем. Собравшиеся здесь товарищи — юристы по образованию, кроме господина Кона, который успел лишь поступить на первый курс юридического...

— Позвольте, но у вас, господин Варыньский, насколько я знаю, нет юридического образования? — спросил Спасович.

— Вы правы,— спокойно кивнул он.

— Почему же тогда именно вы отказались от адвоката и намерены защищать себя сами?

— Только потому, что в коллегии адвокатов нет и не может быть присяжного поверенного, который мог бы без риска для своей карьеры осуществить защиту идеи, защиту нашей партии.

— Значит, вы собираетесь защищать «Пролетариат»?

— Да.

— Это ваше право. Однако должен предупредить, что такого рода защита может неблагоприятно отразиться на личной вашей участи,— сказал Спасович.

— Я догадываюсь.

Спасович снова обвел взглядом собеседников, как бы показывая, что теперь намерен обратиться ко всем. Его вдруг поразила мысль, что по виду и поведению заключенных никак нельзя догадаться о грозящем им процессе, долженствующем закончиться казнями. Спокойнее всех держался Варыньский; Бардовский смотрел чуть исподлобья; глаза его были усталы, а под ними обозначились желтые мешочки. Рехневский был непроницаем, зато Кон горел взглядом и нетерпеливо дергал рукою, желая поскорей вступить в разговор.

— Господа, вы должны войти в мое положение,— начал Спасович, обращаясь глазами к Бардовскому как к человеку, старшему по возрасту и, как ему казалось, могущему понять его доводы.— Я не могу защищать вас по совести...— Владимир Данилович дернул щекою,— ибо не разделяю ваших взглядов. Я намерен строить защиту на слабостях обвинения, которые очевидны, и, простите меня, на слабостях и несуразностях ваших идей и отчасти натур, дабы показать, что приписываемая вам опасность — ложная. Мне так или иначе придется выставлять вас в искаженном свете, но для вашей же пользы...

— Вот уж спасибо, Владимир Данилович...— усмехнулся Бардовский. Голос у него был глубокий, грудной.

— Стало быть, вы хотите разжалобить судей? — не утерпел Кон.

— Лишь отчасти. Я хотел бы внушить им мысль о вашей кротости в сравнении с той же «Народной волей», о том, в сущности, что у вас не было организации, представляющей опасность для существующего режима.

Это как Великая Римская империя времен упадка,— Спасович оживился, вспомнив свою эффектную метафору, произнесенную им на процессе «семнадцати» по поводу Исполнительного комитета.— Она не была Великой, не была Римской и уже не была империей. Точно так же, простите меня, господа, ваша международная социально-революционная партия «Пролетариат» не была международной, не была революционной и, уж конечно, не была пролетарской!

— Как вы смеете! — горячо вскричал Кон.

— Мы понимаем, что речи господина Спасовича продиктованы исключительно нашим благом,— успокаивающе взглянув на Кона, произнес Варыньский.— И все же мы избираем тактику открытого боя. Мы будем отстаивать наши идеи, ибо политические процессы определяют отношение правительства к существующим партиям и убеждениям. От приговора суда зависит дальнейшее направление нашего движения, поэтому он имеет исторический характер.

— Но вы тем самым лишаете себя возможности участвовать в этом будущем движении! — воскликнул Спасович.— Где же логика? Почему бы не постараться добиться мягкого приговора, пусть и путем сознательного затушевывания своей деятельности. Путем раскаяния, если хотите!

— Мы ни в чем не раскаиваемся,— сказал Рехневский.

— Ах, я же не прошу искреннего раскаяния. Достаточно раскаяться на словах. Есть же тактика судопроизводства, господа! — Спасович был и вправду огорчен несговорчивостью подзащитных.

— Заманчиво, но... не для нас,— покачал головой Варыньский.— Партия рассматривает процесс как продуманную политическую акцию и будет выступать единым фронтом. Те товарищи, что по малодушию или благода-

ря жандармскому нажиму дали компрометирующие сведения, обещали нам отказаться от показаний...

При этих словах Плоский кивнул, не поднимая головы. Спасович откинулся на стуле и развел руками.

— Ну, раз так... И все же, господа, в одном пункте я настоятельно советую вам уступить. Речь идет о договоре с «Народной волей». Фактически никто из вас, кроме Куницкого, не имел к нему отношения; более того, договор остался фиктивной бумажкой, ибо никакой «Народной воли» в тот момент уже не существовало, да и ваша партия была близка к разгрому. Между тем этот пункт обвинения — едва ли не главный, который подводит вас под двести сорок девятую статью, трактующую о насильственном свержении существующего строя и злоумышлении против особы государя императора. Вы же не хотели убить государя, сознайтесь!

Варыньский вдруг широко улыбнулся. Это было так неожиданно, что Спасович осекся и посмотрел на него чуть не с испугом — что за странные улыбки, когда разговор идет об убиении царствующей особы?

— Господин Спасович, как нам известно, является горячим проповедником тесного сотрудничества поляков и русских,— продолжая улыбаться, начал Варыньский.— Почему же он отказывает в этом нам?

— Браво! — воскликнул Кон.

— Господа, я сюда пришел не шутки шутить, а уберечь вас от виселицы! — внезапно озлился Спасович.— Если у вас нечего больше сказать по существу вопроса, позвольте мне поговорить с моим подзащитным.

Варыньский предупредительно поклонился. Владимир Данилович жестом пригласил Рехневского отойти от стола в угол просторной комнаты, к окну, не забыв взглядом испросить на то соизволения жандармов. Те остались безучастны. Спасович и Рехневский расположились у окна и начали вполголоса разговаривать.

Разговор был коротким. Тадеуш подтвердил, что ввиду незначительности прямых улик он собирается полностью отрицать свою принадлежность к «Пролетариату», что и делал на следствии. Что же касается покушения на Судейкина, то тут уж как повезет. Если суд поверит, что в день исчезновения Дегаева из России Рехневский находился в Петербурге, а не в Либаве, то хорошо. Если же нет...

Пришла очередь Бардовского. Он оторвался от бумаг следствия, которые просматривали обвиняемые, и подошел к Спасовичу.

— Прошу вас,— Спасович указал на кресло.

Он выдержал паузу, во время которой придал своему лицу серьезное и даже печальное выражение, долженствующее подчеркнуть весьма скверный оборот дела, в какое угораздило попасть его подзащитного.

— Петр Васильевич,— наконец обратился он к Бардовскому проникновенно,— вопросов по фактам и доказательствам у меня нет. Тут все как на ладони. Но у меня есть главный вопрос,— Спасович понизил голос и покосился на расположившихся поодаль обвиняемых.— Что это — необдуманность, широта души или же убеждения? Я должен это знать. Мы с вами люди разных поколений. Я настолько же старше вас, насколько вы старше их, между тем у нас с вами больше общего. Вы же шестидесятник, конституционалист, сознайтесь! Что вам пролетарии? Что вам марксова теория? Вы же, чай, ее и не читывали?

— Тут вы правы,— кивнул Бардовский.

— Вы не член этой партии, да и не могли быть ее членом! А ведь вам виселица грозит, я вам прямо говорю, хотя юридически это нонсенс полнейший! Однако не как юрист, а как представитель администрации в крае, вы должны понимать: правительство сделает все возможное, чтобы не допустить проникновения революционной

заразы в среду чиновничества и военных! Вас накажут примерно и страшно, чтобы другим было неповадно. Вы это понимаете?

— Безусловно,— снова кивнул Бардовский.

— Раскайтесь, голубчик! — почти жалостливо воскликнул Спасович.— И вам, и мне будет легче. Припишите легкомыслию, незнанию, затмению... Черту в ступе! Это не предательство же, вы никаких обетов не давали, никого не оговорили... Раскайтесь!

— Я бы и рад был, Владимир Данилович, но... Что-то не позволяет. Относительно моих убеждений вы правы: я последовательный сторонник республики, но не социалист. Казалось бы, могу отречься от того, чему не присягал. Но вы знаете... На душе у меня как-то хорошо сейчас. Взял да и сделал то, о чем всю жизнь тайно мечтал. Боялся. Все, думал, обойдется: и волки будут сыты, и овцы целы. Я же все это... всю эту гадость российскую с ее ложью, фальшью, показным оптимизмом — ненавижу. И самодержца, то есть монархию вообще,— ненавижу и ненавидел всегда, с юности. Но — служил. Ненавидел их и служил им же. А тут вдруг на старости лет осмелился... Не хочу портить. Пускай эти мальчишки с Марксом в голове, которого я не понимаю, и не близки мне по теориям. А по духу близки. Они хотят разрушить то, чему я всю жизнь служил, ненавидя.

— А вы уверены, что они смогут построить взамен что-то дельное? — желчно спросил Спасович.

— Абсолютно не уверен! — рассмеялся Бардовский.— Но я же не об этом. Я привел свои поступки в соответствие со своими убеждениями. А то ведь приходилось все время, каждую минуту кривить душой, уговаривать себя: вроде подлостей не делаю, служу тихо, стараюсь даже быть честным. Не понимал, что моя честность им на руку. Они тыкали в таких, как я, говоря при том: вот же Петр Васильевич — честный человек, а служит нам. И Влади-

мир Данилович — тоже честный, и тоже нам служит. Значит, и мы честны, не так ли?

— Сударь! — Спасович нервно повел головой.

— Компромиссы, Владимир Данилович,— вещь необходимая, но они совесть подтачивают. Либо совсем сточат, так что и не увидать, либо в один прекрасный день она взорвется: не хочу компромиссов!

— А жизни своей вам не жалко? — скорбно спросил Спасович.

— Жалко, как не жалко... Но совести-то жальче.

...В гостиницу Владимир Данилович возвратился в скверном расположении духа. Давно уж не чувствовал он себя перед процессом столь неуверенно, и дело было не в системе аргументов, которые он уже продумал, а в их принципиальной компромиссности. Во всем, очевидно, виноват этот мировой судья, его скромный двойник, который сумел освободиться, сумел оправдаться перед своею совестью и не хочет терять свободы духа даже ценою собственной жизни. В сущности, они одних взглядов с ним. Разве Владимир Данилович не такой же убежденный конституционалист, разве он не видит всех язв режима, разве в душе не молит бога за упразднение монархии? Молит же, конечно... Но через несколько дней фактически станет защищать этот режим, формально защищая его противников. Ужасная двойственность! Значит, опять нужно призывать на помощь казуистику, опять топить в изящных доводах суть. А суть-то проста: совести не может быть «больше» или «меньше», она неделима и абсолютна.

Он придвинул к себе листок бумаги и, мысленно окинув взором дело Рехневского, начал привычно строчить: «Случалось ли вам ехать в сырую погоду по низменным местам, когда встававшие туманы заволакивали луга и застилали их белой пеленою, похожею на море? Всходило солнце, и туман разрешался весьма небольшим коли-

чеством падающей на низ влаги. Я полагаю, что при разборе вины Рехневского критическая оценка всех свидетельствующих против него данных будет иметь значение того солнечного луча, превращающего общие и неопределенные подозрения в сравнительно малое количество несомненной вины...»

Постскриптум

Владимир Данилович Спасович проживет еще двадцать лет и умрет в семидесятисемилетнем возрасте в Варшаве в октябре 1906 года, оставив десятитомное собрание своих сочинений, куда войдут его работы по юриспруденции, судебные речи, литературные эссе и путевые записки.

Глава двадцать вторая.
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Декабрь 1885 года

За день до начала суда заключенным было впервые позволено собраться вместе в одной из камер Десятого павильона. Петр Васильевич шел на эту сходку с опаской: слишком по-разному вели себя на следствии члены партии, как бы не вышло ссор и взаимных оскорблений. Хотя предателей среди двадцати девяти человек, отданных военному суду, был ровным счетом один человек — Пацановский. Он, конечно, на сходку не явится. Остальные несколько человек, способствовавших следствию, сделали это по растерянности, минутной слабости или же поддавшись обману и шантажу. Многие потом письменно опровергли свои показания.

Когда Бардовский, сопровождаемый жандармом, вошел в общую камеру, там уже находились Варыньский, Куницкий и Кон. Они обменялись рукопожатиями. Бар-

довский виделся с Варыньским в четвертый раз — дважды они встречались у Добровольского еще до ареста Варыньского и вот совсем недавно вместе изучали материалы следствия и вели переговоры с защитой. На сей раз Людвик напомнил ему того, прежнего, виденного на квартире Добровольского во время спора с «крусиньчиками». Быстрый в движениях, он ловил и понимал фразы с полуслова — короче говоря, выглядел предельно собранным и в то же время хладнокровным, в отличие от Стаха Куницкого, которого била первная дрожь.

В камеру сходились знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые Бардовскому люди: Форминьский, Домбровский, Шмаус, офицеры Люри, Сокольский и Игельстром, пришли рабочие из Згежа — Блох, Ян Гельшер и молоденький ткач Ян Петрусиньский... При виде последнего Бардовский изумился: неужели этот юноша с ангельским личиком мог выстрелить в человека?

И по мере того как камера наполнялась народом — хмурым, подавленным, неразговорчивым, все сильней ощущалась связующая и руководящая роль Варыньского. Несмотря на то что он тоже был знаком лично едва ли с половиною обвиняемых, Варыньский встречал всех по-братски, находил нужные слова — одних ободрял, других успокаивал, третьим помогал шуткой. И когда собрались все, кроме Пацановского, Варыньский обратился к товарищам с речью... Бардовский вздрогнул, сентиментальный комок в горле застрял: Варыньский назвал их — «братья».

Он никого не обвинял, не пенял слабостью. Он призывал сплотиться перед лицом врага, показать на суде единство партии и ее боевой дух. Полный отказ от компрометирующих показаний и столь же полное признание идей партии! Бардовский любовался им: это, конечно, не Стась. Железная логика, ясность, полная увязка конкретных шагов партии с принципиальными задачами движения... «Из него получился бы прекрасный юрист...» — по-

думал Петр Васильевич, наблюдая, как Варыньский готовится к сражению, обсуждает список свидетелей, вызванных защитой, нащупывает с товарищами слабые пункты обвинительного заключения.

Он улучил момент, спросил у Варыньского по-русски:

— Как вы считаете, Людвиг Северинович, следует ли мне вызывать свидетельницей Наталью Михайловну Поль, жену мою?

— Непременно! — Варыньский быстро, всем корпусом обернулся к нему.

— Но вы же знаете...

— Я знаю. Они отправили в ссылку административных ранее, чтобы затруднить нам защиту. И все же нужно сделать официальный вызов. Пусть они объяснят — почему ваша жена не может явиться!

...Участь Наташи не давала покоя, жаль ее было до невозможности, жаль еще с той поры, когда Белановский год назад стал показывать ему подписанные ею протоколы, где Наташа, пытаясь выгородить его, на самом деле по неопытности губила. «Что вы можете сказать о рукописном «Воззвании к военным»?» — «Это я попросила его по поручению Куницкого написать воззвание!» — отвечала Наташа, не понимая, что подтверждает этим его, Бардовского, авторство воззвания. А уж по чьей просьбе оно написано — суду не важно будет. Чай, не ребенок. Должен за себя отвечать...

Он видел по этим листкам — в каком состоянии духа она находилась, на каком пределе нервного напряжения. И не мог ей помочь. Сам же на удивление был спокоен, почти равнодушен к собственной судьбе. Понимал, что ему не простят. Когда молодые польские товарищи — тот же Варыньский или Плоский,— знакомясь с обвинительным актом, успокаивали его: «Вам, Петр Васильевич, максимум пять лет каторги дадут, да и то незаконно!» — он

лишь улыбался тихо и утвердительно кивал, зная, что все будет иначе, ибо он в глазах власти — п р е д а л. Они всего лишь молодые бунтовщики, а он — изменник государю и отечеству... А изменников всегда карали по самому строгому счету. Тот же «Пролетариат» взять — врагов не убивали, расправились с двумя предателями.

Может, и к лучшему, что Наташу отправили в Сибирь до начала процесса. Никого теперь у него в Варшаве не осталось. Легче будет принять любой удар судьбы.

Двадцать третьего ноября, в полдень, Петр Васильевич в числе других обвиняемых под конвоем пересек мощеный двор Цитадели и вошел в здание Окружного суда. В просторном зале с черными лаковыми скамьями для публики группками сидели ближайшие родственники обвиняемых — среди них Бардовскому бросилась в глаза красивая грузинка с роскошной черной косой, уложенной венцом вокруг головы. Это была мать Куницкого. Рядом с нею сидел его отец, офицер. Представители общественности и пресса в залу допущены не были. Подсудимые заняли места на скамьях за барьером. Получилось так, что в первом ряду оказались Варыньский, Куницкий, Дулемба, Плоский, Рехневский, Бардовский и Кон. «Вот и попал в предводители...» — невесело усмехнулся про себя Петр Васильевич, грузно опускаясь на скамью рядом со щуплым, тоненьким, как тростинка, Коном. Он заметил, что Варыньский смотрит в его сторону — требовательно и ободряюще. До Бардовского донесся шепот Варыньского:

— Петр Васильевич, я вас прошу внимательно следить за процессом. Ваш опыт может пригодиться! — и встряхнул головой, как бы побуждая Бардовского мобилизовать внимание.

Петр Васильевич подобрался. В самом деле, нечего раскисать! Не себе, так другим помочь можно. Наверняка эти крючкотворы военные там понаписали!

Заняли места перед скамьей подсудимых адвокаты —

более десятка, среди которых выделялся импозантностью Спасович. Открылись белые резные двери в противоположной стороне, и в залу вошли высшие чины Привислинского края: генерал Иосиф Владимирович Гурко, начальник жандармов генерал Брок и свита. Они заняли места в специальном ряду кресел, поставленных впереди лаковых скамей.

Бардовский опустил голову, увидев Гурко; понял, что Иосифу Владимировичу будет неловко встретиться с ним взглядом. Как-никак совсем недавно генерал-губернатор консультировался с Петром Васильевичем по наполеоновскому кодексу, а тут такая незадача!

— Встать! Суд идет! — провозгласил секретарь.

Из комнаты судей вошли в залу и уселись на деревянных черных стульях с высокими спинками председательствующий, тучный генерал Фридерикс с ежиком седых волос, его помощник полковник Стрельников, родной брат одесского прокурора, убитого три года назад Степаном Халтуриным и Николаем Желваковым, и офицеры гарнизонной службы Бистром, Никитин и Якимов. Всех судей Петр Васильевич знал прекрасно. Он избегал смотреть им в глаза, как и генерал-губернатору,— не потому, что стыдился содеянного, но вследствие странной мысли, что тем будет неловко, ибо они по-человечески должны понимать правоту Петра Васильевича, но рисковать не хочет никто, а посему его накажут примерно.

После вступительных формальностей были оглашены списки свидетелей обвинения и защиты. Многие свидетели отсутствовали «по уважительной причине» или «за невозможностью разыскания». Бардовский усмехнулся: первое означало, что свидетель административно сослан в Сибирь; а второе — что он принадлежит к агентам тайной полиции. После чего суд приступил к слушанию обвинительного акта, который прокурор Моравский начал читать грозно и с пафосом, но быстро выдохся и стал буб-

нить, как пономарь — на этом бесконечной длины обвинении и закончился первый день.

А далее, как и положено, потянулось судебное следствие. Подсудимых по одному конвоировали в залу суда и там подвергали допросу. Бардовский, откровенно говоря, был рад, что не нужно присутствовать на чужих допросах: нервирует это, ничем не поможешь, чувство бессилия охватывает. Он слишком хорошо знал российскую юриспруденцию, чтобы понимать, что суда по справедливости не будет, а предстоит лишь наказание злоумышленников. Изучив за долгую службу логику властей предержащих, он даже примерно представлял себе приговоры и фигуры, подлежащие наибольшему наказанию. Виселица грозила Стасю как предводителю партии, подписывавшему смертные вердикты предателям; двум молоденьким рабочим — Петрусиньскому и Оссовскому — непосредственно исполнявшим приговоры над Гельшером и Скшипчиньским; не исключен такой же приговор и Яновичу за вооруженное сопротивление...

Варыньского вряд ли могут повесить — это было бы чудовищным произволом даже по российским меркам,— но постараются упечь в Шлиссельбург, недаром Плеве, будучи директором Департамента полиции, заново отстроил тюрьму и населил ее народовольцами. Теперь он уже товарищ министра внутренних дел — и это, по всей видимости, еще не конец карьеры...

О себе Бардовский не думал. Юридически его вина, учитывая даже авторство «Воззвания к военным», позволяла дать пять — восемь лет каторги. Но как суд будет квалифицировать и з м е н у?.. В любом случае у него мало шансов вернуться к свободной жизни: люди в его возрасте и при его состоянии здоровья редко выдерживают даже несколько лет каторжных работ. Но он, к собственному удивлению, размышлял о своей участи как о чужой, будто наблюдал со стороны судьбу российского

честного человека, который вдруг стал поступать по совести, а почему не сделал этого раньше — и сам удивляется... Во всяком случае, откуда-то взялась уверенность, что он свершил какое-то важнейшее жизненное дело и теперь можно помирать спокойно. Но когда он пытался его определить, то получалась неувязка. В самом деле, неужто клочок бумаги с ненапечатанным воззванием можно считать итогом сорока лет существования? У других, несмотря на молодость,— больше. Ну хотя бы у Варыньского.

Варыньский прошел судебное следствие первым. По камерам Десятого павильона передавались стуком краткие отчеты о суде. Бардовский узнал, что на вопрос, признает ли себя виновным, Варыньский отверг само понятие виновности в политических процессах. «То, что в Варшаве считается преступлением, не является таковым на расстоянии всего лишь двенадцати часов езды к западу. Пять лет назад я был оправдан в Кракове судом присяжных по обвинению в тех же деяниях, которые инкриминируются мне сейчас...»

Логично, но... что им логика? Хуже то, что Людвик солидаризировался с «Народной волей», как и заявлял в протоколах. Это лишних несколько лет. Бардовский внезапно почувствовал — какой тяжелый вес обретают простые слова «да» и «нет»; раньше, будучи судьею, он лишь знал это. Теперь же сохранение слова, чести, достоинства оборачивалось годами каторжных работ или одиночного заключения. А судьи, видя, что подсудимый честен, старались выжать максимальные приговоры. Стрельников уточнил, заходит ли солидарность Варыньского с «Народной волей» столь далеко, что подсудимый поддерживает цареубийство?

Варыньский ответил утвердительно.

На следующий день на прогулке во дворе Десятого павильона, когда допрашивали згежскую группу, Бардов-

ский выразил свое восхищение ответами Варыньского. Людвик непонимающе вскинул на него глаза:

— Разве вы ответили бы по-иному, Петр Васильевич?

Этот удивленный, по-мальчишески непосредственный взгляд из-под очков припомнился уже через день, когда Петр Васильевич предстал под перекрестным допросом. Поначалу все шло гладко. Бардовский признал, что в его квартире размещался секретариат партии, происходили заседания ЦК, сам же он при этом не состоял в «Пролетариате».

— Чем же объяснить найденное в архиве воззвание, писанное вашей рукой? — спросил Фридерикс.

Бардовский кинул взгляд на Спасовича и заметил, что тот волнуется. Он вспомнил их разговор. Может быть, и вправду, отказаться от авторства? Нет, Варыньский уже задал тон. Дело чести.

— Очевидно, тем, что я написал его,— ответил Бардовский.

Председательствующий попросил передать подсудимому текст воззвания, лежавший среди прочих вещественных доказательств на специальном длинном столе.

— Вы узнаете эти листки?

— Да,— кивнул Петр Васильевич.

— Не затруднитесь ли прочесть?

В зале и на адвокатских местах стало тихо. Спасович вытер лоб платком; он боялся взглянуть на подзащитного, будто мог спугнуть его.

— Извольте...— ответил Бардовский и принялся читать.

Спасович обмяк, сдернул пенсне, принялся протирать его тем же платком. Голос Бардовского — густой, красивый — звучал в просторном зале.

— «...Товарищи! Неужели мы обречены быть гнусными палачами в родной земле! Солидные люди между нами, умудренные опытом, у которых бессмысленная дисципли-

на и долговременная привычка к бесчеловечным отношениям к окружающим вытравили лучшие человеческие чувства, всегда готовы с необыкновенным апломбом успокоить свою и чужую совесть указанием на долг военного человека, обязывающий к бессловесному повиновению правительству, которому служат, но не к ним, этим житейским мудрецам, наша речь, а к вам, молодые собратья наши, к вам, чувствующим свою солидарность со всею мыслящей русскою молодежью и ясно понимающим то гнетущее позорное состояние, в каком находится всякий честный, мыслящий человек...»

Петр Васильевич кинул взгляд на судей. Они были неподвижны в своих мундирах, будто закованы в них. Ни один мускул не дрогнет на лицах. Он перевел взгляд в зал — та же картина. Мертвая тишина воцарилась в суде, и Бардовский мельком подумал, что так внимательно, пожалуй, его не слушали никогда.

— «...Неужели мы должны сделаться слепыми рабами правительства, слепым орудием в его угнетении народа и во всех его позорных деяниях?.. Кто же, не лишенный разума и совести, решится утверждать, что деятельность нашего правительства имеет что-либо общее с благом народа?.. Малодушный царь, выдающимся душевным качеством которого служит покорнейшая трусость — в своем роде единственная в нашей истории, этот самодержец, до сих пор еще не высказавший ни одной собственной мысли и сразу же попавший под неограниченную власть своих же холопов...»

Он вновь взглянул туда, где под портретом государя восседали судьи в мундирах. Нет, они вовсе не сочувствуют ему, теперь это очевидно. Они не разделяют его образа мыслей. Что ж, пускай хотя бы выслушают его...

Он закончил чтение при той же гробовой тишине в зале.

— Благодарю вас,— надтреснутым голосом произнес

Фридерикс.— У защиты и обвинения есть вопросы к подсудимому?

Моравский только руками развел: какие тут могут быть вопросы? Спасович поднялся с места.

— Скажите, подсудимый, намеревались ли вы размножать и распространять ваше воззвание?

— Да уж коли писал, то наверно намеревался,— вздохнул он.

— У защиты больше нет вопросов,— Спасович обиженно опустился на стул.

Потянулись дни перекрестных допросов свидетелей обвинения и защиты. Подсудимые вновь были вместе на скамье. Рушились одни свидетельства, воздвигались другие; путь к защитительным речам был отмечен маленькими победами над обвинением. Например, протоколы допросов свидетелей-рабочих уже явно вызывали сомнение членов суда. Дело дошло до того, что сам Фридерикс обратился к одному из свидетелей с фразой: «Говорите как было, не обращайте внимания на то, что там понаписали Янкулио и Секеринский!» Таким образом следствие ставилось под сомнение, и Петр Васильевич радовался бы да и только, если бы не понимал отчетливо, что нынешний суд — спектакль с заранее предрешенным финалом.

Пришел наконец черед адвокатов. Спасович получил слово первым; этим как бы подчеркивались его опыт и талант. В залу снова пожаловали высшие сановники края. Бардовский понял, что пришли не только «на Спасовича», но и «на Варыньского», защитительная речь которого ожидалась с нетерпением и опаской.

«Они прекрасно понимают, что завтра речь Варыньского станет известна в Варшаве, несмотря на все предосторожности»,— подумал Петр Васильевич.

Спасович провел защиту Рехневского без особого блеска, но с уверенностью и достоинством, присущим его репутации. Речь была довольно кратка, что лишний раз

подчеркивало скудость фактов в деле подзащитного. Чувствовалось, что вдохновение еще не пришло к адвокату. Он закончил речь, не преминув указать на чисто русские корни «Пролетариата», чем вызвал возмущение подсудимых. «Посмотрите, кто сидит на скамье! — воскликнул Спасович.— Варыньский, Куницкий, Рехневский, Бардовский, Плоский, Янович... Да это же все люди, учившиеся в русских учебных заведениях! Кто же остается? Первокурсник Кон и... предатель Пацановский!» При этих словах Кон вскочил, желая что-то крикнуть, но Варыньский осадил его.

Спасович попросил у суда разрешения вторую речь произнести позже, после Варыньского. Бардовский понял маневр адвоката. Опытный судебный волк, Спасович прекрасно знал, что суд — не только процесс выявления истины, но и театр адвокатов, где каждому достаются те лавры, что он заслужил речами. «Неужели он опасается Варыньского?» — удивился Петр Васильевич.

С первых же слов Людвика в зале установилась та же тишина, что при чтении воззвания Бардовским. Гурко оборотился всем корпусом вправо и сцепил пальцы на животе, не спуская глаз с Варыньского.

— Спрошенный, признаю ли я себя виновным,— начал подсудимый,— я уже заявил, что ни о моей «вине», ни о «вине» всех нас не может быть и речи. Мы боролись за свои убеждения, мы оправданы собственной совестью и народом, которому мы служили. Для меня безразличны подробности возводимых на меня обвинений, и я не буду терять времени на их опровержение. Моя задача состоит в том, чтобы воспроизвести картину действительных наших стремлений... Мы не сектанты и не оторванные от реальной жизни мечтатели, какими нас рисуют и обвинение, и даже защита. Социалистическая теория получила право гражданства в науке и в пользу ее говорят реальные факты современной жизни... Мы убеждены, что осво-

бождение рабочего класса от тяготеющего над ним гнета должно быть делом самих рабочих. Даже те паллиативные средства, которыми современные правительства пытаются предотвратить социальные бедствия, вызваны давлением рабочего движения. Я позволю себе сослаться по этому поводу на профессора Вагнера, советника Бисмарка, авторитет которого, надеюсь, не будет оспорен прокурором...

Варыньский сделал полупоклон в сторону Моравского, полный изящества и иронии. В зале возник знакомый Бардовскому вздох удовольствия, когда переводят дух в предвкушении последующих слов. Все взоры обращены были к Варыньскому. Гурко наклонился к сидевшему рядом защитнику Харитонову; Петр Васильевич расслышал восклицание генерал-губернатора: «Умен, шельма!»

— Мы стремились вызвать рабочее движение и организовать рабочую партию в Польше. Насколько наши усилия увенчались успехом, вы можете судить на основании данных, выясненных следствием. Перед вами продефилировал целый ряд свидетелей-рабочих... Все их ответы подходят под одну формулу: партия старалась улучшить положение рабочих и указывала на средства достижения этого. Симпатии рабочих на нашей стороне. Мы гордимся сознанием, что брошенное нами семя глубоко запало в землю и дало ростки. Среди рабочих много было слабых духом. Они склонили голову перед силой и предали свое дело, но будьте уверены, что в решительный момент даже эти слабые и запуганные люди окажутся на н а ш е й стороне...

«А ведь он прав, трижды прав,— подумал Петр Васильевич, глядя, как мгновенно и враждебно насторожились судьи при последних словах Варыньского.— Рабочие пойдут за такими, как он. Не столько даже из идеи, сколько поддавшись убедительности фигуры. Большая сила, но... таких немного!»

— Прокурор ставит в вину «Пролетариату» его террористическое направление... Само собою разумеется, что к тому, что прокурору угодно называть внутренним и внешним террором, то есть к убийству предателей и шпионов, не может быть применено название террора. С существованием тайной организации связана необходимость предпринимать определенные средства для своей безопасности. Это до того естественно, что в устав знаменитого тайного сообщества «Иллюминатов», в состав которого входили коронованные особы и даже папы, был включен параграф, карающий смертью за предательство... Бессмысленно приписывать нам намерение ввести новый социальный строй при помощи убийств. Убийство в нас вызывает отвращение. Чем же объяснить, что люди с самыми альтруистическими наклонностями, неспособные никому принести хотя бы малейший вред, мягкие по натуре, вступают в наши ряды и часто оказываются виновными в кровавом преступлении?.. Это является печальным, но неизбежным следствием существующего порочного строя. Экономический террор отнюдь не является средством для достижения наших социальных целей, но при определенных условиях он является единственным средством борьбы с укоренившимся в современной социальной системе злом. Когда рабочий изъят из-под защиты закона, когда законодательство не регулирует отношения между ним и работодателем, часто единственным средством самообороны с его стороны является насилие... Я поясню это на примере. В конце прошлого и начале нынешнего столетия рабочий класс Англии был совершенно исключен из политической жизни и ничем не гарантирован от произвола фабрикантов...

Бардовский поймал себя на мысли, что он слушает с профессиональным удовольствием, как юрист, лицезреющий работу другого юриста. Но откуда, позвольте? У Петра Васильевича пятнадцать лет практики, не считая уче-

ния в университете, а у этого весьма молодого человека — один курс института плюс несколько статей в нелегальной печати по-польски, плюс одна-единственная защитительная речь в Кракове — и тоже по-польски! Сейчас же он говорит на прекрасном, точном, выверенном русском языке! Несомненный талант...

— Можно ли называть нашу деятельность «заговором», организованным с целью насильственного переворота существующего в государстве экономическо-политического порядка?.. Я отвечу сравнением. Представьте себе, судьи, горный ручей, стекающий с Альпийских гор в соседнее озеро; течение этого ручья уносит с собою и крупинки песка, и лежащие на дне камни. Когда-то этот щебень покроет дно озера, и оно обмелеет. В стакане воды, зачерпнутой из этого ручья, находится безгранично малая частичка этого заполняющего озера песка. И потому нельзя одному стакану воды, являющемуся безгранично малой частичкой той силы, которая действовала в течение огромного периода времени, приписывать результаты всей совокупности явления... Мы не стоим поверх истории, мы подчиняемся ее законам. На переворот, к которому мы стремимся, мы смотрим как на результат исторического развития и общественных условий. Мы предвидим его и стараемся, чтобы он не застал нас неподготовленными. Я кончил, судьи! Мне остается добавить лишь одно. Какой бы приговор вы ни вынесли, я прошу не отделять моей судьбы от судьбы других товарищей. Я арестован раньше других. Но то, что ими сделано, и я бы сделал, будучи на их месте. Я честно служил делу и готов за него голову сложить!

Варыньский сел. В зале раздалось два-три испуганных хлопка, которые взлетели к люстрам, как всполошенные птицы, и тут же растаяли. Спасович порывисто поднялся с места и, обернувшись к скамье подсудимых, пожал Варыньскому руку. Варыньский слабо улыбнулся; он весь

еще был во власти чувства, охватившего его, когда он говорил речь.

Петр Васильевич услышал, как Дулемба, хитровато щурясь, шепотом похвалил: «Молодец, Длинный!» — и в ту же секунду почувствовал, что сзади кто-то осторожно толкает его под локоть. Он оглянулся: за ним сидел Петрусиньский. С надеждой взглядывая на Петра Васильевича, он спросил прерывающимся голосом:

— Пан судья, может быть, знает, пшепрашам... Теперь нас оправдают?

Ах, если бы!.. Бардовский невесело усмехнулся. Искра надежды в глазах Янека погасла.

Эти чистые глаза и мальчишеское личико с нежным пушком на щеках заставили Петра Васильевича испытать странное раздвоение. Только что он выслушал речь, под каждым словом которой готов был подписаться, но получалось так, что все эти верные, справедливые слова шаг за шагом вели к тому вечеру в згежском городском саду, когда один человек, не имевший корысти или личной вражды к другому, выстрелил ему в голову с расстояния в один шаг — и убил. Где, в какой момент, на каком отрезке долгого пути произошел трагический поворот? Или же весь путь потихоньку незаметно искривлялся, пока не привел к трагедии? Доводы Варыньского верны, но они — лишь слова, а здесь — живая, горячая кровь.

Ища ответа на эти вопросы, он рассеянно слушал речи других адвокатов и даже, как ни странно, защитительное слово Спасовича по собственному делу. Владимир Данилович упирал на «нетерпение и незрелость» российского либерализма, который он назвал «юным и зеленым», что как-то не вязалось с внушительной осанкой и окладистой бородою Петра Васильевича.

Наконец обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Варыньский был краток; он вовсе не говорил о себе: «Когда вы удалитесь в зал совещания для обсуждения приговора, помните, что политические процессы выясняют и определяют отношение правительства к существующим в стране убеждениям и партиям. Настоящий момент имеет историческое значение. От вашего приговора будет зависеть дальнейшее направление нашего движения, дальнейший его характер. Помните о лежащей на вас ответственности, помните также, что и над вами есть суд истории».

Речь Куницкого ожидалась с нетерпением. Допущенная им на следствии минутная растерянность и слабость позволяли ожидать, что перед лицом виселицы он дрогнет вновь. Однако судьи жестоко ошиблись. Станислав оказался на высоте. Он сказал:

«Позвольте мне, судьи, в моем последнем слове очиститься от той грязи, которой меня забросали прокуроры и даже некоторые из защитников. Я изображен человеком, алчущим человеческой крови. По заявлению моих обвинителей, всюду, где бы я ни появлялся, должна была пролиться человеческая кровь. Мои убеждения признаны вредными для общества, мои поступки — преступлением. Дабы еще больше повлиять на вас, обвинение подчеркивало факт моей полной солидарности с «Народной волей», совершившей акт 1 марта 1881 года. Да. Я солидарен с «Народной волей», я был членом этой партии, я солидарен со всем, что ею совершено. Это не преступление, а выполнение священного долга. Вся моя вина — это моя любовь к народу, за освобождение которого я готов отдать до последней капли всю мою кровь. Под давлением необходимости мы вошли на путь террора. Возьмите от нас таких людей, как Янкулио и Белановский, торгующих человеческими жизнями, прекратите бесчеловечные преследования, и тогда борьба примет менее острый характер. Вы слышите плач и рыдания, раздающиеся среди публи-

ки. Это наши родственники, отцы, матери и жены. Спросите их и из их ответов судите, преступники ли мы. Судить вы нас можете, можете и засудить. Но мы умрем с сознанием исполненного долга».

Петр Васильевич не строил иллюзий относительно добросовестности судей, потому ограничился, как юрист, пожеланием соблюсти букву и дух закона.

Приговор объявили в первом часу ночи двадцатого декабря. В залу пролетариатцев сопровождали группами по шесть — восемь человек через темный, присыпанный снежком двор Цитадели. Первой повели группу по главе с Варыньским. Узники договорились между собою, что осужденные, возвращаясь в Десятый павильон, выкрикнут громко свои приговоры товарищам, оставшимся в камерах. Тюрьма застыла в ожидании. Наконец в ночи со двора донеслись громкие крики: «Варыньский — шестнадцать лет!.. Дулемба — шестнадцать лет!.. Рехневский — шестнадцать лет!..» Исключений не было.

Петр Васильевич выслушал приговор вместе с Куницким, Коном, Пацановским и згежской группой рабочих. Он видел, как гордо вскинул голову Стась, слушая смертный приговор; как задрожали губы Петрусиньского, а лицо сделалось обиженным — за что его приговорили к смерти?.. У Бардовского не осталось даже времени осознать, что ему досталась та же участь, и он понял это окончательно, уже шагая след в след Куницкому по зимнему плацу Цитадели, когда услышал пронзительный крик Стася: «Куницкий — смерть!» — и, набрав грудью холодного воздуха, будто густое эхо, повторил: «Бардовский — смерть!»

Сзади тоненьким дрожащим голосом выкрикнул то же слово Ян Петрусиньский, и Петр Васильевич впервые с удивлением заметил, что «смерть» по-русски и по-польски звучит почти одинаково.

Постскриптум

Петр Васильевич Бардовский будет повешен через сорок дней за Ивановскими воротами Александровской цитадели вместе со своими товарищами Станиславом Куницким, Яном Петрусиньским и Михалом Оссовским.

Глава двадцать третья.
ЯНЕК

Январь 1886 года

...Он почувствовал, что его тянут назад — осторожно и ласково, с русским бормотаньем: «Будет, будет...» — и мать отрывается от него, ее заплаканное лицо отходит в темноту, сливаясь с лицами отца и сестер — вытянутыми, печальными, как в костеле, когда ксендз Бужиньский поминает о вечной сладости рая и каторге преисподней, а после хор ангелов зовет на небеса, но туда не хочется, хочется остаться здесь — зачем они отрывают его от матери, эти усатые русские дядьки в мундирах, зараженные тою же печалью, и под руки ведут коридором, а сзади раздаются всхлипывания сестер и сухой шепот матери: «Матерь божья, прими раба твоего!» — но ему все равно не хочется к богородице, плотные бока жандармов подпирают его, так что он скользит по каменному полу, пока не попадает в камеру, где ждут его остальные товарищи по смерти, среди которых двое тихи и задумчивы, один же возбужден и весел; он расхаживает по камере, как маятник, твердя, что их казнь всколыхнет рабочую Варшаву, придаст новые силы движению, на что пожилой русский судья лишь вздыхает, а потом, обняв Янека за плечи, усаживает рядом и слегка прижимает к себе, отчего мелкая дрожь в теле Янека успокаивается на минуту, и он вскидывает свои ресницы, глядя на маленького человека

с кудрявой бородкой, в золоченом пенсне, еще раз удивляясь, насколько его облик не совпадает с тем, что рисовался ему в Згеже весною, когда Михалек требовал кары для Францишека и грозил именем Черного, который представлялся огромным медведем с рычащей пастью, а оказался скорее юркой куницей с мелким оскалом зубов, приславшей ему бумажку с предписанием выстрелить в голову Францишека, и уже тогда Янек знал, что это грех, и дальше жил с потухшей душою и вялым телом, которое нехотя уклонялось от предначертанного тем выстрелом пути к аресту, тюрьме и суду, пока не пришло к ответному приговору, выслушанному ночью в декабре, после чего душа вернулась к нему, чтобы попрощаться, и задержалась на сорок дней, во время которых приговор улетел в Петербург на высочайшее утверждение, а с ним — просьбы семьи о помиловании, так что каждый новый день отсрочки прибавлял к надежде маленький кусочек, пока она не стала весомой; двое людей старательно опекали его: этот русский мировой судья, у которого он сейчас пригрелся под боком, и Варыньский, почти не отходивший от него, подолгу беседовавший в камере (стража Десятого павильона, умягченная жестоким приговором, раскрыла двери камер, и пролетариатцы ходили друг к другу в гости, устраивали общие сходки и образовательные занятия для рабочих, на которых Куницкий рассказывал о законах физики, а Варыньский излагал марксову теорию) — Янек чувствовал, что Варыньский, казавшийся ему таким же пожилым, как судья, чем-то тяготится, испытывает вину, разговаривая с ним — неужто тем, что его не приговорили к виселице? — во всяком случае, он заметил, что Варыньский беседует с ним не только из жалости и сострадания — он и не показывал этих чувств, чтобы лишний раз не напоминать Янеку о петле,— но будто хочет понять что-то для себя, уяснить или проверить; однако трудно было уследить за внутренним ходом мысли

Варыньского, да Янек и не пытался, лишь отвечал на его вопросы: где научился грамоте? ладил ли с сестрами в детстве? любит ли матушку? что думает о пане боге? откуда впервые узнал о социализме? — и Янек сосредоточенно отвечал, понимая, что Варыньскому важно это знать досконально, чтобы погрузиться в короткое раздумье, которое завершалось вздохом и непонятной какой-нибудь фразой: «Не вижу ошибки...» — или: «Нужно было это предвидеть...» — но обычно он не договаривал, улыбался Янеку и начинал разговор о том, что они вместе пойдут на каторгу, когда придет высочайшее утверждение, а в нем — смягчение приговора на одну или две ступени, чтобы продемонстрировать монаршую милость; если даже не всем, то Янеку — непременно, ибо молод, слишком молод для столь ужасного приговора — и вот тогда, на Каре, в Забайкалье, они начнут подготовляться к новому этапу борьбы, который непременно начнется уже в самом конце века, чтобы человечество вошло в новое столетие освобожденным и счастливым; теперь мы знаем, как это сделать, говорил он, хотя за ошибки заплатим дорогую цену, но не отступимся никогда, разве что сменим тактику, не будем так сильно торопиться... Янек кивал завороженно, мысленно проскакивая и отмененную царем казнь, и двадцать лет каторги, которые никак не ощущались по длительности, ибо ни с чем были несопоставимы, кроме собственной жизни, а она сейчас представлялась мгновенной, спрессованной в один недоуменный вопрос: да была ли? — и эти беседы, шутки товарищей, физические формулы Куницкого на грифельной доске, принесенной по приказанию подпоручика Фурсы, сливались в уверенность, что жизнь не закончится никогда, во всяком случае, не скоро закончится; не может царь не пожалеть его, Янека, он ведь неплохой ткач, любимец матери, но он еще многого не испытал в жизни — любви, например,— разве нельзя дать ему отсрочки на любовь и другие дела,

все равно потом, в надлежащее время, он умрет, как все, зачем же торопить события? — тем более, он все понял, он не будет больше стрелять людям в голову, потому что это грех, даже если придется с паном Варыньским вновь участвовать в борьбе...— так он рассуждал, располагаясь на ночлег в камере, где кроме него помещались Феликс Кон и Адам Серошевский, двоюродный брат первой жены Варыньского, как Янек узнал на прогулках во дворе, где играли в снежки, забыв о казнях и каторгах, ибо молодую силу некуда было девать, пока вчерашним вечером Янека не пригласили в канцелярию Десятого павильона, что было обычным делом — вероятно, напутали с финансовыми расчетами, производимыми продуктовой лавкой, услугами которой разрешили пользоваться после официального завершения следствия; и Янек пошел по коридору, а пришел сюда, проведя с семьею ночь, о которой даже сейчас, за три часа до казни, лучше не вспоминать, а нужно лишь тихо сидеть, прижавшись к большому бородатому русскому человеку и занимая у него немного сил и мужества, и огонек керосиновой лампы колеблется, уходит в фитиль, намереваясь погаснуть, но это уже не страшно, потому что за окнами с решеткой начинается зимнее последнее утро и их уже выводят из камеры, причем они все, кроме Оссовского, который, кажется, совершенно отрешен от происходящего, надевают пальто и застегивают на все пуговицы, ибо за окнами морозно, а дальше черными послушными тенями на снегу шагают по двору Цитадели — два жандарма спереди, четверо сзади,— проходят сквозь ворота гуськом и видят на заснеженном берегу Вислы простейшее сооружение, состоящее из двух столбов и перекладины, на которой болтаются четыре веревки с петлями, под ними стоит длинная черная скамья, а чуть поодаль недвижной группкой застыли какие-то чинные люди: генерал Унковский, начальник Цитадели, прокурор, секретарь суда, подпоручик Фурса и священ-

ники — православный поп и ксендз, которые уже причащали всех, кроме Куницкого, а теперь благословляют своим присутствием души казнимых, которым предстоит нелегкий путь в ад, но главными здесь являются не эти люди в мундирах или рясах, а два человека в черных полумасках, которые внезапно вырастают перед ними, как ангелы смерти, пока секретарь тусклой скороговоркой читает приговор, а дальше по знаку Унковского палачи начинают свое нехитрое ледяное дело, отчего цепенеют люди в мундирах, а смертники обливаются последним, предсмертным потом: с них стягивают пальто и возводят на длинную скамью, где они стоят, точно на сцене, и Янек боится лишь одного — чтобы раньше времени не подкосились ноги — и смотрит на крест в руке ксендза, замечая краем глаза, как на русского судью сверху надевают холщовый саван, деловито связывают за спиною руки, охватывают веревкою ноги и набрасывают на мешок петлю, отчего судья становится похожим на спеленутый кокон, серый кокон из паутины, но размышлять уже некогда, потому что свет меркнет, похищенный таким же саваном, и Янек только чувствует, как железные пальцы подтягивают ему на горле петлю, и тут откуда-то издалека, словно с другого берега Вислы, раздается крик Куницкого: «Да здравствует «Пролетариат»!» и неожиданно густо, рядом, бас судьи: «Да здравствует республика!», но едва Янек открывает рот, чтобы что-то крикнуть или просто судорожно глотнуть воздух, как опора под ногами проваливается, выбитая ударом сапога,— он успевает услышать хруст в затылке и ощутить боль в щиколотке — это Оссовский, дернувшись в петле, ударил его каблуком, и потому Янек...

Постскриптум

Их похоронят на берегу Вислы неподалеку от места казни.

«Смерть Петра Бардовского, Станислава Куницкого, Яна Петрусиньского и Михала Оссовского,— пишет Леон Баумгартен,— была тяжелым ударом для остальных пролетариатцев. В первые дни после казни скорбь и печаль в их сердцах потеснили присущее им чувство оптимизма. Письмо, посланное осужденными на волю из Десятого павильона сразу же после исполнения приговора, полно смешанных чувств горечи, мести и неистребимой веры в конечную победу.

«За одну ночь,— писали они,— каждый из нас научился ненавидеть и ощутил страшную потребность мести. Ни один из нас не страшится их судьбы, и если бы не решетки, мы пошли бы искать мести, а с нею и смерти.

Но того, чего больше, чем когда-либо, требует мысль, мы сделать не можем, ибо силы наши потеряны...»

Однако скорбь и минутная растерянность не могли убить в них вечно живого убеждения, что их дело, рожденное в таких муках и оплаченное такой ценою, не должно пойти на убыль.

«Не давайте умереть движению,— призывали они из мрачных камер Цитадели,— и если вам хватит сил, не прощайте палачам виселиц! Пусть знает враг, что рабочий народ, однажды разбуженный, не устанет бороться до победы!»

Со дня на день узники ожидали, что их повезут на каторгу. Они хотели все вместе пойти по этому горькому пути, но понимали, что это невозможно. Более всего беспокоила их судьба Варыньского и Яновича. Из разных источников доходили до них упорные слухи, что им предназначен Шлиссельбург — унылая и страшная крепость, где людей хоронили заживо.

Через две недели после казни жандармерия уведомила пролетариатцев, что они должны быть переведены в варшавскую тюрьму Павиак, чтобы вскорости отправиться в

дальнюю дорогу. В Павиаке осужденным обрили наполовину голову, сбрили бороды и усы; их переодели в арестантские одежды и заковали в кандалы. Пролетариатцы мужественно переносили жестокий режим, переносили все, кроме унижения их нравственного достоинства. В них поддерживал дух Людвик Варыньский, который повторял, что даже в Шлиссельбурге не пропадет и выйдет оттуда, чтобы снова вести вперед рабочих. В камере Павиака он написал свою вдохновенную, полную оптимизма «Кандальную мазурку», заражающую неукротимой волей к борьбе и безграничной верой в будущую победу...

Уже через несколько дней после перевода узников в Павиак Варыньского и Яновича отправили в Петербург, где они провели две недели в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, а потом были направлены в Шлиссельбург, куда прибыли 13 марта 1886 года».

Глава двадцать четвертая.
КОНРАД

Февраль 1889 года

Скоро три года, как мы в Шлиссельбурге... По привычке подумал «мы», теперь же надо привыкать по-другому. Три дня назад, утром, когда нас вывели на прогулку, Людвик тихо угас в своей камере, как язычок пламени в лампе, когда в ней кончается керосин. Единственная и верная подруга — лампа, коротающая с нами бесконечные вечера! Случается, она становится последним средством, чтобы избавиться от этого ада, как сделал Грачевский года полтора назад, обложившись тряпками, смоченными в керосине, и воспламенив их огнем той же лампы. Пока бегали за смотрителем Соколовым-Иродом, у которого находились ключи от камер, Грачевский задохнулся в дыму...

Людвик сгорел иначе. Он не хотел умирать, но жизнь для него означала деятельность. Он не умел существовать. Тем более — в одиночестве. Это я со своею любовью к статистике могу часами уединенно сидеть за цифрами. Варыньскому нужны были не цифры, а живые люди. В них он видел материал своей деятельности. Последними его действенными поступками стали письмо на волю товарищам по борьбе из Десятого павильона после январских виселиц и «Кандальная мазурка», которую мы пели в Павиаке, расставаясь навсегда. Для дела Людвик был способен на все. Он даже мог сочинять музыку и стихи, если это требовалось революции.

Три дня назад я вернулся с «песков» — так мы зовем огороженные глухим забором дворики, места наших прогулок, где насыпаны кучи песку, и постучал в стену, вызывая Варыньского. Последние дни я всегда делал это с опаской: боялся, что он уже не сможет ответить. Так и случилось. Может быть, он спит? Или уже не имеет сил, чтобы переговариваться стуком? А ведь это — единственная отрада умирающего! Комендант Покрошинский разрешил перевести меня в соседнюю с больным Варыньским камеру, закрыв глаза на то, что просьба эта вызвана не чем иным, как возможностью пользоваться запрещенным «стуком». «Вам оказали такую милость!» — сказал тюремный врач Нарышкин.

И вот Людвик впервые не ответил мне.

Я бросился к дверям, стал барабанить. В окошке показались усы унтера. «Что с Варыньским?! Посмотрите, может быть, нужно вызвать врача!» — крикнул я ему. Он молча кивнул, закрыл окошко — разговаривать с нами им категорически запрещено инструкцией. Через четверть часа явился смотритель Федоров, или Фекла, как мы его зовем, сменивший Ирода после самосожжения Грачевского. Пряча глаза, он объяснил мне, что заключенному за номером двадцать четыре уже не нужна врачебная

помощь. Я отвернулся от него — не хотел, чтобы жандарм видел мои слезы.

Не думал я, что мне суждено пережить Варыньского... Он всегда казался мне неизмеримо крепче других. Я очень боялся одиночного заключения, боялся сойти с ума. Помню, еще в Цитадели во время следствия мне чудилось, что жандармы научились читать мои мысли по биению пульса на виске. И я считал про себя, считал до бесконечности, не давая мыслям принять хоть какое-нибудь направление. Людвик же находил в себе силы поддерживать нас. Я и не знал, что у него хроническая болезнь желудка, полученная еще в годы полуголодной студенческой юности. Потом на него навалились другие болезни, а довершила дело чахотка, зловещие признаки которой появились прошлой весною, а к зиме она приняла скоротечный характер.

Он ушел, а я не могу это осознать. Будто нас просто лишили возможности видеться, прогуливаясь вдвоем, как уже бывало, а его перевели в другую камеру, подальше от меня. Мы все здесь похоронены заживо, и вместе с нами живут тени умерших и казненных: Мышкина, Минакова, Грачевского, Кобыляньского... Даже сейчас не решаюсь прибавить к этому ряду Варыньского, не могу представить, что его зарыли в мерзлую землю на берегу Ладоги, за стенами крепости.

Его товарищ Кобыляньский не дожил до нашего прибытия всего двух месяцев, как мы узнали позже. Когда-то они с Людвиком создавали в Варшаве первые рабочие кружки и даже жили в одной квартире, а потом Кобыляньский сбежал в Россию и вскоре попал на каторгу — сначала на Кару, потом в Трубецкой бастион Петропавловки, где дожидался открытия Шлиссельбургской тюрьмы. Он был в числе двадцати двух человек, ставших первыми узниками. Мне рассказывал Фроленко, что Кобыляньский принадлежал к непримиримым. Когда Ирод,

согласно инструкции, обращался к нему на «ты», он отвечал тем же. Фроленко спрашивал его, когда это он выпил на брудершафт с Соколовым?

Нас с Людвиком привезли, когда издевательства жандармов немного ослабли — слишком много смертей случилось за неполных два года! Весной восемьдесят шестого года нам отвели огородные грядки для обработки. Какая это была радость! Однако Варыньский был плохим огородником, его тянуло к ремеслу. Вдобавок он получил грядку у забора, куда не доставало солнце, потому цветы, посаженные им, вырастали чахлыми, плохо цвели. «Каков огородник, таковы и плоды»,— улыбался Людвик.

Мы встречались лишь на прогулках; прошло долгих девять месяцев, прежде чем нас свели на «песках». Никогда не забуду этой минуты! Мы обнялись, как братья, и оба не могли скрыть слез. А ведь до этого мы с Варыньским виделись считанное число раз. Я помню то впечатление, какое он произвел на меня при первой моей встрече с ним. Это было в июне 1883 года, на скамейке в Лазенковском парке, в Варшаве. Он развивал передо мной свою программу борьбы. Ни до, ни после я не встречал человека, который внушал бы такую веру в себя. Я был совершенно очарован. Чувствовалось, что этот человек знает, к чему стремится, и обладает волей для того, чтобы это исполнить.

Я слышал на своем веку много умных или фантастических программ, но и те, и другие остались на бумаге. Тогда я впервые увидел человека, каждое слово которого означало дело. Этим и объяснялось сильное впечатление, которое он производил. Я с первого же момента готов был отдать себя в его распоряжение. К сожалению, тогда нам не пришлось поработать вместе, а через год, когда я приехал в Варшаву с намерением присоединиться к «Пролетариату», Варыньский уже был в тюрьме. Фактически

мы имели возможность сблизиться лишь после процесса «двадцати девяти», когда в течение сорока дней ждали высочайшей конфирмации. И вот встреча здесь — на «песках», в арестантском халате с бубновым тузом на спине!

Не могу поверить, что его больше нет.

Главное, что его отличало от всех, кого я знал,— искренность. Обезоруживающая искренность и честность. Органически не мог врать или хитрить. Но он был не из тех, кто режет правду-матку в глаза. То есть правда была — и всегда в глаза, но он ее не «резал», а говорил мягко, ибо превыше всего ценил человеческое достоинство... В этом смысле Людвик был настоящим аристократом! Независимо друг от друга мы выбрали в Шлиссельбурге одну и ту же тактику обращения с жандармами. Я бы назвал ее тактикой полного отчуждения. Никаких просьб, никаких жалоб, никаких протестов, по возможности, никаких разговоров. Мы вели себя так, будто их нет, будто нас стерегут, конвоируют, обыскивают и приносят пищу не люди, а механизмы. Смешно протестовать против механизма, не правда ли? Среди наших товарищей были такие, кто отстаивал свои права криком, ругательствами, оскорблениями, но только не мы с Варыньским. Каждый выбирал поведение, соответствующее своему воспитанию и темпераменту. В обращении Людвика с жандармами я усматривал подлинную интеллигентность.

Лишь однажды он вскипел и позволил себе резкий выпад против Ирода. Это было в тот день, когда Людвик узнал о грубом обращении с заключенными в тюрьме женщинами — Верой Николаевной и Людмилой Александровной. Мы возвращались с «песков», когда нам встретился Ирод. «Врач просил назначить тебе дополнительное питание,— обратился он к Варыньскому.— Будешь получать двойную порцию каши». Обращаться на «ты» Ирода обязывала инструкция. Варыньский знал об этом и никогда не пытался выражать ненужный протест, про-

сто не замечал этого; тем более, что Ирод, несмотря на заведомо невежливую форму обращения, старался смягчить ее интонацией, когда говорил с Варыньским. И не только Ирод! Унтеры тоже уважали и даже побаивались Варыньского. И это при полном его бесправии и почти полной бессловесности в общении с ними!

Но на этот раз, едва Ирод договорил, как Варыньский остановился и смерил его презрительным взглядом. Слова не передают испепеляющей силы этого взгляда! Казалось, он может им убить! К этому взгляду Людвик на сей раз прибавил полную холодного бешенства речь о том, что если администрация позволит себе грубо обращаться с заключенными в тюрьме женщинами, то он, Варыньский, примет специальные меры, чтобы не допустить впредь такого обращения. Со стороны могло показаться, что генерал распекает своего денщика за скверно надраенные сапоги. Варыньский был убедителен неотразимо. Не могло возникнуть и тени сомнения, что он способен привести свою угрозу в исполнение, хотя возможности протестовать у нас были две — голодовка и оскорбление действием того же Ирода, что автоматически вело за собою расстреляние и было тем шансом кончить счеты с жизнью, которым могли воспользоваться потерявшие надежду узники. Так расстреляли Минакова, а затем Мышкина, запустившего в Ирода медной тарелкой.

Но на этот раз Ирод, казалось, был смущен. Тихим голосом он обещал Варыньскому, что узнает обстоятельства грубого обращения с женщинами и что такого больше не повторится.

Благодаря особой впечатлительности Варыньского, на нем очень отражались жандармские фокусы, лишая его спокойствия, столь необходимого при его болезнях.

Когда мы впервые вновь увиделись с ним через девять месяцев после прибытия в Шлиссельбург, у него уже была цинга, опухли ноги и он с трудом ходил. А ведь

ему тогда только что исполнилось тридцать лет! Воистину он истратил свое здоровье на борьбу за лучшее будущее; все лишения, которые он терпел в эмиграции, в Королевстве, находясь на нелегальном положении, в тюрьмах Варшавы и Кракова, разом сказались и превратили неукротимого борца в немощного старца. К желудочным болезням добавились невыносимые зубные боли. Врач Нарышкин рвал ему зубы, однажды сломал один, оставив корень, который начал загнивать, отчего воспалилась челюсть. Рассказывая мне об этом на прогулке, Людвик просил не сообщать товарищам, поскольку Нарышкин, по его словам, был не виноват. При всей своей энергии и решительности Людвик был так деликатен, что диву даешься! Он опасался, что кто-нибудь из нас мог упрекнуть Нарышкина! Надо сказать, что врач — редкая скотина — никак не заслуживал такого отношения.

Зимой состояние здоровья Варыньского ухудшалось. К вышеназванным болезням добавлялись мигрени, астма и бессонница. Людвик был рад, если ему удавалось спать пять часов в сутки. Обыкновенно он спал не более трех часов — да и то с перерывами. Ему нечем было занять оставшееся время, кроме чтения книг весьма небогатой нашей библиотеки, а днем нельзя было даже прилечь, поскольку железная кровать отмыкалась от стены только на ночь. Присесть отдохнуть можно было лишь на прикрученной к полу железной скамье. Если бы Варыньский возбудил ходатайство, Соколов разрешил бы, чтобы кровать не замыкали. Но Людвик оставался верен себе и ни с какой просьбой ни к кому не обращался. Он с таким терпением переносил невзгоды и был настолько нетребователен и невзыскателен, что совершенно искренно радовался, когда ему незадолго до смерти увеличили порцию каши и стали изредка давать мясные котлеты. Он говорил, что теперь желать ему больше нечего. Очень характерная для него черта: достаточно было, чтобы жандармы прояви-

ли к нему, умирающему, хоть какое-то участие, как Людвик будто бы забыл обо всех их преследованиях и издевательствах. Чуткость его была поразительна — даже к тем людям, которые по своему статусу находились среди врагов.

В тюрьме зрение Варыньского настолько ослабло, что он не мог больше читать. Сиденье в камере без дела было невыносимо для него. Он стал требовать, чтобы ему дали какую-нибудь работу. Это случилось уже после удаления Ирода, когда обращение с нами стало более приличным и Варыньский наконец впервые решился на высказывание требований и просьб. В конце концов ходатайство его было удовлетворено. В ноябре прошлого года Людвика с прогулки провели в здание старой тюрьмы — низкое одноэтажное строение, называемое нами «сараем», куда переводят за непослушание. Там в одной из камер был сооружен детский столярный верстак. Людвику дали несколько дощечек от поломанного ящика и инструменты. Ему было разрешено заниматься работой раз в неделю в течение нескольких часов. Людвик сразу ожил. Он говорил мне, что рядом с этим детским верстачком ощущает себя мальчишкой-подмастерьем, а запах свежих стружек полезнее любого лекарства.

К несчастью, ему недолго пришлось этим наслаждаться. В январе туберкулез принял скоротечную форму, и Людвик перестал выходить на прогулки. Кашель и удушье были мучительны; скоро он уже не покидал постели. Врач посещал его ежедневно, но что он мог сделать!

Я обратился к коменданту Покрошинскому с просьбой разрешить мне посещать Варыньского в камере. Этот вечно пьяный мерзавец отказал! «Каспер Казимирович,— сказал я ему, пересиливая отвращение,— вспомните, что вы поляк!» — Он поглядел на меня своими мутными глазками, озадаченно чмокнул губами... По-моему, он сума-

сшедший. Здесь, в этих стенах, с ума сходят и узники, и их стражи.

Он разрешил лишь перевести меня в соседнюю с Варыньским камеру номер тринадцать.

В конце января дни Людвика были уже сочтены. Он не мог самостоятельно подняться с кровати, а при нем не было ни души. Когда становилось совсем невмоготу, он стучал мне своею слабеющей рукою: «Конрад, дружище, кликни кого-нибудь...» Он по-прежнему иногда называл меня старой партийной кличкой, которую придумал Куницкий, обожавший Конрада Валленрода. Вероятно, Стась имел в виду, что я из состоятельной семьи и при том отдаю свое наследство «Пролетариату»?..

Я спешил к двери и звал жандарма. Тот подходил к камере Варыньского, долго смотрел в окошко, потом не спеша вызывал дежурного. Дверь камеры открывалась, Варыньскому оказывалась помощь...

Я ходил по камере, отделенный от него стеною, и ничем не мог помочь. Теперь, когда он ушел, я все чаще думаю о нем. Скорбь скоро утихнет, я знаю, но взамен нее приходит странное, труднообъяснимое изумление его фигурой, которая неотвязно притягивает мои мысли.

В этом человеке была тайна. Я статистик, я привык оперировать цифрами. Они убеждают сильнее слов. Варыньский начал революционную деятельность в Польше в самом начале семьдесят седьмого года. В феврале семьдесят девятого его арестовали в Кракове. Итого имеем два года. Он вернулся в Варшаву в конце восемьдесят первого и проработал до ареста год и девять месяцев. Следовательно, мы имеем всего четыре неполных года практической пропагандистской и агитаторской работы, полтора года эмиграции и шесть с половиной лет тюрьмы. И это все к неполным тридцати трем годам! За мизерный срок активной работы он сумел дважды организовать

мощное движение в Королевстве, всполошившее царские власти.

Но тайна не в этом, хотя факты удивительны.

Варыньский всегда действовал так, будто знал наперед — что случится; будто слышал некий зовущий его голос. Я неверующий и далек от мистики. Однако иногда я терялся. Я не мог определить его человеческого потенциала. Казалось, он только начинает, только расправляет плечи, играючи. Даже когда он уже был тяжко болен и наши прогулки вдвоем превращались скорее в посиделки «на песках»; даже когда передо мною был умирающий человек, я почти мистически верил, что стоит ему захотеть — и он выйдет отсюда, и начнет новое дело, и снова соберет вокруг себя товарищей.

Мне кажется, он знал, что не умрет. То есть, чувствовал свое историческое предначертание. Но откуда, позвольте? Я часто размышлял об этом после его смерти. Шлиссельбург располагает к размышлениям. Во время наших прогулок Варыньский рассказал мне всю свою жизнь. Ничего необычайного: обыкновенный сын обыкновенных родителей. Образование незаконченное, глубоких систематических знаний он так и не получил, хотя мыслил удивительно ясно и четко. Рядом с ним жили и действовали не менее эффектные фигуры — и старики, и молодежь. Достаточно вспомнить Лимановского, Мендельсона, Венцковского, даже Пухевича. Куницкий был более ярок. Рехневский превосходил Варыньского образованностью и организованностью. Но ни один из них не имел данного от рождения знания о себе. Тут не идеализм, тут непознанные пока явления психологии и социологии. В самом деле, что выделяет человека из ряда подобных? — Талант! Но как человек узнает о своем таланте? Это вопрос вопросов! Неталантливых людей, я думаю, нет. Или же так: талантов много. Но для того, чтобы узнать о своем таланте, нужен особый талант. Мне

всегда хотелось заниматься статистикой, но и социальными идеями тоже. Так же и Диккштейну, с которым я познакомился в Женеве незадолго до его гибели, хотелось заниматься и зоологией, и научным коммунизмом. Но сколько занятий есть в мире, о которых мы даже не подозревали! Как знать, может быть, наши таланты лежали там?

Варыньский знал точно. Он изначально знал, что именно ему, никому другому, суждено исполнить то, что теперь им исполнено. Почему? Можно перечислять личные качества, случайные и закономерные обстоятельства, но главного нам все же не понять, оно витает где-то рядом, воплощенное все в тех же словах: «предначертание», «суждено»...

Нашей многострадальной родине также было суждено, чтобы пришел деятель такой, как Варыньский. Он начал движение на очень чистой ноте, без примеси национализма, потому имя его будет знаменем для одних и пугалом для других.

...Несмотря на крайнее истощение, Людвик перестукивался со мною до конца. Он не имел уже сил, чтобы передавать мне сообщения или рассказывать о себе, но просил меня «развлекать» его, как он выражался. И я часами, сидя у стены, вспоминал разные случаи из жизни, годы учебы в Москве, мою поездку в Европу, а потом последнюю встречу с родителями в их имении, когда я приезжал, чтобы уладить дела со своею долей отцовского наследства. Встреча была тяжелой. Нет, родителям моим не жаль было денег, но они не могли понять, зачем и куда я собираюсь их тратить. Вот если бы я обзаводился семьей!.. В этом месте моего рассказа я услышал короткий комментарий Людвика: «Мне это знакомо. Через это тоже нужно пройти, не ожесточившись сердцем. Когда-нибудь они поймут, быть может...»

Одиннадцатого февраля Людвик нашел в себе силы

поздравить нашего товарища Буцинского с днем рождения, а на следующий день передал мне свою последнюю волю. Ком стоял в горле, когда я слушал тихие замирающие удары с той стороны стены, похожие на стук усталого сердца. Он просил меня, если мне удастся выйти на волю, передать его прощальный привет сыну Тадеушу, рассказать ему о последних минутах отца; он просил передать Янке, что по-прежнему любит ее; он просил прощенья у матери за то, что доставил ей столько горя...

Стук прервался. Я хотел ответить ему, что все понял и непременно исполню его просьбу, как вдруг оттуда, из-за стены, снова раздались редкие удары: «Конрад... Спой... мне... нашу мазурку...» Я прижался к стене всем телом, будто мог его согреть через камень, и, шепча губами строчки его «Кандальной мазурки», принялся стучать костяшками пальцев в крашеную холодную стену, за которой в темноте и одиночестве умирал друг.

У врагов на нас управа —
Тюрьмы и решетки,
Но звучат мазуркой браво
Цепи да колодки.

Нас повесят? Что за дело!
Вытерпим мученья!
Мы умрем, как жили,— смело,
Веря в час отмщенья.

И тюрьма танцоров сильных
Не удержит больше,
Запоет мазурку ссыльных
Половина Польши.

Полетит она по краю,
Поведет отряды,
И споют ее, шагая
Вновь на баррикады!..

Постскриптум

Людвик Янович покинет стены Шлиссельбургской крепости в конце 1896 года, проведя в одиночном заключении десять лет и восемь месяцев. Уменьшенный на одну треть по сравнению с приговором срок каторги будет установлен вследствие амнистии по случаю коронации нового императора Николая Второго.

Местом поселения Яновича будет определен Верхнеколымск Якутской губернии, куда он прибудет в начале 1897 года. Здесь, в небольшой колонии русских политических ссыльных, пройдут последние годы жизни Яновича. Он напишет мемуары о Шлиссельбурге, будет заниматься научной работой. Его статья «Очерк промышленного развития Польши», подписанная псевдонимом Л. Иллинич — девичьей фамилией его матери, появится в журнале «Научное обозрение». Однако тяжелые условия жизни в Верхнеколымске, оторванность от родных и друзей, нервное расстройство приведут к тому, что Людвик Янович так и не сможет приспособиться к новой жизни. В мае 1902 года, находясь в Якутске по поводу суда над ссыльным товарищем, Янович застрелится у ограды местного кладбища, оставив друзьям предсмертное письмо со словами: «От всей души желаю вам увидеть красное знамя над Зимним дворцом!..»

Эпилог.
ПРОКУРОР

Июль 1904 года

Вячеслава Константиновича разбудила назойливая ранняя муха, ползавшая по щеке его с бесцеремонностью возмутительной. Вячеслав Константинович в испуге хлопнул себя по щеке и проспулся. Окно его спальни было отворено, и прозрачный занавес, откинутый в сторону ночным ветерком, цеплялся бахромою за бархатную спинку кресла, отчего в окне образовался просвет, служащий, по всей вероятности, причиною появления мухи. Вячеслав Константинович с неудовольствием посмотрел на нее, удаляющуюся в сторону зеркала в резной дубовой оправе, перед которым обычно подолгу любила сидеть Зинаида Николаевна... вспомнил, что ее нет рядом, и тоскливо подумал о прелестях летнего отдыха в калужском имении, куда жена удалялась, оставляя его один на один с государственной службой. Вспомнил он и о службе, а вспомнив, сразу же взял с туалетного столика карманные часы с дарственной надписью от однокашников по университету и взглянул на стрелки. Было без десяти семь. Проклятая муха украла полчаса сна, ибо Вячеслав Константинович намеревался подняться в половине восьмого да и то исключительно потому, что к одиннадцати часам госу-

дарь ждал его с всеподданнейшим докладом в Петергофе.

Вячеслав Константинович испытал легкую досаду, вызванную то ли ранним пробуждением, то ли необходимостью ехать к царю — необходимостью, становившейся последнее время тягостной, по мере того как русские доблестные войска и флот терпели одно поражение за другим на Квантунском полуострове. Государь все чаще и все язвительнее напоминал своему министру его шутку, облетевшую салоны и проникшую даже в общество: «Чтобы сдержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война!» Сказано цинично и эффектно, но где она, победоносная война? Судя по всему, дело идет к унизительному поражению.

Вячеслав Константинович позвонил. Через секунду появился камердинер Пантелей с бритвенным прибором и стаканчиком горячей воды, от которой поднимался парок. Он поставил принадлежности на умывальник и тихо удалился. Вячеслав Константинович первым делом шагнул к иконе и точным, выверенным движением троекратно осенил себя крестом, беззвучно шепча «Отче наш», как привык это делать с детства, не спеша побрился и придирчиво рассмотрел себя в зеркало, поворачивая лицо под разными углами и как бы смотря на себя глазами государя. Лицо понравилось государю своею твердостью и преданностью, а также, как всегда, усами, составлявшими предмет тайной гордости Вячеслава Константиновича. Глазами вдовствующей императрицы Плеве не стал па себя смотреть — бесполезно. Тут сразу замечались и холодные бесцветные глаза, и низкий лоб, и даже усы теряли в достоинстве, превращаясь в обвислые пучки седых волос, так что весь облик Вячеслава Константиновича в глазах императрицы должен был напоминать старого сенбернара, дослуживающего свой век в дворницкой аристократического дома, где уже завели новую, молодую собаку.

Впрочем, молодой собаки еще не было, об этом Вячеслав Константинович заботился самолично.

Вячеслав Константинович прошел в кабинет, где Пантелей уже накрывал завтрак за маленьким столиком. Плеве присел к письменному столу и, кивком отпустив лакея, распечатал одно из писем, лежавших с краю стола, костяным ножом. Движение это и звук вспарываемой бумаги породило неясное давнее воспоминание о каком-то письме, но Плеве отогнал его как ненужное. Он вынул из конверта листок и перешел к столику, покрытому белой скатеркой, на которой дымилась в тарелке рисовая каша и стояла чашечка кофе. Вячеслав Константинович предпочитал по утрам кашу как лучшее средство для нормального пищеварения. Положив листок рядом с тарелкой, Плеве заправил салфетку за воротник и поднес к губам ложку, скользя глазами по донесению.

Оно было из Кисингена, от сотрудницы заграничной охранки по кличке Гретхен. Сообщалось же в нем, что сей сотруднице удалось установить наличие злоумышленных приготовлений против царствующей особы, выражающихся в изготовлении бомб и подготовке к переправке оных в Россию для готовящегося покушения. Нигилисты из партии эсеров, из «Боевой дружины», с коими Гретхен удалось войти в сношения, похвалялись, что на сей раз попытка должна быть удачной, ибо имеется ручательство в помощи высокопоставленного лица, самого председателя Комитета министров Витте.

Это было то, что нужно. Именно такого рода донесение заказывал Вячеслав Константинович Крахмальникову, агенту заграничной охранки, месяца два назад, когда тот приезжал под видом коммивояжера в Петербург и встречался с министром. То есть, конечно, Вячеслав Константинович не сказал прямо, что Витте следует дезавуировать в глазах государя, но Крахмальников недаром был опытнейшим агентом, он умел читать между строк.

Плеве знал, как он распорядится этой писулькой. Он покажет ее государю. Сегодня же, во время аудиенции. И присовокупит, что сказанное в донесении, по всему вероятию, ложь, идущая от нигилистов и ставящая себе целью очернить благородное имя Сергея Юльевича, который... и прочее. Тут надежда была единственно на то, что «дыма без огня не бывает», а также на то, что, обжегшись на молоке своего самодержавного деда, внук станет дуть на воду. Вячеслав Константинович знал и любил русские пословицы, находя в них бездну мудрости и житейского смысла.

Но сначала необходимо было снять копию. Плеве делал это всегда, оставляя след документа в своем личном архиве, дабы при необходимости было можно к нему вернуться, не беспокоя канцелярию Департамента полиции. Он вернулся к столу и аккуратно переписал донесение, после чего положил оригинал в конверт, а конверт — в портфель с заготовленным всеподданнейшим докладом.

Посмотрим, что теперь скажет Сергей Юльевич, эта хитрая юла, из-за которой он, Вячеслав Константинович Плеве, получил свой портфель на семь лет позже, чем мог бы получить.

Вячеслав Константинович поднялся с кресла и, раскрыв шкаф, где ровными рядами стояли картонные папки, вынул надлежащую и положил в нее копию донесения.

И тут снова всплыло воспоминание, связанное с давним письмом, всплыло отчетливо, ибо Плеве узнал ощущение, с каким ставил на место папку,— ощущение правильно выполненного дела, которое, пускай незначительно, но укрепило порядок и может помочь его укреплению в будущем. Он вспомнил, что впервые это ощущение было испытано им более четверти века назад, когда он, скромный товарищ прокурора Варшавской

судебной палаты, понял, что предназначение его состоит в искоренении нигилистической заразы, поразившей вдруг Империю с резвостью степного пожара в засушливый год. И он выбрал предмет: политические преступления, преступления противу государства, а помогли ему в этом сами преступники, господа польские социалисты.

Вячеслав Константинович протянул руку к папке под названием «О социально-революционной пропаганде в Варшаве в 1878 году» и, раскрыв ее, стал искать то письмо, которое многое определило в его понимании себя и своих задач. Времени было достаточно, так что у Плеве была приятная возможность погрузиться в дела своей молодости. Он добрался до письма, точнее — до копии, переписанной его собственной рукой, вспомнив по пути удивление, а потом и негодование, охватившее его, когда в прокуратуру Варшавской судебной палаты, на улицу Длугую, 7, явилось это письмо, писанное по-польски и отправленное из Кракова. Вячеслав Константинович сам же и перевел его на русский, когда снимал копию, прежде чем приобщить к делу, которое вел майор Черкасов.

Вячеслав Константинович начал читать, чему-то улыбаясь — то ли собственной молодости, то ли легкомысленной дерзости юного польского нигилиста, осмелившегося прислать письмо на его имя, а скорее — тому и другому одновременно. Но по мере чтения письма лицо его обретало суровость.

Г-ну Плеве. Прокурору Суда. В Канцелярию Следственной комиссии. 10/X 1878, в пути.

Милостивый Государь!

Мне удалось благополучно перейти границу, и не стал бы я утруждать Вас своей особой, если бы не события, которые имели место в последнее время. При обыске у Александра Грабовского (Хмельная, № 38) найдены были

вещи, которые принадлежат мне и которые я передал на хранение, не сказав, что это такое. Ключ от чулана всегда находился при мне, и лишь накануне обыска, принесши пачку русских книжек, я забыл взять его с собой. Там были: две пачки польского шрифта (на один печатный лист), два валика, доска, подставка для станка, красивая коробка с польскими книжками и моими бумагами, револьвер и патроны (этот револьвер мне удалось вынести из моей квартиры на Маршалковской ул. Прошу примерить найденные там патроны) и небольшой кинжальчик. Револьвер и кинжал я по рассеянности оставил вместе с ключом в комнате, а не в чулане, патроны же сунул в чей-то узелок. Томашевского Яна я уговорил бежать и дал необходимые бумаги. Даю показание и при случае лично подтвержу, утаить его Вы поэтому не можете. Подходящий же случай подвернется, потому что я вернусь в Польшу и буду продолжать работу в раз и навсегда избранном направлении, а при той конституции, которую дала нам последняя война, любой честный человек, даже сидя тихо, не может не быть просеян сквозь фильтр Десятого павильона, III отделения и проч. Стало быть, я буду иметь достаточно шансов на встречу с Вами, разве только если Албанская лига, побив Австрию, побьет и вас и объявит бедному вашему народу конституцию, как это намеревались сделать турки, а в Сухум-Кале даже и сделали. Итак, преследуйте нас, господа, как вам угодно, вам платят за это, но предупреждаю, что если преследование лишится того слабого оттенка человечности, какой оно носило, но сейчас уже начинает терять,— то вследствие известного инстинкта, инстинкта самосохранения, которого вы за социалистами признавать не хотите (убили и скрылись. «Голос»), это вызовет с нашей стороны проявления, не очень-то приятные для наемных исполнительных органов. Ведь должны же мы как-то обороняться! Платить вам больше золота, чем пра-

вительство, мы не можем, поскольку его не имеем,— значит, мы должны вселить в вас страх. Вы очень цените жизнь, для приятного времяпрепровождения вы не останавливаетесь и перед убийствами, а посвятить эту жизнь чему-нибудь вы не умеете. Право, господин прокурор, лучше иметь поменьше крестов (орденов), да быть уверенным, что их носить будешь. Жаль, что не могу довериться настолько, чтобы указать Вам адрес; я бы мог многое объяснить Вам, если бы Вы предложили мне вопросы, из которых я мог бы узнать, что именно Вам известно. Однако оставим это до личной встречи.

Остаюсь с почтением перед властью, каковой Вы, милостивый государь, обладаете над моими бедными единомышленниками, привет которым шлет Ваш покорный слуга

Людвик Варыньский, он же Ян Бух».

Плеве задержался над строчкой «мы должны вселить в вас страх» и подумал, что тогда, двадцать шесть лет назад, он не испугался — о нет! — хотя уже были убиты Мезенцов и Гейкинг, уже покушались на Тренова и Котляревского. И даже после чудовищного первомартовского покушения страх еще не вселился в душу Вячеслава Константиновича, ибо он твердо был уверен в том, что личным своим талантом и умением сможет обуздать зарвавшихся революционеров и тем вписать свое имя в историю России. Но гидра оказалась живучей, и вот теперь он боится...

Тот молодой поляк давно в могиле. Пятнадцать лет минуло, как его зарыли за крепостной стеной Шлиссельбурга, на каменистом берегу Ладоги. Вячеслав Константинович уже был товарищем министра, когда закончился Варшавский процесс «двадцати девяти» и его корреспондента провезли в арестантском халате из Варшавы в Шлиссельбург. Собственно, Шлиссельбург был выбран не без участия Плеве. По приговору военного суда его

давний знакомец получил шестнадцать лет каторжных работ и мог бы, подобно другим своим товарищам, отбыть этапом на Кару, однако в министерстве внутренних дел решили по-иному. «Кара для Варыньского слишком легка,— произнес тогда Плеве и, сделав секундную паузу, чтобы подчиненные смогли оценить тонкую игру слов, добавил: — Я знаю этого молодца слишком хорошо. Он постарается бежать оттуда». Место в России, откуда никто и никогда не убегал, было одно — Шлиссельбургская крепость, заново приспособленная под тюрьму при том же Плеве. Посему товарищ министра, подписывая отношение министру юстиции графу Набокову, счел уместным предупредить Дмитрия Николаевича об особой опасности государственного преступника Варыньского и о желательности избрания в качестве места заключения Новой тюрьмы Шлиссельбургской крепости. «Посмотрим, как он будет оттуда вселять в нас страх!» Камень с сердца упал, по крайней мере один из грозивших ему возмездием не сумеет выполнить своего замысла...

И все же Вячеслав Константинович не смог отказать себе тогда в странном удовольствии взглянуть на этого человека. Нет, не устраивать ему допрос, не посещать его в тюрьме — упаси бог! — слишком мелка была эта политическая сошка... но взглянуть на дерзкого полячишку, обещавшего ему с т р а х, Вячеславу Константиновичу хотелось. Поэтому он в начале марта восемьдесят шестого года, получив донесение о том, что государственный преступник Варыньский, препровождаемый в Шлиссельбургскую крепость, находится в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, учинил туда инспекционную поездку. Из окна коменданта тюрьмы он видел, как заключенных выводили на прогулку во внутренний двор. Комендант указал ему на высокую, чуть сутуловатую фигуру в серой арестантской куртке и кандалах. Человек этот, звеня цепями, шел по двору. Плеве запомнил спокойное

выражение его лица и русую бородку. На нем были очки с круглыми стеклами. Вячеславу Константиновичу захотелось выйти к нему и сказать что-нибудь вроде: «Вот и встретились, господин Варыньский. Помнится, вы этого хотели, не так ли?..» — но он подавил в себе это мальчишеское желание и, проводив взглядом согбенную фигуру, углубился в бумаги коменданта.

Едучи в министерство из Трубецкого бастиона, он почувствовал, что не вполне освободился, что осталось смутное ощущение чего-то недосказанного. Может быть, действительно следовало выйти в тюремный двор? Да нет, чепуха! Когда же, три года спустя, из очередного отчета он узнал о смерти узника Шлиссельбургской крепости под номером 24, то понял, что разговор не состоится никогда. «О чем же, собственно, разговор?» — подумал он, и только тут до него дошло, что все это время, начиная с той минуты, когда он распечатал и прочел письмо Варыньского, и кончая этой, когда он узнал о его смерти, им владело желание сказать в лицо этому человеку совсем не о том, что не в силах Варыньского или кого другого вселить в него страх — нет! Ему хотелось опровергнуть другое утверждение, задевшее его сильнее, а именно то место письма, где Варыньский, объединяя его с другими представителями власти, утверждает, что они не умеют посвятить чему-нибудь жизнь. Вячеслав Константинович с малолетства считал свою жизнь посвященной служению отечеству, это было так очевидно, что не нуждалось в доказательствах. Однако в утверждении поляка была доля правды, относящаяся не к самому Плеве, а ко многим его коллегам, начальникам и подчиненным, которым было чуждо какое бы то ни было посвящение своей жизни, какое бы то ни было предназначение. Тут молодой поляк был прав. Тем более необходимо было показать ему и его сподвижникам, что такие люди, предназначенные служить отчизне, встречаются и среди их

врагов, а тут уж напла коса на камень. Много лет занимаясь государственными преступниками, Вячеслав Константинович не отрицал за многими из них посвященности своему делу или идее, пускай идея эта была преступна и извращена. И он считал, что победить извращенное предназначение можно лишь предназначением истинным, государственным, божьим. Вот почему он всегда считал себя сильнее своих врагов и не боялся их. Всякий раз, получая очередное повышение или орден, он думал о том, что эти знаки суть материальные проявления начертанного внутри него предназначения, доказывающие его истинность. А эшафоты и тюрьмы были знаками предназначения нигилистов, доказывающими его ложность. И тогда, вспоминая далекого поляка, Вячеслав Константинович мысленно говорил ему: «Так-то, братец ты мой! Я сильнее вас, ибо сумел посвятить свою жизнь тому, чему не сумел ты и чему, к сожалению, не сумели посвятить ее многие, слишком многие из моего круга, благодаря лени, разврату, бездарности или страсти к наживе».

Потому-то так и сильна зараза, подумал он. Видя пороки государственных мужей, радикально настроенные молодые люди считают их пороками самой власти. Тем паче следует служить примером и следовать своему долгу безукоснительно, ибо идею можно победить только идеей, но никак не виселицами и тюрьмами. Последние суть лишь методы, и методы действенные, однако ежели они не подкреплены идеей, то становятся бесполезны.

Вячеслав Константинович отдавал должное идее Варыньского, то есть считал ее достаточно опасной, чтобы относиться к ней с величайшим вниманием. О нет, не террор! — террором баловался преемник Варыньского, нервный и авантюрный Куницкий, сам же Варыньский лишь по молодости, да и то на словах, грозил оружием. То письмо кем написано?.. Двадцатидвухлетним нигилистом, только что впервые испытавшим вкус борьбы и досаду

от поражения. Немудрено, что он горячится. Плеве представил себе молодого Варыньского, каким помнил его по фотографиям охранки — этакий петушок с хохолком и бесстрашным взглядом, и рядом поставил того, почти тридцатилетнего, в арестантском халате, со взором спокойным и ясным. Второй был стократ опаснее. Опаснее для «православия, самодержавия и народности», трех китов Империи. Первый мог при случае разрядить револьвер, взойти на эшафот без покаяния и исповеди, но это никак не грозило Империи (Плеве это прекрасно понимал), а касалось лишь отдельных ее представителей, пусть даже таких, как государь, убиенный на Екатерининском канале. Террористов следовало ловить и вешать, но это была всего лишь кровавая игра с обеих сторон, никак не затрагивающая основы власти. Эти основы затрагивало противоположное ненависти чувство — Плеве смутно сознавал это, не желая отдавать его своему противнику, ибо считал это чувство неотделимым от бога.

Империи была опасна любовь.

Из нее вырастало то братское единение угнетенных, без различия вер и национальностей, к которому стремился идейный враг Вячеслава Константиновича и к которому он пришел от юношеской жажды ниспровержения силы силой. И тут надежда была лишь на животное чувство национализма, на национальную спесь и биологическое неприятие иноверцев, свойственные, по мнению Плеве, всем народам и нациям. Пусть это и не по-божески, зато как по-человечески! А всеобщее братство, что ж... красиво, но абстрактно, слава богу, пока абстрактно. Покуда каждая нация выказывает свой гонор и неприязнь к другим, управлять можно. Пускай турки вырезают армян, пускай поляки презрительно шипят на русских. Эти мелкие беспорядки, как ни странно, поддерживали общий порядок в Империи. Закон не Вячеславом Константиновичем придуман: «разделяй и властвуй».

Вячеслав Константинович вновь взглянул на письмо, поморщился. Некстати выплыло из памяти предостережение: «написанное — сбывается». Да нет, ерунда!.. Почему ж так долго не сбывалось? Он еще раз успокоил себя мыслью, что его давний корреспондент написал сие в досаде и гневе, сам же потом опомнился и уже никогда более не настаивал на терроре, а следовательно, его угроза никак не должна иметь силу предсказания... Он усмехнулся казуистической способности рассудка обходить суеверия и с этой успокоительной усмешкой вернул письмо в дело.

...Вячеслав Константинович водрузил папку на место и вышел на улицу. Карета с кучером Филипповым ожидала его у подъезда. Карета была прочная, блиндированная, то есть обшитая изнутри стальными щитами, прикрытыми бархатной тканью. Поодаль ждали отъезда охранники-велосипедисты, всегда сопровождавшие министра в поездках по городу. Старший из них, Фридрих Гартман, молодой немец с пышными рыжими усами, имеющими явное сходство с усами своего патрона, дожидался у кареты. Он вытянулся в струнку и слегка прищелкнул каблуком, готовясь приветствовать, но Плеве жестом остановил его.

— На запятках у меня не сидеть. Обыватели обращают внимание... Одного пустишь вперед. Я медленно поеду, торопиться некуда.

Гартман опять щелкнул каблуком.

Плеве сел в карету, затворил дверцу и, выглянув из раскрытого окошка, скомандовал Филиппову:

— Трогай! Не гони.

Лошади взяли с места. Секунды спустя велосипедист-охранник обогнал карету, трое остальных пристроились сзади. Плеве взглянул в заднее окошко: «Все-таки сели на запятки!»

Карета ехала уже по Сенной. Вячеслав Константино-

вич выглянул из окошка, нашел купол храма Успения Пресвятой Богородицы и перекрестился на него. Площадь была оживлена, несмотря на утренний час; тянулись к Сенному рынку крестьянские возы с товаром, спешили туда же хозяйки и прислуга, пробегали мальчишки-разносчики. Плеве задернул занавеску. Движение кареты замедлилось. Он оглянулся и увидел в заднее окошко, что велосипедисты с трудом пробираются сквозь толпу, покрикивая на нерасторопных крестьян. Лицо Гартмана было сосредоточенным и злым.

Кое-как добрались до Вознесенского проспекта и повернули налево, вдоль Ново-Александровского рынка. В карете стало душно, день обещал быть жарким. Прорвались сквозь занавеску запахи дегтя, свежей рыбы, жареных пирожков, доносящиеся с рынка, скрипели телеги, слышались крики газетчиков... Наконец карета достигла Измайловского моста и, перевалив через Фонтанку, убыстрила движение. Вячеслав Константинович вновь откинул занавеску и переместился по сидению вправо, ожидая Троицкого собора, чтобы перекреститься. Вот выплыл и он со своими пятью голубыми куполами. Плеве осенил себя крестным знамением, одновременно снимая с души едва заметное беспокойство, которое легчайшей дрожью напомнило о себе, едва лишь карета замедлила движение на Сенной: все же он боялся толпы. Тут уж дело случая — не приведи господь, выскочит какой-нибудь безумец, метнет снаряд или стрельнет в окошко — и скроется, ищи его...

«Все будет хорошо... Все будет прекрасно,— успокоенно подумал Вячеслав Константинович.— Бог даст, государю достанет ума не делать глупостей, иначе кто ж будет вылавливать бомбистов?..»

Карета приближалась к Обводному, до вокзала уже рукою подать. По правой стороне проспекта шел, выпятив грудь, офицер с саблей, какой-то самодовольный по-

ручик. Неприметно и как-то бочком двигался худощавый высокий человек в железнодорожной фуражке, прижимая к себе бумажный пакет, девка с корзинами белья спешила по направлению к Обводному.

Передний велосипедист, обогнавший процессию сажен на двадцать, уже въехал на мост. Вдруг Плеве заметил, что человек с пакетом круто повернулся и побежал к карете, держа пакет двумя руками перед собой и, по всей видимости, боясь просыпать содержимое. Его глаза сияли, будто от восторга. «Почему он бежит?» — подумал Вячеслав Константинович. А человек летел навстречу огромными шагами, будто не касаясь земли, и смотрел прямо в глаза Вячеславу Константиновичу. Он явно боялся не успеть, поэтому спешил. Звуков никаких не было слышно. Все будто застыли — и поручик с саблей, которую он придерживал левою рукой, и девка с двумя корзинами, одну из которых несла на плече. Бежали лишь этот странный железнодорожник да лошади. Он смотрел и смотрел на Вячеслава Константиновича, и тот, в свою очередь, не мог оторвать от него глаз, как завороженный. Он почему-то, уж догадываясь — куда и зачем бежит этот человек, желал ему удачи, боялся, что тот не успеет или промахнется. «Но он ведь бежит убивать меня»,— подумал Вячеслав Константинович и захотел задернуть занавеску, однако рука не успевала к занавеске, человек бежал быстрее и уже начал на ходу обеими руками поднимать над головою пакет. Он осклабился, будто от улыбки, продолжая пронзать Вячеслава Константиновича взглядом, а сам летел, не касаясь земли. На бегу он обеими руками швырнул пакет вперед и облегченно-радостно закричал...

Крик этот слился с громадной силы взрывом, от которого по обеим сторонам проспекта в домах осыпались стекла. Их тонкий, похожий на погребальный звон отделился от земли и взлетел в небо. А на месте происшест-

вия, под развалинами кареты осталось лежать нечто окровавленное, беспомощное и страшное, что минуту назад было министром внутренних дел Российской Империи...

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Закончена книга, а я снова и снова мысленно возвращаюсь к таинственным взаимоотношениям героя и автора.

Тот молодой поляк, ровесник моего прадеда, возник, казалось, случайно. Десять лет назад я не знал его имени. Однако, эфемерные, в сущности, доводы — полное незнакомство мое с героем и его временна́я связь с моим прадедом-юристом, происходившим из обрусевших поляков,— оказались решающими для работы над книгой. Мы редко нынче знаем свои семейные корни дальше третьего колена. Попытка погрузиться в историю столетней давности необъяснимым образом связывалась с желанием найти свои корни.

А потом были дни и месяцы чтения и размышления, и архивные папки, и пожелтевшие рассыпающиеся мемуары политкаторжан, и я впервые изведал чувство, с каким берешь в руки нечитанную книгу с неразрезанными страницами, изданную много лет назад. И когда я разрезал страницы кухонным ножом, ибо плоские ножи слоновой кости с резьбой на рукоятке, служившие специально для этой цели, ушли в небытие, мне казалось, что книг этих вообще никто не читал, никто в целом мире, а не только абоненты библиотеки Дома писателей в Ленинграде, откуда были взяты неразрезанные экземпляры.

Постепенно контуры жизни моего героя проявлялись, подобно фотоотпечатку в ванночке с проявителем: сначала показались наиболее контрастные места, а потом медленно обнаруживались оттенки и детали. Но сам фотоснимок был какой-то безразмерный, уходящий во все стороны. Я мечтал ограничить его стандартным форматом, но на

периферии обнаруживались новые фигуры и сюжеты, ниточки иных судеб, пересекавшиеся с нитью судьбы героя. Они уходили далеко, переплетались, тянули за собою новые ниточки — и вдруг я обнаружил, что передо мною не плоская картина, населенная фигурами, а нечто объемное.

Я словно бы попал в просторный темный зал, уставленный мебелью в определенном, но неведомом мне порядке, а я был вооружен слабым фонариком с узким пучком недальнего света, который наудачу выхватывал из темноты какие-то углы, спинки стульев, потертые обивки диванов (на одном из них я разглядел фигуру старика с седою бородою и голубыми глазами под толстыми стеклами очков — это был Петр Лаврович Лавров), но общая расстановка предметов и фигур лишь угадывалась в этом темном бесконечном пространстве с запахом книжной пыли. Где-то здесь, за симферопольской нотариальной конторкой, сидел и мой прадед, составляя какую-нибудь купчую, и он был виден мне ничуть не лучше, чем фигуры исторических деятелей, тем не менее, я ощущал его присутствие и, пробираясь темными переходами, все чаще взглядывал на небольшую твердую фотографию прадеда и прабабки, исполненную в симферопольском ателье Адамовича.

...Между тем днем, когда мой герой был исключен из списка студентов санкт-петербургского Технологического института, и тем, когда его первым из двадцати девяти товарищей ввели в зал суда в ночь с девятнадцатого на двадцатое декабря 1885 года для выслушивания приговора, прошло десять лет. Между тем днем, когда я впервые услышал имя Варыньского, и сегодняшним, когда я пишу эти строки, прошло столько же. У меня было свое следствие, поначалу располагавшее весьма скудными фактами, но постепенно обраставшее материалами и подробностями; как и при всяком следствии, выявить все не

удалось, некоторые факты и фигуры укрылись из поля зрения. Результаты этого процесса перед читателем.

Цепочка случайностей наконец замкнулась в закономерном итоге, и мне теперь кажется, что наша встреча с героем тоже была предопределена, как была предопределена его жизнь и деятельность. Мы сами творим собственное предназначение из хаотического нагромождения обстоятельств и случайностей. В какой-то момент я почувствовал, что узнал и полюбил своего героя настолько, что уже слился с ним. Его радости и горести стали моими, его друзья и враги превратились в моих друзей и врагов. И тогда я решил показать его судьбу в системе зеркал, дабы сохранить необходимую историческую объективность. Не знаю, удалось ли мне это.

А если не удалось, если я полюбил своего героя больше, чем допустимо для автора исторической книги, то мне остается лишь поблагодарить его за то, что он десять лет был со мною рядом, оказывая незримое влияние на иной роман с иным героем, тоже проживаемый в эти годы.

Спасибо тебе, Людвик, и прощай!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Житинский А. Н.

Ж74 Предназначение: Повесть о Людвике Варыньском.— М.: Политиздат, 1987.— 381 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Ж $\frac{0506000000-253}{079(02)-87}$ 154—87 **ББК 84Р7+63.3(4П)**

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЖИТИНСКИЙ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПОВЕСТЬ О ЛЮДВИКЕ ВАРЫНЬСКОМ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *И. А. Ляпина*
Художник *В. И. Олефиренко*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 7022

Сдано в набор 23.03.87. Подписано в печать 21.07.87. А 00111. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,41. Усл. кр.-отт. 20,56. Уч.-изд. л. 17,54. Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 136. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.


СѢДЛЕЦКОЙ.
КѢЛЕЦКОЙ.
ЛЮБЛИНСКОЙ.
РАДОМСКОЙ.
ВАРШАВСКОЙ.



СУВАЛКСКОЙ
ПЕТРОКОВСКОЙ
ПЛОЦКОЙ.
ЛОМЖИНСКОЙ.
КАЛИШСКОЙ.